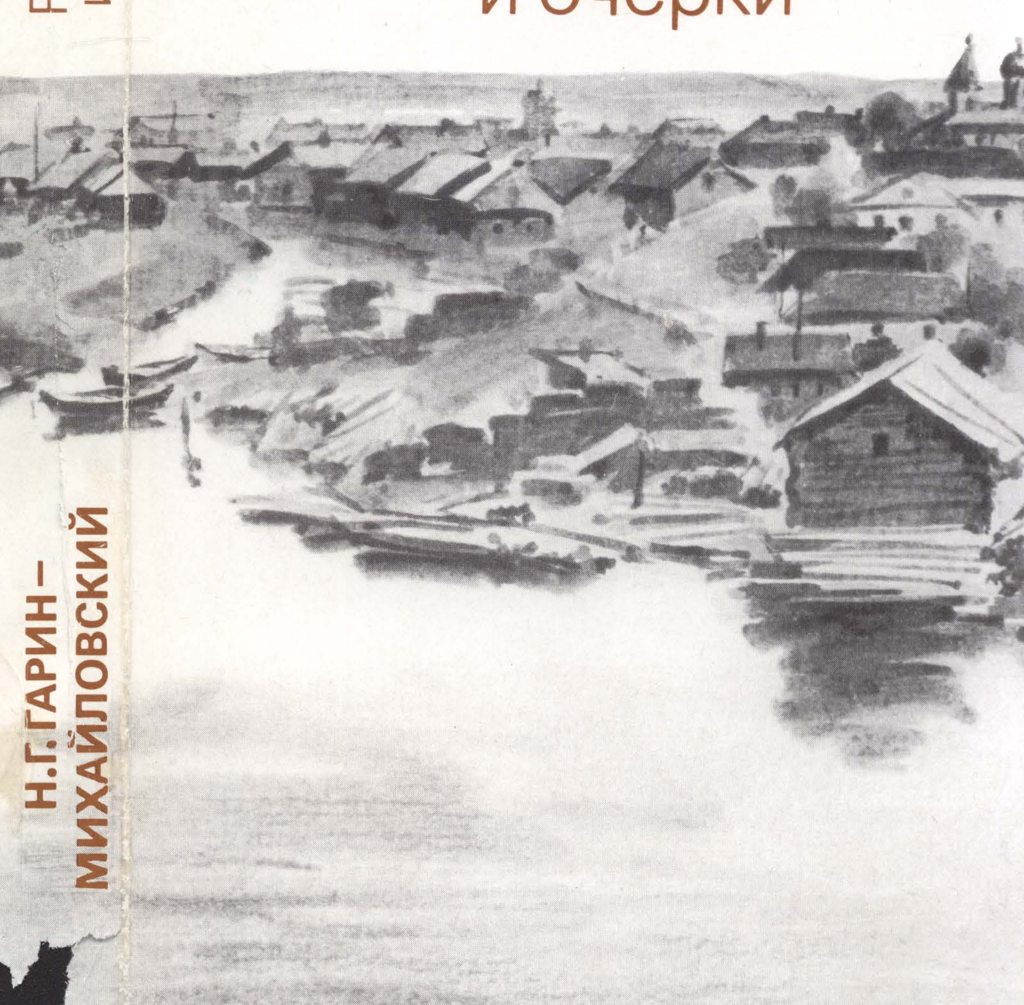
Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ

Рассказы и очерки



Рассказы и очерки
Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ



Н. Гаринъ

Н.Г. ГАРИН–МИХАЙЛОВСКИЙ

Рассказы и очерки

МОСКВА · ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1984

84 Р 1
Г 20

Иллюстрации
Н. Г. Раковской

Гарин-Михайловский Н. Г.

Г 20 Рассказы и очерки /Ил. Н. Г. Раковской.— М.: Правда, 1984.— 432 с., ил.

В книгу вошли избранные рассказы и очерки Н. Г. Гарина-Михайловского, такие, как «Несколько лет в деревне», «Мои скитания», «Вариант», «Дворец Дима», и другие. В них нашли свое отражение годы инженерной службы в разных местах России, опыт хозяйствования в деревне, которые дали писателю богатейший материал для познания русской действительности конца XIX — начала XX века.

Г $\frac{4702010100 — 821}{080(02) — 84}$ 821—84 84 Р1



НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В ДЕРЕВНЕ

Задавшись благими намерениями, я отправился в деревню хозяйничать, но потерпел фиаско. Несколько лет жизни, тяжелый труд, дело, которое я горячо полюбил, десятки тысяч рублей,— все это погибло, прахом пошло...

Побуждает меня взяться за перо желание выяснить вопрос: следует ли продолжать опыты вроде моего? Отсюда основная задача моего труда — добросовестное, без всяких предвзятых соображений, буквальное воспроизведение бывшего.

Познакомившись с моею работой, читатель увидит, что, преследуя благие намерения, я довольно бесцеремонно, если можно так сказать, повернул жизнь своей деревни из того русла, которое она пробила себе за последние двадцать пять лет, в русло, которое, в силу разных соображений, показалось мне лучшим.

Такой поворот не прошел для меня безнаказанно. Может быть, это произошло в силу моей неспособности или неуменья взяться за дело, а может быть, и в силу общих причин, роковым образом долженствовавших вызвать неудачу.

Об этом пусть судят другие.

I

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Князь.— Юматов.— Сын Юматова.— Скворцов.— Николай Беляков

Ярко сверкает, точно застрявший в расщелине, пруд. Весело сбегает к нему со стороны горы зеленый лесок, а по другую сторону пруда далеко и приволь-

но раскинулась хлебородная степь. У самого берега тесно жмется друг к другу ряд старых, покосившихся изб. Деревня называется — Князево.

Лет сто тому назад земля эта была высочайше пожалована князю Г., и для заселения ее он вывел восемьдесят дворов из Тульской губернии.

Об этой отдаленной эпохе сохранилось очень мало воспоминаний. Существует и до сих пор группа старых берез, в виде аллеи,— остаток бывшего здесь некогда сада. По словам соседних крестьян, под этими березами князь учил своих мужиков уму-разуму, то есть попросту сек. Князевские мужики обходят этот факт угрюмым молчанием. Детали изгладились, и упоминается князь только для выражения самой седой старины.

— Эта земля еще при князе пахалась.

— Уродило так, как только при князе рожало.

В начале нынешнего столетия князь продал имение соседу Юматову, а крестьян взял на вывод.

Но крестьянам, видно, уже успели приглянуться эти привольные места. Полюбили они и гладкую поверхность своего пруда, в котором столько рыбы, что только не ленись ловить, и лесок, где так много грибов, ягод, а еще больше дров, лыка, оглоблей, а то и бревешек; полюбили и то привольное поле, что так щедро оплачивает их работу благодаря своему двухаршинному чернозему. Узнав, что князь хочет их вывести, вся деревня в один прекрасный день точно сквозь землю провалилась: остались только избы да дворы; все же живое, как владельцы, так и скотина, исчезло. Дело кончилось тем, что, побившись месяца два и не найдя никого, князь отстал от крестьян и передал их Юматову.

Князевцы любят вспоминать об этом времени, но, по обыкновению, скупы на слова.

— В поляном лесу жили — в норах, как лисы. Сейчас есть след. Руками хлеб мололи... Ничего, господь помог, вытерпели...

Соседние деревни вполголоса рассказывают охотникам послушать причину, побудившую князя продать имение.

— Подшибся князь через своих мужиков,— озорники они. И сейчас добра от них никому нет, и рань-

ше не было. За озорство их и из Тулы перевели. Весь их род уж такой. Недаром Юматов отбивался от них, точно чуял, сердечный, свою судьбу.

Воспоминаний об Юматове сохранилось больше. Он оставил память о себе, как о хорошем хозяине, но был лют и охоч до баб. Это главным образом и погубило его. Исторический факт таков: Юматова убили ночью, нанеся ему до ста ран. Двухлетние розыски не приводили ни к чему. Наконец один из главных виновников, пьяный, на празднике в соседней деревне рассказал, как было дело. Виновного схватили, посадили в острог, два года он запирался, а потом, когда уже хотели было на все махнуть рукой, повинился во всем и выдал сообщников. Дело кончилось тем, что сорок дворов было сослано в Сибирь. Сами князевцы охотно вспоминают о смерти Юматова и так приблизительно передают дело:

— В Казань за подходящими людьми посылали. Две недели кормили и поили их. Все никак нельзя было: то он в гости, то к нему гости. Дворню всю на свою сторону переманили. Мальчик при нем дворовый спал,— тоже на нашу сторону поддался. Часовых по дорогам расставили... Здоровый был: девять человек насели на него; он их волоком проволок по всем комнатам,— все выходу искал. Выскочи он во двор, так и не дался бы, да на самом крыльце один в лоб ему угодил оглоблей, тут он и повалился.

О самой ссылке предание совершенно умалчивает. Князевец угрюмо отделывается короткою фразой:

— Греха много было... Вытерпели...— помолчав, угрюмо добавляет он.

Во время малолетства сына Юматова князевцам жилось недурно. Вырос сын Юматова, послужил в военной службе и незадолго до воли приехал в деревню на жительство. Сначала мужиков в руки крепко прибрал. Попробовали они было его поучить маленько и на первый раз подрубили амбары; но дело кончилось не совсем благополучно. Юматов вызвал обжорную команду, то есть роту солдат, которую крестьяне должны были кормить на свой счет. В два месяца рота объела всю деревню. Мужики взвыли, но не выдали виновных. И вдруг барин все узнал. Троих сослали в Сибирь, а остальных перепороли.

Давно нет и Юматова, нет и большинства участников современных ему событий, новое поколение уже стариками становится, а до сих пор не могут простить князевцы бывшему тогда старосте из своих мужиков, на которого пало подозрение в измене. Жалко и страшно смотреть на этого неряшливого высокого старика, когда он пробирается по селу. Года гонений и преследования положили на него печать Каина; он идет спешною, неуверенною походкой, беспрестанно оглядываясь в ожидании, что вот-вот первый выскочивший из ворот мальчишка пустит ему под ноги камень. В его глазах озлобление и страх. Что пережил этот человек во всю свою долгую жизнь,— человек, который клянется, что он не виноват! Никто ему не верит. Недаром два часа пробыл с ним барин, запершись в кабинете, перед тем днем, как засадил в острог виноватых. Он был богат, но все исчезло: лошадей покрали, сено каждый год жгли в стогах, хлеб почти весь в снопах разворовывали. Он давно разорился и совершенно обнищал.

— Так ему, собаке, и надо.

Об этом периоде князевцы вспоминают угрюмо и с большою неохотой.

— Известно, команда курицу поймает — тащит, барана — тоже тащит,— запрету ни в чем не было, как саранча, всё объели,— и, помолчав, прибавляют: — Вытерпели. Где команда? А мы всё тут.

Относительная тишина царила не долго после этого.

Пришла воля, а с ней и новые хлопоты князевцам.

Как ни крутили их, как ни старался посредник, как ни старался Юматов, а мужики на своем настояли,— все вышли на сиротский надел,— на даровую $1/4$ часть душевого надела.

Крестьянин Афанасий Сурков так рассказал мне эту историю:

— Видишь ли ты, батюшка мой (Афанасий — мужик не из бойких, говорит медленно, с трудом складывает мысль в слова)...— Солдат, значит, Симеон,— вот брат нашему Чичкову,— пришел и говорит: грамота золотая от царя пришла; кто, значит, на полный надел пойдет, того опять в крепость поворотят. Кому же неволя опять идти? Ну, значит, и присягнули про-

меж себя: друг дружку не выдавать. Крестились, образ, значит, в Семеновой избе целовали. Приехал исправник, мировой, барин пришел. Собрали нас на сход. Тоё да сеё, исправник как закричит: «Да что с ними разговаривать? Одно слово, трава и больше ничего. Розог!» Принесли розог, скамейку вынесли, поставили. Исправник прямо ко мне: «Руку даешь?» Похолонуло у меня на сердце: «Не дам,— говорю.— Что хошь делай: хоть бей, хоть убей — не дам».— «Ложись»,— говорит. Перекрестился я, говорю: «Ты видишь, пресвятая богородица!» — лег я, и стали они меня...

Он замолчал и напряженно наклонился вперед, точно силясь получше рассмотреть то, что было двадцать пять лет назад. Его лицо выражало недоумение и тщетное напряжение что-то понять. Он говорил медленно и нехотя.

— И стали они меня, и стали-и... Били, били...

Он с каким-то мучительным наслаждением повторял это слово, точно снова переживал давно прошедшее.

— Закусил это я руку, чтобы не закричать... Все молчу. «Будешь ты, собачий сын, говорить?» А я все, знай, молчу. «Бросить, говорит, этого дурака,— другого!» Встал я, перекрестился на небо, да и говорю: «Царица небесная, ты видела: за что они меня били?»

Голос Афанасия на этом месте оборвался, и он угрюмо замолчал.

— Чем же кончилось? — спросил я.

— Да чем кончилось? — повеселевшим голосом заговорил он снова.— После меня за нашего Чичкова взялись; он туда-сюда: «Вот чего, говорит, старики: не всем же пропадать, не лучше ли покориться?» Ну, и покорились.

— Тебя одного, значит, пороли?

— Одного, батюшка, одного,— раздумчиво отвечал Афанасий.

— Да за что?

— А господь их знает. Вот убей — и сейчас не знаю за что.

От Афанасия так ничего больше и нельзя было добиться. Он твердил свое:

— И не знаю, и не знаю, и не знаю, батюшка...

И господь их знает, чего им надо было, и за что они меня пороли — и сейчас не знаю.

Уже от других мужиков можно было узнать, что речь шла о выборных, которых они сдуру, по наущению солдата Симеона, не хотели выбирать, боясь подвоха.

Ликованье, что так ловко отвертелись от полного надела, скоро сменилось у князевцев унынием.

Спохватились, да поздно, что солдат Симеон зря болтал. Цена на землю стала шибко расти: с 3 рублей за хозяйственную десятину (3200 квадр. сажен) сразу выскочила на 5 руб. за посев одного хлеба. Прошло еще немного — стала земля 7—8 руб. Земля подорожала, а родить на ней стало наполовину хуже. Посеянный хлеб, как все посчитать, без малого стал в купку обходиться, то есть за затраченные деньги и труд можно было и на базаре за ту же цену хлеб купить. Соседние деревни, которые на полный надел пошли, хоть плохо, а жили. Князевцам же совсем стало невмоготу. Шибко обеднел народ. Стали о новой земельке толковать. Ткнулись туда-сюда — все то же, да и насиженные места не так-то легко бросать.

Худо стал жить народ; особенно памятен голодный 65-й год. Половина населения всю зиму Христовым именем кормилась. И что за жизнь была! Ладно, кто еще догадался дубовыми желудями запастись,— тот желудевым квасом питался. Дети в тот год почти все перемерли; много и взрослых от тифу свернулось.

— Никто и живым не чаял остаться,— говорили князевцы,— да пожалел господь, помощь послал.

Помощь состояла в том, что Юматов, подбитый голодным годом, заложил имение. Денег дали много, больше чем надо было, и он решил устроить у себя винокуренный завод. Ожили князевцы, закипела работа. Дела пошли хорошо. И Юматову сначала было недурно, но потом, вследствие покровительства крупным винокуренным заводам, дела пошли хуже. Старыми машинами работать стало невыгодно, для новых не хватало денег; подвернулись семейные невзгоды, Юматов запил. Приказчики, видя, что дело пошло к концу, стали усиленно воровать.

Пользовались и князевцы: с приказчиками они спелись и дела вели дружно. Привезет сажень дров, а

ярлык берет на три,— третья часть приказчикам. Мужики были и пьяны и сыты.

— Вот она штука-то,— толковал мужик Чичков.— Барину худо — мужику хорошо. Пока в силе был — дохнуть было нельзя, подшибся — легко стало.

Не долго, однако, протянул Юматов. Нежданно-негаданно наехали чиновники и описали завод. Юматов поехал в город. Недели через две пришла весть, что Юматов умер. Имение попало к кредиторам, и был назначен конкурс. Главный кредитор тайно от других захватил всю движимость. Работа была спешная, и в ночь перед описью все надо было припрятать.

Николай Беляков, бывший кучер Юматова, с несколькими князевцами лихо обделал дело. Всю ночь выносили вещи; прятали их и по дворам гостеприимных князевцев, и в снег зарывали, и в лес отвозили.

Конкурс продолжался около года и прошел не без пользы для князевцев: лес покупали за бесценок,— вместо десятины рубили две; землю снимали десятину,— сеяли полторы и т. д. Конечно, делились с приказчиками, но не обидно,— «водки бутылку, поросенка, когда прямо рублевку сунешь».

Наступил конец и конкурсу. Имение осталось за главным кредитором, купцом Скворцовым. Новый владелец ни во что не вмешивался, жил постоянно в городе, где и занимался ростовщичеством. В деревне же он посадил приказчиком Николая Белякова. Николай Беляков обязан был поставлять ему ежегодно 5 тысяч руб., кроме леса (с 2400 десятин, доставшихся Скворцову за 37 тысяч рублей). До остального Скворцову дела не было. Винокуренный завод, все постройки, кроме одного флигеля, были за ненадобностью проданы за 4200 руб. (первоначальная их стоимость около 40 тысяч руб.) Сад был вырублен постепенно Беляковым на отопление флигеля. Продажа леса шла вовсю. Лес Скворцов не признавал выгодною статьей, как не оправдывающий процентов на затраченный капитал.

Беляков ловко повел дело. Не успели мужики оглянуться, как он зажал их в свой кулак, как в железные тиски. Прием его был простой, но верный. Пять-шесть дворов побогаче он гладил по шерсти — давал им на выбор лес, лучшую земельку, и ценой подешев-

ле, и мерой не обижал. С остальною же деревней он действовал иначе. Приходит, например, время брать землю. Беляков назначает цену и день сдачи. Мужики делают стачку сбить цену. Беляков только посмеивается.

Порядок сдачи земли такой: кто все деньги принес сразу, тот пользуется правом выбора лучшей земли; берущим в кредит достается не разобранная за наличные деньги и, конечно, худшая земля. Для противодействия стачке дается повестка во все соседние деревни. Хорошей земельки кому не надо? И, глядишь, в день сдачи возле избы Белякова точно базар от наехавших подвод. На всякий случай заготовлено несколько подставных покупщиков. Подставные, как только цена объявлена, тотчас изъявляют на нее согласие и требуют себе лучшую землю. Богатеи, те шесть дворов, о которых было упомянуто выше, только ждут этого момента. Так прямо против мира идти нельзя, если сделана стачка, а уж начали брать, так чего же поделаешь?

— Что ж, старики,— начинает в таких случаях Чичков,— чего ж тут еще дожидаться? Ничего, видно, не поделаешь,— хитер, собака, ловко придумал. Чужие разберут, а сами где сеять станем?

Идти надо.

Богатеи энергично поддерживали Чичкова, а за ними, почесываясь, плелись и остальные князевцы.

А вечером у «собаки» шла выпивка, и Беляков в десятый раз, захлебываясь от восторга, рассказывал богатеям, как он ловко все проделал. Князевцы и сами понимали, как их Беляков оплел, да ничего не поделаешь. Пробовали ему пригрозить поджогом, он и против этого нашел сноровку. Высмотрел в деревне центральное место и стал торговать его у хозяина, Алексея Ваганова. Ваганов хотя и плохонькой был мужичонка, а насиженным местом дорожил и заломил такую цену, что Беляков только свистнул и ушел, сказав на прощанье:

— И подешевле отдашь.

И действительно, отдал. Через неделю нагрянул обыск, и у Ваганова нашли барский котел, вмазанный в печь. Ваганов и не запирался, что он выломал, но указал, что и другие не лучше его: почитай, у всяко-

го барское добро есть,— сам Беляков и спит, и ест, и пьет из барского. Кончилось, однако, тем, что других не тронули, а Ваганова в Сибирь сослали. Осталась Устинья с четырьмя детишками, пришла зима, а с ней голод и холод, отдала вдова свою усадьбу, а за это ей избу перенесли на край села, да еще дали десять рублей. Так поселился Беляков в центре села.

— Жги его, собаку, коли себя не жаль! — толковали князевцы.

— Ах, собака, собака, и ничем его не доймешь!

— В овраге где-нибудь ночью прикончить.

— Станет он тебе по оврагам ночью ездить? Ему что за неволя?

— Ах, собака, пра, собака!

Взялся было Андрей Михеев миру послужить, лошадок увести, богатеи донесли вовремя, и Михеев чуть жизнью не поплатился: весь заряд на вершок от него просвистал, а вдогонку еще Беляков закричал:

— На первый раз, Андрей, только попужал, а впредь не взыщи.

— Хай ему пес,— отплевывался Андрей, повествуя в кабаке про свою неудачу.

А на другой день Беляков пришел к Андрею с понятыми и составил протокол о том, что верея [1] из барского двора вырыта.

Два часа Андрей валялся в ногах у Белякова, пока тот смиловался.

— Ну, помни же, Андрей. Протокол я припрячу до времени, а уж какой выйдет грех, ты у меня будешь в ответе.

Приуныли князевцы. Богатые из года в год богатели, а бедняки беднели все больше и больше.

Терпели князевцы, терпели, да наконец и невмоготу стало. Да и случай-то вышел исключительный. Высмотрел Беляков как-то дешевый гурт скота, дешевый потому, что открылся в нем падеж. Беляков с богатыми и соблазнился на дешевку. Купили весь гурт и пригнали в князевское стадо. Результатом было то, что все коровы у князевцев передохли. Ну, зашумели же князевцы! Целую неделю не решались Беляков и его товарищи показаться в деревню. Кончилось, одна-

---

[1] Верея — воротний столб. *(Прим. авт.)*

ко, тем, что Беляков и богатеи помирились с миром на десяти ведрах водки. Один Степан Лайченков не стал пить.

— Хай вам, собаки! Один я с бабой, детей нет, послужу миру,— сказал Степан, тряхнул головой, надвинул шапку и пошел домой.

Так и замер Беляков со стаканом водки в руках. Насторожился и мир. Со Степаном шутки плохи были. Степана все боялись. Боялись за его огненные, как у бешеного, глаза,— как сверкнет он ими, так на что Андрей Михеев отчаянный, а и тот, как бы пьян ни был, отстанет.

Струсил Беляков и пошел со Степаном мириться. Надавал он Степану пятнадцать рублей за павшую корову, но Степан стоял на своем.

— Ничего не возьму, а миру послужу. Опостылел ты всем, собака... Найду и на тебя конец.

— Да ты не стращай. За это знаешь куда попадешь? — огрызался Беляков.

— Слушай, Николай! Ты других пугай, а меня оставь. Нас только бог слышит, так вот тебе я что скажу. Полгода я даю тебе срока: не уйдешь волей — жив не будешь.

И глаза Степана так сверкнули, что Николай сделался белый, как рубаха.

— Опостылел ты, подлец. Я не буду таиться. От меня никуда не уйдешь. Я прямо возьму топор да среди улицы тебя и хвачу. Вот этак!..

И Степан, в одно мгновение схватив топор, лежавший под лавкой, замахнулся над Николаем.

— Господи Иисусе, помилуй,— прошептал Николай, прижавшись к притолоке.

Панический ужас точно сковал его. Широко раскрытыми глазами впился он в страшное, искаженное бешенством лицо Степана.

— Куда уйдешь, собака? — неистовым голосом закричал Степан и, не помня себя, со всего размаха опустил топор.

Прибежали соседи, но уже было поздно: Беляков с рассеченною головой, с распластанными руками валялся на полу, а Степан, очевидно, бессознательно, бережно обтирал окровавленный топор.

— Степа, господь с тобою, ты что это сделал? Погубил ты себя.

Степан точно проснулся. Он оглянулся, посмотрел на лежащего Белякова, на топор, бросил его и, проговорив упавшим голосом: «Братцы, голубчики, пропала моя душенька, лукавый попутал»,— зарыдал, как ребенок.

Вся деревня сбежалась, и вся деревня рыдала.

— Степа, голубчик, что ты наделал? — повторяли мужики на все лады и по очереди обнимали Степана.

А Степан рыдал и рыдал, твердя одно и то же:

— Погубил я свою душеньку.

И Степана угнали в Сибирь. Нового приказчика прислал Скворцов, но уже доходов тех не было.

При первой оказии новому приказчику объявили на сходе:

— А ты не больно. Много вашего брата здесь перебывало. Всяких видали — и не таких, как ты, а где они? Все вверх по Степаиловке ушли [1], а мы всё тут.

Приказчик обробел и повел дело спустя рукава. Скворцов решил продать имение. Покупщиком явился я.

II

ЦЕЛЬ ПОКУПКИ ИМЕНИЯ

Заботы о личном благосостоянии.— Организация моего хозяйства.— Немецкая колония.— Технические улучшения в имении

Мне было тридцать лет, я был женат и имел двух маленьких детей. Предыдущая моя деятельность ничего общего не имела с деревней. С хозяйством, так как вся родня моя всегда занималась земледелием, я был знаком. С народом хотя я и сталкивался, но быт его знал более по литературе. По специальности я был инженер путей сообщения, но бросил службу за полною неспособностью сидеть между двумя стульями: с одной стороны, интересы государственные, с другой — личные, хозяйские. Казенных железных дорог тогда еще не было. Имение я купил за семьдесят

[1] Степаиловка — ручей, в верховьях которого было расположено кладбище князевцев. (*Прим. авт.*)

пять тысяч рублей — значит, оно в течение пяти лет удвоилось в цене. Жена и я — оба мы страстно стремились в деревню. Перспектива свободной, независимой деятельности улыбалась нам самым заманчивым образом.

Цели, которые мы решили преследовать в деревне, сводились к следующим двум: к заботам о личном благосостоянии и к заботам о благосостоянии окружающих нас крестьян. Каким путем думал я стремиться к достижению этих целей?

Вообще, а в деревне в особенности, в делах людских резко бросается в глаза неразумное приложение сил в борьбе за существование. У людей под руками неисчерпаемые богатства в лице природы, а почти вся их деятельность направлена не на эксплуатацию этой природы, а на вымогательство у более слабого. В городах это не так режет глаза, но в деревне, у самого источника, так сказать, глупо и дико видеть, как все силы человека направлены на то, чтобы как-нибудь отнять последнюю каплю у ближнего, когда соединенными усилиями можно овладеть целым источником. Мне и хотелось помочь людям стать на надлежащий путь, хотелось помочь им перенести центр тяжести борьбы за существование на природу. Задача не казалась особенно трудной: стоит научить крестьянина более успешным приемам борьбы с природой, и он сам поймет, как дико и нелепо бороться с ближними, тем более, что в той местности, где я приобрел имение, были уже примеры такого отношения к делу.

В образец я взял немецкое хозяйство. Верстах в сорока, в начале пятидесятых годов, поселилась колония немцев-менонитов, состоящая в настоящее время из ста семейств. О баснословных урожаях сам-тридцать я услыхал сейчас же по приезде. Мой первый визит был в колонии. Я осмотрел подробно хозяйство колонистов. Во всем система, порядок, аккуратность. Даровой надел каждой семьи 60 десятин, оборотный капитал, вывезенный из Германии, около 10 тысяч рублей на семью, то есть на десятину приходится около 170 руб. Средний валовой доход с участка около 3 тысяч руб. Откладывается ежегодно от 500 до 1000 рублей. Переживали они и плохие времена. Четырехпольная система дала в России неудовлетворительные

результаты. Но в начале шестидесятых годов колонист Пенер, энергичный и дельный человек, перешел к обыкновенной русской трехпольной системе, применив к ней глубокую запашку, удобрение, обновление семян и проч. Дела колонистов приняли вскоре блестящий оборот.

Я отдался делу с такой любовью, какой не предполагал в себе. Моя страсть побольше поспать пропала бесследно. С первым лучом солнца я был на ногах, торопился пить чай и спешил на двор. Там десятки хорошо выкормленных лошадей впрягались в немецкие плуги и стройно выезжали в поле, начинавшееся прямо от дома. Туда же двигались воза с навозом. Аммиачный запах его сильно разносился по свежему воздуху. Весь секрет состоял в том, чтобы скорее запахать разбросанный навоз, чтобы аммиак и прочие летучие части навоза не успели выветриться.

С каким наслаждением научился я устанавливать плуги! По целым часам ходил я за установленным мною плугом, вдыхая запах свежей земли. Земля выворачивается, подымается, достигает известной высоты лемеха и винтообразно рассыпается вниз.

Рядом с полевым хозяйством я вел целый ряд журналов, долженствовавших выяснить количество и стоимость работ.

Мои друзья немцы-колонисты приезжали изредка ко мне, одобряли, исправляли и предупреждали, чтобы я не увлекался и не ждал сразу блестящих результатов. Они говорили, что нужно время, пять-шесть лет, чтобы достигнуть их урожаев. Я достиг их результатов в три года,— в третий год мой урожай, по количеству и качеству, ничем не отличался от их урожая. Но если в отношении количества и качества я достиг того же, то в отношении стоимости я значительно уступал немцам. Все у меня обходилось дороже и всего выходило больше. Объяснялось это отчасти тем, что я нарочно поднял заработную плату, находя ее слишком низкой, отчасти инженерною привычкой делать все скоро, и только по личному опыту убедился, что скорость и стоимость обратно пропорциональны между собою. Наконец, несомненное влияние

на удорожение имело то обстоятельство, что я не имел соответственного штата людей в своем распоряжении. Подобрать в деревне такой штат очень и очень трудно. Или будет честный, но ограниченный, или ловкий, но только для себя. Все эти приказчики, старосты, дрессированные в прежней школе, ничего не стоят, в новое дело они не верят; по личному опыту у них сложилось твердое убеждение, что все эти новаторства — прямой путь к разорению, а при таком отношении никакой энергии, никакой любви, понятно, быть не может. Постепенно присматриваясь к окружающим и заметив несколько смышленых рабочих, в течение трех лет я успел организовать из них потребный штат низших служащих, удовлетворявших моим требованиям.

Надежду иметь настоящих помощников я откладывал до того времени, когда вырастет молодое поколение деревни, поступившее в школу, которой заведовала моя жена.

Свои инженерные познания я применял во многих случаях при хозяйстве. Привычка к большому делу, привычка обобщать, делать правильные выводы, привычка быстро применяться к местным условиям, привычка обращения с рабочими,— все это сильно помогало мне. Технические познания дали мне возможность воспользоваться благоприятными местными условиями. Мое имение, расположенное на водоразделе, имело две речки, бравшие начало и впадавшие в другую реку на моей же земле. По нивелировке оказалось, что эти речки можно соединить в одну. Вследствие этого моя мельница вместо двух заработала на пяти поставах. Доходность ее утроилась. Приобретя такую громадную силу, я решил приспособить ее к разным целям хозяйства. Я устроил водяную молотилку, вследствие чего молотьба стала обходиться много дешевле. При молотилке я устроил амбары, куда при помощи элеваторов механически пересыпался уже очищенный хлеб. С последним поданным в барабан снопом последняя горсть зерна попадала в амбар, и воровство зерна — это зло нашего хозяйства — у меня не имело места.

На случай ненастья, отчего часто хлеб осенью в наших местах сгнивает в снопах, я устроил крытые

сараи и сушилки. Стремясь завести интенсивное хозяйство, я организовал пеклеванное дело, устроил маслобойку, чтобы добывать масло из подсолнечных семян, для чего ввел крайне выгодную новую культуру в наших местах — посев подсолнухов. Я развел фруктовый сад, насадив до двух тысяч фруктовых деревьев. Все это вследствие моей страсти к быстроте стоило мне довольно дорого и не могло приносить тех выгод, какие я мог бы получить, делая все это не торопясь. Ко второму году хозяйства мой оборотный капитал, около 40 тысяч рублей, растаял весь. Отсутствие запасного фонда меня мало смущало, так как средний чистый доход определялся мною в 10 тысяч рублей. Сверх того я имел инвентарь тысяч в 15, запасы семян, хлеба и проч.

III

ЗАБОТЫ О КРЕСТЬЯНАХ

Лечение.— Школа для детей и взрослых.— Увеселения.—Заботы о материальном благосостоянии крестьян.—Состояние крестьянского хозяйства в Князеве.— Меры, направленные к улучшению его.— Община.— Способ, принятый мною для достижения цели

В деревне и жене и мне дела было по горло. На долю жены доставалось его больше, чем мне. Главные ее заботы относительно крестьян сосредоточивались на лечении и обучении детей грамоте. Лечила жена разными общеупотребительными средствами. Обучила ее моя сестра — женщина-врач, прогостив у нас несколько месяцев. Недостатка в больных никогда не было. Бесплатное лечение, ласковость, счастье в лечении привлекали к жене массу пациентов, и она подчас порядком утомлялась практикой.

Заботы о просвещении сводились к тому, что жена устроила школу, где и занималась сама со всеми ребятишками и девчонками деревни. Школа ее имела через два года пятьдесят учеников. У нее было два помощника из молодых парней, окончивших сельскую школу в ближайшем большом селе. Крестьяне с доверием относились к школе. Часть из них видела в школе возможность избавиться их детям от тяжелого

крестьянского труда, заменив его более легким трудом писаря, приказчика, целовальника.

При этом, конечно, указывались примеры.

Другая часть крестьян мечтала о том, что их дети, научившись, будут читать им святые книжки. Наконец, третья часть крестьян, большинство, ничего не формулируя, соглашалась глухо, что школа — «дело доброе». Были и противники школы, но такие — даже и между крестьянами — считались рутинерами. Дети любили школу, для них она имела всегда новый, всегда свежий интерес. Я любил посещать уроки жены. С виду на них царил полный беспорядок, но при ближайшем наблюдении ясно было, что это только внешний вид такой,— порядок был полный в том смысле, что интерес всех к уроку достигал высшей степени; но так как форме при этом не придавалось никакого значения, то и выходило что-то непривычное,— внешней дисциплины никакой; это скорее был детский клуб, а не школа.

Я тоже был преподавателем. Я читал им обработку и уход за землей, за растениями. Был еще мастер, который учил детей делать горшки. Выделка этих горшков давала некоторый доход им, так как горшки продавались на ближайшем базаре. Полученные деньги составляли их гордость и радость их родителей.

И говорить нечего, что покупка горшков для нужд домашних на деревне прекратилась совершенно, так как ученики вволю снабжали ими своих родных. Радость мужиков и баб выражалась примерно таким образом:

— Бывало, разобьется горшок — бить бабу. А теперь бей, сколько влезет — свои горшки. Шабаш!

И князевец весело потряхивал головой.

Со взрослыми, которых в школу не загонишь, я при каждом удобном случае вступал в беседы на всевозможные темы: сегодня история, завтра политическая экономия, там политика, сельское хозяйство, смотря по тому, с чего начинался разговор.

Я шутя говорил, что в десять лет они все у меня будут с высшим образованием. Нельзя сказать, чтобы они без интереса относились к моим рассказам и не любили их, но времени свободного у них было мало,

и нередко на самом патетическом месте меня обрывали без церемонии:

— Так как же насчет пашни-то?

Зато в праздничный день или зимой они слушали долго и с охотой до тех пор, пока дрема не одолевала.

Бывало, зимой вечером рассажу их в кабинете по диванам, креслам, стульям, прикажу подать им чаю и на первую попавшуюся тему, по возможности простым языком, начинаю. Самый большой любитель моих рассказов — Сидор Фомич, мой ключник, старичок лет семидесяти, честный, прекрасной души и правил человек. Бывало, как я только начинаю, усядется поглубже в кресло, прокашляется, оправит свой полушубок и с детски радостным лицом уставится на меня. Но не пройдет и десяти минут, как мой Сидор Фомич начинает сначала потихоньку, а потом сильнее и сильнее клевать носом. Пройдет час, и все мои слушатели после отчаянных усилий склоняют свои трудным боем с жизнью удрученные головушки. Я кончаю свою лекцию и распускаю слушателей с тем, чтобы назавтра начать новую лекцию.

Святки были посвящены заботам о веселье. Мы с женой старались, чтобы этот кусочек в году проводился князевцами весело и беззаботно. Задолго до рождества в школе начинались оживленные толки о предстоящей елке. Этою елкой бредили все без исключения дети деревни. Быть на елке — это было такое их право, против которого не смели протестовать самые грубые, поглощенные прозой жизни родители.

Как бы ни был беден, а в чем-нибудь да принесет заплаканного пузана в новой ситцевой рубашонке, торчащей во все стороны. Станет на пол такой пузан, воткнет палец в нос и смотрит на громадную, всю залитую огнями елку. А тут же мать его глядит — не оторвется — на своего пузана, ласково приговаривая:

— Поди вот с ним, ревма-ревет — на елку. Чего станешь делать? — притащила.

Но вот начинается с таким нетерпением ожидаемая раздача подарков и лакомств. Ученикам — бумага, карандаши, дешевые книжки и шапка орехов с пряниками, другим — ситца на рубаху, кушак и тоже пряников с орехами. С елки каждому по выбору сры-

вается что-нибудь по желанию. И, боже мой, сколько волнения, сколько страху не промахнуться и выбрать что-нибудь получше!

Но самое главное происходило на третий день, когда елка отдавалась ребятишкам на разграбление. Детей выстраивали в две шеренги, и, по команде, между ними падала елка. Каждый спешил сорвать, что мог. Нередко радость кончалась горькими слезами трехлетнего неудачника, не успевшего ничего взять. Но горе такого скоро проходило, так как из кладовых ему с избытком наверстывали упущенное.

На первый день праздника, после церкви, мы с женой отправлялись на деревню и развозили скромные подарки: кому — чай и сахар, кому — ярлык на муку, кому — на дрова, кому — крупы, кому — говядины. Вечером елку посещали ряженые парни, молодые бабы, девушки — все, нарядившись как могли, являлись погрызть орехов, поплясать и попеть. Костюмы незамысловатые: девушки в одежде братьев, братья в сестриных сарафанах, неизбежный медведь, мочальная борода, комедия волжских разбойников. На другой день обед бабам и обед на новый год мужикам. Бабам с сластями, мужикам с водкой. Еще два-три вечера с ряжеными, и святки кончались.

Заботы о материальном благосостоянии делились на две части:

1) частные, имевшие характер филантропии, и

2) общие, имевшие целью улучшить общее благосостояние крестьян.

К частным относились поддержка и помощь увечным, старым, не имевшим ни роду ни племени, вдовам, солдатским женам, пока их мужья отбывали повинность. Сюда же относилась льготная поддержка — ссуда деньгами каждой семье в случае неожиданных расходов: свадьбы, падежа скота, пожара и проч.

Общие меры, содействовавшие благосостоянию крестьян, заключались в следующем:

1) Ввиду необходимости ежегодной чистки леса, получался малоценный для меня материал — хворост,

но для крестьян весьма ценный как топливо. По соглашению с крестьянами, в указанные дни, весной и осенью, их допускали в лес, и они, чистя мне лес, приобретали себе отопление на зиму. Единственным обязательным условием было являться всей деревне враз, для облегчения надзора за правильною чисткой. Крестьяне относились замечательно добросовестно к тому, чтобы правильно и согласно указаниям чистить лес. Благодаря этой ничего мне не стоившей помощи я имел в три года несколько сот десятин прекрасно вычищенного леса.

2) Мои крестьяне, как уже известно, были малоземельные. Необходимость платить за каждую десятину вынуждала их ограничивать себя, в чем только они могли. Необходимость ограничения отразилась, между прочим, на уменьшении выпуска, что в свою очередь повлияло на уменьшение количества лошадей и скота.

Вопрос об удобрении без скота сводился, таким образом, к нулю.

Чтобы дать крестьянам возможность не продавать своих телят, жеребят и прочей живности, я отвел им 200 десятин выпуска, выговорив себе право уборки обществом 15 десятин хлеба. Если перевести это на деньги, то десятина обходилась обществу по 50 копеек, тогда как под хлеб ли, под сенокос ли я свободно мог получить на круг 5 рублей за десятину. Но и против этой работы богатеи деревни восстали. Они просили натуральную повинность перевести в денежную, ссылаясь на то, что, как богатые, они держат много скота и на их часть ляжет значительная доля жнитва, а семьи у них небольшие. Бедные, напротив, стояли за натуральную повинность, так как на их долю приходилась ничтожная работа, для них не обременительная.

Я отказал богатым в просьбе на том основании, что плата за выпуск так низка, что для них, богатых, не составит особого труда нанять и поставить вместо себя жнецов.

3) Сдача земли, как она производилась раньше, описана в первой главе. Результатом такой сдачи было то, что богатые сидели на лучшей земле и из года в год богатели, а бедные, сидя на худшей, все боль-

ше и больше беднели. Ненормальность и несправедливость такого положения дел была очевидна. Выясняя себе причины, в силу которых оно создалось, я остановился исключительно на следующем. С освобождения мои крестьяне вышли на сиротский надел. Первым последствием этого было ослабление общины. Когда же князевцы переписались в мещане, чтобы не платить подушных, община окончательно подорвалась, а с ней погиб единственный оплот против всякого рода кулаков. Подтверждением справедливости моего мнения служили соседние деревни, вышедшие на полный надел, где хотя и существовало кулачество, но несравнимо в более слабой степени, чем у князевцев. Благосостояние этих крестьян было тоже неизмеримо выше князевского.

В силу всего сказанного вопрос для меня становился ясным: рядом с удобрением, правильною пашней и прочими нововведениями необходимо было возвратить князевцев к их прежнему общинному быту. Я сознавал весь труд выполнения взятой на себя задачи, сознавал, что двадцать пять лет в жизни народа что-нибудь да значат, понимал то противодействие, которое встречу как со стороны кулаков деревни, так и со стороны обленившихся и опустившихся бедняков, но иного выхода для того, чтобы поднять благосостояние крестьян, я не видел. Я считал, что отдельные единичные усилия — так или иначе поставить вопрос улучшения — не приведут ни к чему,— нужно всю деревню заставить действовать как один человек.

Для этого, конечно, прежде всего нужна была сила. Она у меня имелась. Моя власть над ними была почти безгранична,— только воздуха не мог их лишить, а остальное все в моих руках, кладбище — и то мое, так что мужики часто шутили:

— Мы и до смерти и после смерти ваши.

Силу употреблять для себя — это гнусно. Сила для их блага, когда доводы не действовали,— это единственная возможность достигнуть цели.

Вопрос был только в том, правильно ли я рисовал себе картину и действительно ли так необходимо было заставлять крестьян отрешиться от их способа ведения дела? Вот факты.

Наступала весна. Моя земля вспахана с осени, и, чуть только сошел снег, я, по примеру немцев, приступил к посеву.

У мужиков земля была не только не вспахана, но и не разделена. Это произошло оттого, что князевцы не имели обыкновения брать землю с осени, мотивируя тем, что до весны-де далеко, кто там жив еще будет! Между тем осенняя пашня и ранний посев в наших местах крайне необходимы. Весь урожай у нас исключительно зависит от влаги: сухой год — нет хлеба, сырой — изобилие. Так как сухих годов несравненно больше, чем сырых, то понятно, как важна забота о сохранении влаги в земле. На земле, вспаханной с осени, влага гораздо лучше держится, чем на непаханой: снег весной гораздо скорее сходит (черная поверхность паханого слоя поглощает больше тепла, чем покрытая жнивьем [1]).

Скоро сошедший снег дает возможность на неделю раньше начать сев. К периоду засухи ранний посев отцветает и начинает наливать — засуха ему, таким образом, на пользу, поздний же посев ко времени засухи только собирается цвести и крайне нуждается в дождях именно в такой период, когда дождей обыкновенно уже не бывает. Вред позднего посева заключается еще в том, что, пропустив период весенней влаги, приходится высевать семян значительно больше, так как часть их от засухи пропадает. В то время как немцы сеют восемь пудов ярового на десятину, крестьяне высевают от двенадцати до пятнадцати пудов. Результат такого густого посева двоякий: если случится после посева теплое и дождливое время, то все зерна взойдут, посев выйдет загущенный,— он или поляжет преждевременно, или пригорит, и в обоих случаях зерно получится тощее, плохое, легковесное. Если же после посева наступит холодное или теплое время без дождей, то, пока зерно соберет нужную ему влагу, пока взойдет, его заглушит сорная трава.

Чтобы дать наглядное понятие, что составляют для крестьян эти излишне высеваемые пять пудов на

---

[1] Причем вода не сбегает, как она сбегает по гладкой жниве, а тут же, вследствие неровности пашни, задерживается и проходит в землю. (*Прим. авт.*)

десятину, которые в большинстве случаев не только гибнут бесследно, но и приносят положительный вред, укажу на следующий факт. В моем имении высевается ежегодно всеми сеющими на моей земле деревнями таких излишних пудов до трех тысяч, что составляет, при стоимости весной пуда до семидесяти копеек, около двух тысяч рублей. Сумма эта, бросаемая ежегодно не только на ветер, но и в прямой ущерб делу, превышает сумму всех земских и государственных повинностей, платимых пятью деревнями.

Напрасно думают, что мужик хорошо знает свойства своей земли и условия своего хозяйства: он полный невежда в агрономических познаниях и страшно в них нуждается. Отсутствие знания, апатия к своим интересам, отсутствие правильного понимания условий, в которые он поставлен, поразительны.

Здесь крестьянам необходима энергичная посторонняя помощь; сами они не скоро выберутся из своего застоя. Несколько лет тому назад, во время ветлянской чумы, полиция настояла, чтобы навоз вывозился в поле. Это поле, куда свозился навоз, и до сих пор отличается особыми урожаями, и все крестьяне говорят, что это от навоза.

— Почему же не продолжаете назмить?

— Разве всех сообразишь? — отвечают.— Мир велик, не один человек.

Или другой пример: ежегодный передел земли. Это вопиющее зло. Земля, как известно, требует тщательной обработки. Хлебородность правильно обрабатываемой из года в год земли с каждым годом растет. При ежегодном же переделе хорошо обработанная в этом году земля попадает на будущий год к бессильному бедняку мужику, который при всем желании ничего другого не сделает, как только изгадит ее,— и сбруя плохая, и снасть плохая, и лошаденка плохая, да и сам-то от ветру валится.

— Почему же вы не разделите землю на года?

— Как ее разделить? Каждый год новые прибавляются. Мир велик, не один человек,— не сообразишь.

Говоря о причинах неудовлетворительного положения крестьян, для выяснения последующего я должен коснуться одной, которая имела место только по от-

ношению к таким крестьянам, какими были мои князевцы, то есть к малоземельным.

Я уже упоминал, что часть князевцев, когда им пришлось жутко, мечтала выселиться; эта возможность выселения твердо сидела в головах всех князевцев. Положим, что они никогда не расстались бы с своими местами, но уже одна мысль, что они могут уйти, деморализирующе действовала на них. Сами не замечая, они втянулись в жизнь людей неоседлых. Лишь бы до весны, а с весны лишь бы до осени. К этой возможности выселиться незаметно приспособлялось все хозяйство; к чему лишний посев, лишний теленок, лошадь, когда осенью, может быть, все уйдут на новые места?

В силу всего вышесказанного я пришел к заключению, что для подъема материального благосостояния князевцев необходимо, чтобы они согласились на следующие четыре мероприятия:

1) Князевцы должны взять по контракту на двенадцать лет, за круговою порукой, столько земли, сколько им нужно.

2) Земля должна быть разделена между отдельными лицами раз на все двенадцать лет совершенно равномерно по качеству как между богатыми, так и между бедными.

3) Ближняя земля должна удобряться, для чего весь навоз деревня должна вывозить зимой на ближайшие паровые поля.

4) Земля под яровое должна пахаться с осени.

Придя к этим выводам, я через год после моего приезда решил действовать. Предварительные переговоры ни к чему не привели.

Чичков, один из самых богатых мужиков, все силы напрягал доказать мне и мужикам неосновательность моих положений. Я прибегнул к силе. Собрав сход, я сказал крестьянам приблизительно следующую речь:

— Вот что, старики. Вижу я, что от хозяйства вы вовсе отбились. Так жить нельзя. Пахать не вовремя, сеять не вовремя, да и сеять-то по какой-нибудь десятинке в поле — и себя не прокормишь и землю только измучишь. Либо вы принимайтесь за дело как следует, как отцы ваши принимались, либо отставай-

те вовсе от земли. Тогда я один буду сеять, а вы у меня в работниках будете.

Толпа зашумела.

— Нам нельзя без земли.

— Ты сегодня здесь, завтра нет тебя, а мы чего станем делать? Нам нельзя отставать от земли.

— Хорошо, господа, вижу, что у вас еще не совсем пропала охота к земле и очень рад этому. В таком случае принимайтесь за дело как следует.

И я объяснил мои условия. Мужики угрюмо молчали.

— Даю вам три дня сроку,— сказал я.— А теперь ступайте с богом.

Все три дня с наступлением вечера деревенская улица наполнялась народом. Из окон моего кабинета слышен был отдаленный крик и гул здоровых голосов, говоривших все враз.

Накануне назначенного срока, когда собравшаяся было на улице толпа уже разбрелась, я сидел у окна кабинета и пытливо всматривался в темнеющую даль деревни. Там и сям зажигались огоньки в избах. «На чем-то порешили?» — думалось мне, и сердце невольно сжималось тоской. Я чувствовал, что из своих условий, взвешенных и обдуманных, я ничего не уступлю, даже если бы пришлось прибегнуть к выселению всей деревни. Я утешал себя, что раз они не пойдут на мои условия, то рано или поздно необходимость все равно вынудит их искать других мест. Но рядом с этим утешением подымался невольный вопрос: имею ли я право ставить их в такое безвыходное положение, как выселение, разрыв со всем прошлым? Я должен признаться, что чувствовал себя очень и очень нехорошо, тем более что и жена была против крутых мер.

Пришли приказчики: Иван Васильевич и Сидор Фомич.

— Садитесь, господа,— проговорил я, с неохотой отрываясь от своих дум [1].

— Чичков пришел,— доложила горничная.

— Зовите.

---

[1] Мы начали обсуждать, как распределить работы завтрашнего дня. *(Прим. авт.)*

Вошел Чичков, огляделся и испуганно остановился.

— Чего тебе?

— Старики, сударь, прислали,— проговорил он, слегка пятясь к двери, по мере моего приближения. Он, очевидно, боялся, чтобы я, как, бывало, покойный Юматов, как-нибудь не съездил ему в зубы.

— Да ты чего пятишься? — насмешливо спросил я.

Чичков покраснел, [illegible]нул волосами и, задетый, ответил:

— Я ничего-с.

— А ничего, так и стой, как все люди стоят. Зачем тебя прислали?

— Прислали сказать, что не согласны.

— Почему же не согласны? — угрюмо спросил я.

— Не согласны, и баста!

— Значит, за меня уступают землю?

— Нет, как можно! — испугался Чичков.— Без земли что за мужик! Только на ваших условиях не желают.

— Почему же не желают?

— Да господь их знает. Стоят на своем: не желаем, и баста! Ведь, сударь, вы нашего народа не знаете,— одна отчаянность и больше ничего. За всю вашу добродетель они вас же продадут. Помилуйте-с! я с ними родился и всех их знаю. Самый пустой народ. Ничего вы им не поможете,— все в кабак снесут и вас же попрекнут.

Я задумался, а Чичков вкрадчивым голосом продолжал:

— Право, сударь, оставьте все по-старому, как было при Николае Васильевиче. Забот никаких, денежки одним днем снесут. А этак узнают вашу добродетель, перестанут платить.

— А ты откуда узнал мою добродетель?

— Да ведь видно, сударь, что вы барин милостивый, простой, добродетельный. А с чего бы вам затевать иначе все это дело? Только ведь, сударь, не придется. Помяни меня, коли не верно говорю.

— Верно, верно! — умилился Сидор Фомич.

— А ты с чего? — накинулся я на Сидора Фоми-

ча.— Тот-то знает, куда гнет, а ты с чего?.. Вот что, Чичков,— обратился я к Чичкову,— кланяйся старикам и скажи, что я завтра покажу им свою добродетель.

Чичков сперва съежился, но при последней фразе глаза его злорадно загорелись.

— Не понял что-то, сударь... как передать прикажете?

Но мое терпение лопнуло.

— Ступай! — крикнул я, взбешенный.

По его уходе я отдал следующее распоряжение:

— Завтра, Иван Васильевич, работ не будет. Вы со всеми рабочими верхами оцепите деревню и ни одну скотину из князевского стада не пропускайте на выпуск до моего распоряжения.

Сидор Фомич тихо вздохнул.

— Не знаю, как и посоветовать вам,— заметил Иван Васильевич.

— Никак не советуйте,— это мое дело. Иначе нельзя.

— Как прикажете.

На другой день меня разбудил страшный рев скота. Я подбежал к окну, и моим глазам представилась следующая картина. На другой стороне реки, у моста, толпилось князевское стадо. Скотина жадно смотрела на выпуск, расположенный за мостом, и неистово ревела. Иван Васильевич с пятнадцатью верховыми стоял на мосту и мужественно отражал отдельные попытки, преимущественно коров, пробиться через сеть конных.

Во дворе толпилась вся деревня. Я поспешил одеться и выйти. При моем появлении толпа заволновалась.

— Пожалей, будь отцом,— заговорили они все вдруг.

Передние стали опускаться на колени. Картина была сильная, но я, преодолев себя, сурово проговорил:

— Встаньте.

И так как они не хотели вставать, то я сделал вид, что ухожу в комнаты.

Мужики поднялись с колен.

— Нечего валяться,— заговорил я так же сурово.— Хоть землю грызите, ничто не поможет. Или берите землю, или отказывайтесь.

— Нам нельзя без земли.

— Так берите.

— Батюшка,— заговорил Чичков,— дай нам недельку сроку.

— Минуты не дам,— вспыхнул я.— Ты мутишь народ. Ты в контракт не хочешь. Почему не хочешь?

— Не я не хочу, мир не хочет.

— Почему не хочет?

— Неспособно. Первая причина — выпуском обижаются, что работой назначили. Работа разложится по чередам,— иной одинокий, бессемейный, чередов много, а рук нет. Вторая причина — навозом обижаются: у кого много скотины, да мало работников, только и будет работы, что навоз весь год возить.

— Теперь же ты вывозишь свой навоз за село, ведь лишних всего-то сто — двести сажен проехать дальше, не дальнее же поле я вам даю. А не хочешь назмить, я неволить не буду, но таким в ближних полях земли не дам, а посажу на дальние.

— На ближних-то сподручнее.

— А сподручнее, так вози навоз.

— Еще обижаются контрактом. Народ мы бедный, друг по дружке не надеемся. Год на год не стоит; черный год придет, чем станем платить? — вот и опасаемся, как бы по круговой поруке за шабра не пришлось платить.

— Хорошо. Я вот тебе какую уступку сделаю: укажи мне, за кого ты согласен поручиться, за остальных я сам поручусь.

Произошло нечто, чего я сам не ожидал. Чичков стал отбирать тех, на кого он надеялся. Из 50 дворов образовалось две партии: одна ненадежная, счетом 44 двора, а другая надежная, счетом 6 дворов. Сам Чичков, видимо, смутился результатом своего сортирования. Дружный смех еще больше смутил его. За смехом вскоре последовало выражение негодования со стороны ненадежных, так бесцеремонно забракованных богачами.

— Вы всегда так мутите,— попрекал один.

— Через вас все беды наши,— говорил другой.

— Вы с Беляковым по миру нас пустили,— попрекнул третий.

— Ври больше,— огрызнулся Чичков.

Слова Чичкова попали искрою в порох. Долго сдерживаемое озлобление с силой прорвалось наружу.

Брань на Чичкова и богатых посыпалась со всех сторон.

— Сволочь!

— Мироеды!

— Коштаны!

— Да чего смотреть на них? — выдвинулся из толпы Петр Беляков.— Надо дело говорить! — Его черные глаза метали искры.— Вчера вечером совсем было наладились идти к твоей милости, а кто расстроил? Все они же. «Постойте, старики, я еще сбегаю к барину,— поторгуюсь, не уступит ли?» Приходит назад: «Идет, говорит, уломал барина, стал сомневаться. Как станем дружно, сдастся, некуда деться-то. Землю-то не станет есть».

— Чичков вчера принес мне отказ от вас,— заявил я.

Это было новым сюрпризом для толпы и новым поводом сорвать на Чичкове накипевшее сердце. Они так насели на него, что я уж стал бояться, как бы они бить его не стали. Кое-как толпа успокоилась наконец.

— Ах, юла проклятая!

— Ну, и человек!

— Всем бы прост, да лисий хвост!

— Жид, пра, жид!

И всё в таком роде. Чичков, прижатый к стене дома, молчал. Особого страха в лице не было, юркие глазенки его бегали, с любопытством останавливаясь на каждом говорившем о нем, точно разговор шел о каком-то совершенно для него чужом.

— А вы будет,— остановил толпу безбоязненный и строгий мужик Федор Елесин.— Дело делать пришли, а не лаяться перед его милостью.

— Так чего же, братцы? — заговорил Петр Беляков.— Надо прямо говорить, барин милость нам оказывает, а мы не знаем, с чего упираемся.

И, обратившись ко мне, решительно проговорил:

— Пиши мне две десятины в поле.

— И мне две.

— И мне!

— И мне!

— Сейчас стол велю вынести.

И под этим предлогом я ушел в комнаты поделиться с женой неожиданною радостью. Жена сидела в спальне и, оказалось, слышала весь разговор. Окна были открыты, но жалюзи затворены. Это давало возможность видеть все происходившее на дворе, не будучи, в свою очередь, видимым. Когда я вошел, жена приложила палец к губам.

Со двора доносился тихий, ровный, спокойный голос Чичкова:

— Залезть-то залезли, а назад-то как?.. Видно, не мимо говорится: живем, живем, а ума все нет. Оплел он вас в чувашские лапти,— с места в неволю повернул. Дали вы ему свою волю, отбирать-то как станете? Хотел миру послужить, облаяли, как пса последнего. Бог с вами. Мне ничего не надо. Уложился да и съехал — свет не клином сошелся. Вам-то как придется.

Толпа, за минуту перед тем готовая его разорвать, хранила гробовое молчание.

После нескольких секунд молчания опять раздался голос Чичкова:

— Не губите себя, старики! Время есть еще — опомнитесь, детей своих пожалейте!

Я поспешил во двор.

При моем появлении Чичков смолк и с невинною, простодушною миной смотрел мне в лицо. По наружному виду можно было подумать, что он не только не говорил, но и не шевелился.

— Дьявол ты, а не человек,— обратился я к нему,— слышал я в окно твои подлые речи. О себе только думаешь, тебе бы хорошо было. Да не то время, нет больше Николая Васильевича, не с кем морочить народ; прошло время, когда за пуд ржаной муки тебе по десятине жали, когда за бутылку водки ты на лучшей земле сидел, а народ бедствовал. Не будешь торговать чумною скотиной. Я за народ — и весь перед богом. Верой и правдой хочу помочь тем, которые века работали на моих отцов, дедов и прадедов. Тебе

не смутить их: за каждое свое слово дашь отчет людям и богу. Будет и тебе мутить. Вот тебе моя воля: нет тебе ни земли, ни лесу, ни выпуска — иди на все четыре стороны. Месяц тебе сроку даю, и чтоб через месяц духу твоего не было. Ступай!

Чичков слушал все время с опущенною головой.

Когда я кончил, он высоко поднял голову, вздохнул всею грудью и проговорил спокойным, уверенным тоном:

— Спасибо, сударь, и на этом.

Он низко поклонился и, держа шапку под мышкой, неспешным шагом пошел со двора.

Один за другим потянулись за своим коноводом богатеи.

Толпа угрюмо молчала.

— Скатертью дорога,— проговорил вслед уходившим Петр Беляков.— Добра мало видели от них.

— Господь им судья,— заметил Федор Елесин.— Ушли — и ладно. Проживем и без них.

— Проживем,— весело согласился Петр Беляков.

— Сволочь народ,— сказал Андрей Михеев и плюнул.

— А ты будет,— остановил Федор.

Я стал записывать кому сколько десятин.

Стадо выпустили на выпуск. Скотина быстро разбрелась по лугу, жадно хватая по дороге траву.

Народ повеселел.

— Ишь как хватает,— заметил Керов, мотнув головой по направлению выпуска.— Проголодалась.

— Напугал ты нас вовсе, сударь,— сказал, обращаясь ко мне добродушный Прохор Ганюшев.

— Коли не напугал,— подхватил Керов.

Наступило молчание. Я продолжал записывать.

— А богатеи, мотри, и вправду уйдут,— заметил кто-то.

— А хай им пес,— отозвался Андрей Михеев.

— А уж вертелся Чичков — и туда и сюда,— начал опять Керов. «Старики, я с хозяюшкой посоветоваться сбегаю»,— а сам забежит за угол, постоит-постоит и назад: «Жена не согласна».

Керов изображал Чичкова очень удачно и комично.

Толпа наградила его смехом.

— Даве бают,— заговорил Андрей Михеев, понижая голос,— богатеи промеж себя: «А он,—это про вашу милость, значит,— как приехал, тогда еще сказал: не будет у меня богатых».

Толпа насторожилась и пытливо уставилась на меня.

— Я никогда этого не говорил. Я сказал, что у меня бедных не будет. Напротив, богатого мужика я уважаю. Если он богат, значит, он непьющий, заботливый, трудолюбивый. Только не хочу я, чтобы он богател, отнимая у бедного. С земли бери что больше, то лучше, выхаживай ее. Тут ты сразу возьмешь сорок — пятьдесят пудов лишних, но не выжимай последней копейки у бедного.

— Видишь, что баит,— заметил добродушный Прохор.

— А сказывают, быдто земля наша не принимает навоз,— сказал Петр Беляков.— Нужен, ишь, навоз песчаной земле, а наша черная.

— Ты вот черный, а я русый, у обоих брюхо, и оба мы есть хотим. Так и земля: всякой навоз нужен, только песчаной чистый нужен, а черной — соломки побольше, потому что в черной силы и без того много, да только не перегорает она, как следует, от навоза же она горит лучше. Для этого же ее нужно почаще перепахивать.

— Этак и станем пахать да пахать, а другие работы?

— Поменьше сей.

— На что уж мало сеем.

— Вот в прошлом году я двоил,— говорил староста,— а Федька Керов в одноразку пахал. У него непрорезная рожь, а у меня вовсе плоха.

— То-то оно и есть,— заметил Федор Елесин.— Паши ты ее хоть по пяти раз, а не даст бог, ничего не будет. А раз вспаши, да с молитвой, откуда что возьмется.

— Молится-то ведь и худой, и хороший, и ленивый, и прилежный, кого же бог слушает больше? — спросил я.

— Всех слушает,— сурово заметил Федор.— Разбойника в последнюю минуту и то послушал.

Я невольно смутился.

— По-твоему, что хороший, что худой — одна честь?

— Не по-моему, а по-божьему,— кто как может.

— По-нашему, бают старики,— заметил молодой рябой Дмитрий Ганюшев,— бог даст — и в окно подаст. Захочет — и на несеяной уродит.

— Ну так вот, не паши свой загон,— заметил я.— Посмотрю, много ли у тебя уродит.

— А что ж? — вступился Федор.— Лет пять назад посеял я рожь. Убрал. На другой год не стал пахать — болен был, прихожу на поле, ан, глядь, у меня непролазный хлеб,— падалицу дал господь.

— То-то вот оно и есть, на все божья воля: волос с головы не упадет без его святой воли.

— Против этого я не спорю. Только я говорю: бог труды любит. В поте лица своего добывайте хлеб свой. Для трудов и на землю мы пришли, так и надо трудиться... Только за труд и награда от бога приходит, а помрем, тогда и за добрые свои дела награду получим.

— Где уж нам,— заметил Керов,— здесь всю жизнь работаем на бар и там, видно...

Керов подмигнул соседям.

Мужики лукаво уставились на меня: знаю ли я, на что намекал Керов?

— Ты что ж не кончаешь? — спросил я.— И там, видно, тоже будете работать: дрова для бар таскать? Так, что ли?

— Я не знаю,— смутился Керов.

— А я тебе на это скажу: какие баре и какие мужики.

— Верно,— согласился Федор Елесин.— Богатый да милостивый — оба царства царствует.

— Верно,— согласилась толпа.

— А вот Власов все баил,— начал опять Керов,— мне бы одно царство поцарствовать, а в другом мной хоть тын подопри.

Власов — мужик соседней деревни, умерший от запоя.

— Одно уж он царствовал,— вставил Федор Керов.— Как другое-то придется?

— Правда, что его вырыли и в озеро перетащили? — спросил я.

— Правда. Засуха стала, ну и вырыли. Как опустили в озеро, так и дождь пошел.

— Экие глупости! — заметил я.— Озеро только изгадили, какая рыба была.

— Рыба еще лучше станет, жи-и-рная,— заметил Керов.

— Ты, что ль, есть ее станешь? — спросил я.

— А хай ей,— отплюнулся Керов.

— Толкуете о боге,— заметил я,— а делаете дела такие, которые делались тогда, когда истинного бога не знали. Жили как чуваши, на чурбан молились. Тогда и таскали опойцев в пруд, а вы и до сих пор отстать от этой глупости не можете. Грех это, тяжкий грех!

— По-нашему, быдто нет греха.

— «По-нашему»! — передразнил я.— А ты батюшку спроси.

Перепись кончилась.

— Ну, спасибо, старики,— сказал я, вставая.— Видит бог, не пожалеете, что согласились на мою волю. Станете по крайней мере в одну сторону думать.

— Знамо, в одну. Теперь уж некуда деваться.

— Начинайте с богом новую жизнь. С божьею помощью, с веселым сердцем принимайтесь за работу. А чтобы веселее было, вот что я вам скажу кстати. Строенья ваши ни на что не похожи. Кто желает новые избы или починиться, для тех я назначу в поляном продажу леса. Против других деревень уступаю вам третью часть, а деньги зимой работой.

Мужики низко поклонились.

— Ну, дай же и тебе господь всего за то, что ты нас, бедных, не оставляешь. И тебе мы послужим.

— Спасибо вам, идите с богом.

Мужики нерешительно зашевелились. Я догадался, в чем дело, но помолчал. Андрей Михеев не вытерпел.

— На водочку бы,— заискивающим голосом проговорил он.

Грешный человек, не могу отказать русскому мужику в этой просьбе. Выдал на ведро.

И, боже, как весело зашумела толпа, сколько пожеланий и благословений посыпалось на меня! Вышла жена, и ее осыпали пожеланиями.

— Дети, настоящие дети,— говорил я жене, направляясь с нею в сад.

А на селе весь день не умолкал веселый говор. Наверное, к моему ведру прибавили несколько своих. Давно наступила ночь, а пьяная песня все еще не смолкала в селе. Когда мы собрались уже спать, у самой речки, на селе, какой-то пьяный голос, кажется Андрея Михеева, прокричал:

— Нашему новому барину многие лета!

И другой пьяным басом:

— А ты будет.

Засыпал я с легким сердцем. Когда имеется в жизни определенная цель и все складывается на пути к ее достижению благоприятно, чувствуешь себя легко и вольно. Такие минуты переживаются редко, но чтоб их пережить, не жаль годов труда и невзгод.

Засыпая, я переживал такую минуту. Мой дух, как орел, поднялся на недосягаемую высоту и оттуда обозревал будущее. Мне не жаль было, что я променял свое прежнее поприще на несравненно более скромное. Пусть там ждала меня, может быть, более или менее широкая деятельность в будущем, свидетелями ее были бы тысячи людей, служенье мое приносило бы пользу миллионам. Зато неизмеримое преимущество мое в этой новой моей деятельности состояло в том, что для служения миллионам есть много других, кроме меня, а для служения этим четыремстам человекам нет, кроме меня, никого.

Ушел я с прежней своей арены — и на смену мне явились десятки, может быть, более талантливых людей, тогда как здесь, уйди я,— и некому заменить меня. И если после долгой жизни я достигну заветной цели — увижу счастье близких мне людей — моей семьи и трех-четырех сотен этих заброшенных, никому не нужных несчастных, то я достигну того, больше чего я не могу и не хочу желать.

Да простит мне читатель, если я признаюсь ему, что в ту ночь я долго не мог заснуть, и подушка моя местами была мокрая от слез счастья и высшей радости, какая только есть на земле.

IV

ОТРЫВОЧНЫЕ ЗАМЕТКИ И НАБЛЮДЕНИЯ НАД КРЕСТЬЯНАМИ

Отношение их к религии.— Отношения крестьян ко мне, как к человеку и как к помещику.— Старания извлечь из меня возможную пользу.— Соседний священник.— Опыт со свиньями.— Рутинерство крестьян.— Петр Беляков

В своих беседах и общениях с крестьянами я невольно знакомился с их внутренним миром. При этом знакомстве меня поражали, с одной стороны, сила, выносливость, терпение, непоколебимость, доходящие до величия, ясно дающие понять, отчего русская земля «стала есть». С другой стороны — косность, рутина, глупое, враждебное отношение ко всякому новаторству, ясно дающие понять, отчего русский мужик так плохо живет.

Жили на деревне в одной избе два брата — один женатый, другой холостой. У женатого пятеро детей, хозяйка, он один работник; неженатый брат живет в семье, но помогает через силу,— он и стар и болен. Заболевает и умирает работник. На руках старика остается семья, которую он берется прокармливать своими слабыми трудами. Сбережений, запасов — никаких. В избе ползают полуголые ребятишки, все простуженные; плачут; изба холодная, грязь, спертый воздух, теленок кричит; умерший лежит на лавке, а у старика на лице такое спокойствие, как будто все это так и должно быть.

— Трудно тебе будет сам-восемь кормиться? — спрашиваю я.

— А бог? — отвечает он.

Бог все: голодная смерть смотрит в развалившееся окошко гнилой лачуги; умирает последний кормилец; куча ребятишек, невестка недужная, похоронить не на что, а он себе спокойно на вопрос участия отвечает: «а бог?» — и вы слышите силу, непоколебимость, величие, не передаваемое словами.

Приходит весна. Давно отсеялись люди, а мой старик все тянет.

— Ты что же тянешь?

— Да чего станешь делать? Мой-то загон на ук-

лон от солнца,— снег-от и не тает. Стает — дня не упущу.

— Да ты золой его посыпь, как я сделал,— в два дня пропадет снег.

Мнется.

— По-нашему, это быдто против бога. Его святая воля снег послать, а я своими грешными руками гнать его буду.

Так и дождался, пока снег сам собою сошел, упустив хорошее время для посева. Урожай вышел, конечно, незавидный.

— Его святая воля!

— Да ты у батюшки спроси: грех это или нет?

— Хоть спрашивай, хоть не спрашивай, это как кому господь на душу положит.

Природа не терпит пустоты: все то, что необъяснимо, с одной стороны, что не подходит под понятие о боге, с другой — заполнено у крестьян ведьмами, русалками, домовыми, лешими и проч.

Кто не слыхал, например, об этом дедушке домовом, этом добродушном, но капризном покровителе всякой семьи. В каждом доме свой домовой. Он сидит в углу в подполье. Переходишь в другой дом, надо позвать с собой и своего домового. Если старый владелец забыл позвать, обиженный домовой остается на своем месте и крайне враждебно встречает нового сотоварища. Между ними затевается страшная война. Посуда летит с печки, ухваты носятся по комнатам; в избе визг, писк. И все это продолжается до тех пор, пока прежний хозяин не явится и честно не попросит своего дедушку домового к себе на новоселье,— тогда все прекращается.

Домовой — покровитель семьи и всегда предсказывает будущие радости и горе. В таких случаях, за ужином обыкновенно, в переднем углу несколько дней подряд раздается какое-то мычание. Старший в семье спрашивает:

— А что, дедушка, к худу или добру?

Если к худу, домовой мычит «ху»; если к добру, он мычит «ддд».

Спросишь:

— Что же, по-твоему, домовой — черт?

Обидится: зачем черт — он худого не делает.

— Ангел, значит?

Плюнет даже.

— Один грех с тобой. Какой же ангел, когда он мохнатый?

Крестьяне с недоумением и недоверием относились к моей жене и ко мне. Вопрос, с какою целью мы так заботимся о них, долго был для них необъяснимою загадкой. Некоторое время они успокоились на том, что я желаю получить от царя крест. Но так как время шло, а я креста не получал, то остановились на следующем:

— Для душеньки своей делает. О спасении своем заботится.

На том и порешили. Богатые, впрочем, которые вскоре после моего приезда ушли на новые земли к чувашам, не очень-то верили моим заботам о душеньке и, прощаясь, злорадно говорили остающимся:

— Дай срок, покажет он вам еще куку!

Как бы то ни было, но отношения крестьян к нам со времени приезда постепенно значительно изменялись. Это уже не были те, глядящие исподлобья, неумытые, нечесаные медведи, какими они показались нам при первом знакомстве. Теперь их открытые, добродушные лица смотрели приветливо и ласково. Их манера обращения со мной была свободная и, если можно так сказать, добровольно почтительная. В отношениях к нам молодежи была особенно заметна перемена. Старики все ж не могли отделаться от некоторого впечатления, получавшегося от слова «барин». У молодых этого слова в лексиконе не было. Сперва они с открытым ртом, без страха, но с большим любопытством смотрели на нас, как на каких-то зверей. Но постепенно любопытство сменялось сердечностью и доверием, очень трогавшим жену и меня. Как на помещиков князевцы смотрели на нас так, как смотрят вообще все крестьяне. Прежде всего они были уверены, что в самом непродолжительном времени земля от бар будет отобрана и возвращена им, как людям, единственно имеющим законное на нее право. Обыкновенно такое отобрание ожидалось ежегодно к новому году. Крестьяне нередко обращались ко мне за разъяснением по этому вопросу. Мои дово-

ды и убеждения не приводили, конечно, ни к чему. Мне просто не верили, та́к как не в моих-де интересах было открывать им истину. В силу убеждения, что земля и лес только временно мои, с их стороны не считалось грехом тайком накосить травы, нарубить лесу, надрать лык и проч.

— Не он лес садил, не сам траву сеял,— бог послал на пользу всем. Божья земля, а не его.

— А деньги-то за землю ён платил?

— Кому платил? — чать, божья земля. Кому платил, с того и бери назад, а богу денег не заплатишь. Хоть лес взять, к примеру. Не видали его, не слыхали николи, вдруг откуда взялся: «Мой лес». А ты всю жизнь здесь маячишься, на твоих глазах он вырос: «Не твой, не тронь». Он его растил, что ль? Бог растил! Божий он и, выходит, на потребу всем людям. Ты говоришь: «мой», а я скажу: «мой». Ладно: днем твой, а ночью мой.

Таким образом помещик в глазах крестьян — это временное зло, которое до поры до времени нужно терпеть, извлекая из него посильную пользу для себя. А извлекать пользу крестьяне большие мастера. Мужик не будет, например, бесцельно врать, но если этим он надеется разжалобить вас в свою пользу, он мастерски сумеет очернить другого так, что вы и не догадаетесь, что человек умышленно клевещет. Как-то на первых порах после моего приезда приходит один из крестьян соседней деревни к моей жене полечиться. Пока получал лекарство, он успел рассказать, что женил сына, что батюшка за свадьбу взял у него корову, которая стоит на худой конец двадцать пять рублей, что этим он совершенно разорился, что вместо лесу, который ему до зарезу нужен был, он должен был купить корову, и как перебьется теперь в своей ветхой избе — и ума не приложит. Кончилось тем, что нужный лес мы ему отпустили в кредит. Так я и записал, что сосед-священник — порядочный взяточник, что и высказал как-то нашему священнику. Наш священник, молодой человек, страшно возмутился:

— Помилуйте, это мой товарищ, я головой отвечаю за него, что больше пяти рублей он за свадьбу не берет.

Он настоял на том, чтобы проверить заявление мужика. Нечего было делать, оделись мы и поехали к соседнему священнику. Нас встретил молодой, благообразный батюшка. Вся обстановка его немногим отличалась от зажиточной крестьянской. Молодую жену его мы застали за доением коров. Она же поставила нам самовар и подала его.

— Извините, пожалуйста,— объяснил батюшка,— прислуги не держим, не на что.

Познакомившись ближе, я действительно убедился, что прислугу держать не на что, так как весь доход священников в наших глухих местах не превышает трехсот рублей в год.

Когда батюшка узнал причину нашего приезда, он очень добродушно рассмеялся и объяснил нам, в чем было дело: он сменялся с крестьянином коровами, причем корова крестьянина стоила рубля на четыре-пять дороже священниковой. Мы посмотрели и корову и поехали к тому мужику, который наврал. Провожая нас, батюшка сказал на прощанье:

— К крестьянам нельзя строго относиться, что они обижаются на нас за поборы. Как бы они малы ни были, они для них потому тяжелы, что осязательны и ложатся неравномерно. Своему старшине, писарю они платят несравненно больше, но это не ощутительно для них, потому что плата равномерная, а потому сравнительно и незначительная. Необходимость поборов — большое зло; она унижает нас, лишает должного авторитета, и все наши старания на общую пользу в глазах крестьян сводятся на нет.

Мужик, не ожидая нашего визита, очень смутился и чистосердечно покаялся в своей вине. Мы осмотрели корову и должны были сознаться, что с виду разницы между обеими коровами не было никакой. Мужик все время самым чистосердечным образом кланялся и извинялся. Когда мы сели, он еще раз чуть не в ноги поклонился нам, проговорив с самым сокрушенным видом:

— Простите, Христа ради, меня окаянного. Леску нужно было вó как, а негде взять. Думаю, не пожалеет ли барин. Уж я батюшке послужу за свой грех.

Стремясь к извлечению пользы из временного зла — помещика, и князевцы, а с ними и соседние де-

ревни старались извлечь из меня все, что могли. То, что давалось добровольно, они брали, а сверх этого старались выпросить еще. Наверное можно было сказать, что каждый из окружавших меня крестьян,— а их было несколько сот,— наверное, несколько раз в год придумывал какую-нибудь выгодную для себя комбинацию. Я с удовольствием шел на такие сделки. У меня телка, у него бычок; у того жеребая кобыла, у меня мерин, годный в тяжелую работу; другому, наоборот, нужна кобыла на племя. Я любил следить в это время за крестьянином: тут он весь, вся его нужда, все его богатые способности, страстное желание и бессилие вырваться из своей безвыходной бедности. Для меня все эти сделки были безразличны. Вырастет и телка, вырастет и бычок — оба пойдут или на мясо, или в пашню.

Иногда со всею своею наукой я попадался в порядочный просак. Пришел раз мужик Дмитрий продавать свинью. Завод свиней я завел случайно, в силу следующих обстоятельств: к храмовому празднику прасолы наезжали из города и за бесценок, зная, что крестьяне к этому дню нуждаются в деньгах, скупали свиней на деревне. Разница в цене получалась значительная: к рождеству пуд свиного мяса доходил до трех рублей; а в это время прасолы покупали не дороже одного рубля пятидесяти копеек за пуд. Для противодействия прасолам я решил завести завод и сам скупал у мужиков свиней процентов на шестьдесят дороже против прасолов. Надо признаться, что аферы со свиньями были одни из самых неудачных для меня. Приходилось полагаться на личный опыт, на глазомер, и я всегда ошибался себе в убыток. Наконец я решил выработать какое-нибудь определенное мерило при покупке свиней, а до выяснения себе этого мерила остановился с покупкой. Поэтому я отказал мужику, предлагавшему мне свинью.

Мужику нужны были деньги, и он, видимо, не располагал уехать от меня, не продав свиньи.

— Ну, цену сбавьте,— приставал он ко мне.— Деньги больно нужны,— сивка оплошал, менять охота, а придачи нет.

— Вот разве как,— согласился я наконец.— Продай мне свинью по живому весу.

Мужик озадачился, помолчал и, ничего не сказав, ушел. Я рад был, что отделался от него: смотрю, на другой день гонит свинью.

— Надумал? — спрашиваю.

— Да чего делать, деньги уж больно нужны.

Мне стало немного совестно.

— Ну, бог с тобой,— говорю я.— Придется, верно, тебе прибавить.

— Ну, дай тебе бог здоровья,— говорит мужик, кланяясь,— известно, наше дело темное, чего мы знаем?

Стали весить свинью. Каково же было мое удивление, когда свинья, с виду не более четырех пудов, вытянула семь. Смотрю на мужика, мужик потупился и не глядит.

— Признавайся, свесил свинью прежде, чем пригнал ко мне?

Мнется.

— Ну признавайся, от своего слова не отстану.

— Виноват, как пришел от тебя, первым долгом свесил.

— Да уж говори все,— с сердцем обратился к нему мой ключник Сидор Фомин.— Солью, чать кормил, чтобы водицы доотвалу напилась. А свинья тут ведра два выпьет,— сказал он, обращаясь ко мне.

Мужик исподлобья посматривал на меня, но, видя мою благодушную физиономию, решился признаться до конца.

— Грешен. Покормил с вечера маленько солью, а как гнать к тебе, напоил болтушкой.

— То-то болтушкой,— волновался Сидор Фомин.— Поленом бы вас за такие дела.

Заплатил я мужику, утешая себя тем, что за всякую науку платят.

Крестьянин страшный рутинер. Много надо с ним соли съесть, пока вы убедите его в чем-нибудь. Пусть будут ваши доводы ясны, как день, пусть он с вами совершенно согласится и пусть даже сделает тут же какой-нибудь сознательный вывод из сказанного вами, не верьте ничему. Пройдет некоторое время, и ваши внушения, как намокшее дерево, бесследно потонули в его голове. И наоборот: все то, от чего он с

виду так легко, кажется, отказывается, очень быстро снова выплывает на поверхность, как пузырь, который до тех пор будет под водой, пока ваша рука тянет его вниз,— пустили, и он снова наверху. Я не хочу сказать, что нельзя убедить в конце концов крестьян в истине,— можно; но это надо доказать ему не одними только словами, а и делом, многолетним опытом.

Пристал я весной к одному мужику, Петру Белякову, пахавшему свой загон:

— Почему с осени не вспахал?

— По нашим местам, сударь, осенняя пашня не годится.

— Почему не годится?

— Сырости мало.

— По-твоему, на моей пашне сырости меньше, чем у тебя?

— Как можно, много меньше.

Рассердился я, взял его лошадь за повод, завел в свой начинавший всходить посев и приказал ему пахать.

— Да что же посев-то гадить?

— Ничего,— отвечал я,— не посев дорог, а правда дорога.

Запустил Петр соху в мой посев и достал не сырую землю, какой была его, а чистую грязь.

Петр ничего не сказал, только тряхнул головой и повел свою лошадь с моего загона. Чрез некоторое время зашел с крестьянами разговор об осенней пашне.

— Не годится,— заявил Петр, тряхнув головой и угрюмо уставившись в землю.

— Почему не годится?

— Сырости мало.

— А ты забыл, как грязь достал в моей пашне?

— Ну так что ж? Год на год не приходится.

— Ну так я теперь каждый год буду заставлять тебя пробовать мою осеннюю пашню,— рассердился я.

И действительно на другой год после этого спора загнал я его на свою пашню и заставил пробовать.

— Ну что, и в этом году сырое?

— И в этом сырое,— отвечал, улыбаясь, Петр.

— Вот как лет десять подряд заставлю я тебя пробовать сырость моей пашни, так небось и детям закажешь, что осенняя пашня сырее.

V

СОСЕДИ

Белов, Синицын, Леруа и Чеботаев.— Заглазное хозяйство купцов и дворян.— Соседние деревни — Успенка и Садки

Для полноты очерка считаю необходимым коснуться окружающих меня землевладельцев. Одним из ближайших моих соседей был Белов. В момент моего знакомства с ним ему было пятьдесят три года. Около пятнадцати лет тому назад он приехал в свое имение и начал энергично хозяйничать: осушил большое болото, превратил его в пахотное поле, засеял льном, потом коноплей, завел систему и порядок в вырубке леса, выделывал из него столярный материал — доски, фанерки и прочее, устроил очень остроумную мельницу.

Но все эти улучшения в конце концов расстроили его дела. В одном недостаток опыта и знания, в другом отсутствие сбыта, в третьем отсутствие поддержки, кредита привели его почти к безвыходному положению. Для того чтобы существовать, необходимо было отрешиться от всех занятий и нововведений. Каждая копейка была на счету, и требовалась крайняя осмотрительность в расходовании ее, под страхом очутиться на улице без всяких средств. Выбора не было — и Белов решил побороть себя. В свое время, говорят, это был живой, энергичный человек. Все это давно прошло. Теперь он производит подавляющее впечатление — заживо погребенного. Он почти не выходит из своего кабинета. Временами он точно просыпается, на мгновение увлекается, но сейчас же спохватывается и испуганно спешит замкнуться в себе. Отношение его к окружающему миру мрачное и безотрадное. На мужика он смотрит как на страшного, непонятного зверя, от которого можно всего ждать. Будущее рисуется ему так безотрадно, что он об од-

ном только просит бога, чтобы ему не пришлось дожить до того, что будет. Он холостяк и, говорят, пьет.

Другой наш сосед, Синицын, был тоже старый холостяк. Этот, несмотря на свои семьдесят пять лет, не потерял веры ни в себя, ни в жизнь. Он до сих пор продолжал красить усы и волосы, продолжал изысканно любезничать с дамами, хотя очень часто уже не замечал беспорядка в своем костюме. Он гордился своим происхождением, воспитанием и университетским образованием. В молодости он служил в Петербурге, но в сороковых годах, после смерти отца, приехал в свое имение и с тех пор почти безвыездно жил в деревне. Человек он вздорный, несимпатичный, немножко тронутый, но вызывает невольное сочувствие своим полным одиночеством и беззащитностью. В свое время, говорят, это была страшная сила и злой крепостник. С освобождением вся его деревня разбежалась, и живет он теперь совершенно один наподобие щедринского дикого помещика. Бывать у него — пытка. Он весь пропитан всевозможными приметами и предрассудками. Как вошли, как сели, залаяли собаки при вашем появлении,— все это имеет то или другое значение как для определения вашей личности, так и того, насколько вы полезный или вредный человек.

За лакея у него собственный побочный сын, о чем он, не стесняясь, говорит. Подают грязно, неопрятно, дотронуться противно. Облизать ложку с вареньем и сунуть ее назад в банку— это цветочки в сравнении с остальным.

Трудно верится, что в свое время это был изысканный франт. С первых же слов он начинает бесконечный рассказ о своих врагах, о тайных, подпольных кознях, которые ему строят все и вся. Оказывается, что все его знакомые, все, хоть раз его видевшие, все, имевшие какое-нибудь когда-либо к нему отношение,— все составляют одну сплоченную банду, имеющую целью отнять у него не только его имение, но и самую жизнь.

— Сына моего, вот этого, что подавал обед, и то совратили. Три месяца назад прогнал мать его,— отравить меня хотела. Она кухаркой служила. Подлая

женщина чего-то такого подсыпала в суп, что я три дня был при смерти. Зову сына, говорю: «Твоя мать отравила меня». Негодяй отвечает: «Вы с ума сошли».— «А! неблагодарный щенок! Вон с твоею подлою матерью, чтобы духу вашего мерзкого не было!» Ушли. Оставили меня одного — больного, умирающего. Посылаю за доктором, становым, заявляю об отравлении, показываю суп, требую протокола. Пошли в другую комнату, просидели часа два, выходят назад; осмотрел меня доктор и объявляет, что в супе нет отравы и болезнь будто бы произошла от объедения. Какая наглость! Я не вытерпел, я прямо сказал им: «А, голубчики, и вы тоже? Хорошо, господа подпольные герои, я найду на вас расправу, а теперь вон!»

Синицын сделал театральный жест рукой, указывая на дверь.

Внимательно взглянув на меня и, видимо, удовлетворившись произведенным впечатлением, он хлебнул чаю и упавшим голосом продолжал:

— Пишу губернатору. Недели две — никакого ответа. Что делать? Решаюсь писать министру и уже все, все изложил, никого не пожалел, но и без пристрастия сущую правду как перед господом моим богом. Закончил прошение так: «Хотел бы я надеяться, ваше высокопревосходительство, что хоть теперь будет услышан мой справедливый вопль, но боюсь русской пословицы: «жалует царь, да не милует псарь». Сильно сказано? — обратился он ко мне.

— Очень сильно,— ответил я.

Синицын помолчал и продолжал гробовым голосом:

— Две недели тому назад получаю свое прошение через пристава распечатанное, с предложением дать подписку, что впредь не буду писать таких прошений. Вся кровь прилила мне в голову от этого нового оскорбления. «Вон!» — закричал я не своим голосом. Этот нахал отвечает: «Я уйду, но извольте подписаться, так как иначе вам предстоит удаление из губернии». Что оставалось делать? Я взял перо и написал: «Покоряюсь силе и даю подписку».

Он замолчал. У меня тоже не было охоты говорить с этим сумасшедшим, но жалким стариком.

— Хотите посмотреть мой сад?

Я нехотя согласился. Я слышал уже об этом саде; слышал, каких нечеловеческих усилий стоило бывшим его крепостным натаскать на почти неприступный скалистый косогор годной земли и устроить этот Семирамидин сад. Слышал о гротах, где купались некогда нимфы — его бывшие крепостные девушки,— он тут же сидел и любовался. От времени сад опустел, и мало-помалу косогор стал принимать свой прежний неприступный вид. Облезшие Венеры уныло торчали здесь и там вдоль дорожек, круто спускающихся к реке; полуразрушенные гроты нагоняли тоску и отвращение.

Мы возвращались назад. Синицын с страшным трудом взбирался на гору, задыхаясь, хватаясь за грудь и останавливаясь на каждом шагу.

— Я никогда не хожу в этот проклятый сад и только для вас...

Я смотрел на него с сожалением и думал: «Что если бы в тот момент, когда он устраивал свой сад, отодвинулась бы завеса будущего и он увидел бы себя теперешнего, проклинающего то, что устраивал для своего наслаждения?»

Да, если справедливы те рассказы, которые сохранились о Синицыне, то надо сознаться, что жизнь умеет мстить некоторым, обратив против них их же оружие.

Такого ада, такого ежеминутного унижения, какое испытывал он от всех тех, которые когда-то трепетали перед ним, трудно себе и представить.

Бегавший мальчишкой в его дворне Гришка,— теперь писарь волостного правления,— считает своим долгом все получаемые Синицыным газеты разворачивать, потом снова складывать только потому, что Синицын этого терпеть не может и, получив такую газету, будет рвать и метать.

Старшина, зная, что Синицыну это нож в сердце, умышленно игнорирует его титулы.

Староста, на вызов составить протокол о помятии травы, является на третий день, когда следов помятия никаких не остается, да и не сам еще, а присылает кандидата.

Встречный обоз на грозный крик Синицына своротить в сторону хохочет только, без церемонии берет

его лошадь под уздцы и затискивает как можно глубже в снег. Если Синицын протестует и ругается,— а он всегда протестует и ругается,— они отхлещут его кнутом, оставив несчастного, бессильного старика одного выбиваться, как знает, из глубокого снега.

И, несмотря на все это, Синицын не падает духом и ни на йоту не отступает от своих требований. Время идет и потихоньку делает свое дело: его враги умирают, выходят в отставку, переводятся. Старик приписывает все это себе. По поводу каждого такого перемещения он многозначительно говорит:

— Да, в конце концов правда всегда восторжествует. Сильна русская земля своею правдой, своим царем и своим богом.

Если настоящее его невыносимо, зато будущее рисуется ему безоблачным. Он знает, что господь его бережет для чего-то чудного и высокого. Пережить все то, что пережил он в свою долгую безотрадную жизнь, давно уже полную невыносимых нравственных и физических лишений, обыкновенный человек не может, и только ему, избраннику своему, дает господь силу для этого.

У него давно никто не берет ни земли, ни лесу, потому что с ним нельзя иметь дела, и как он перебивается при заложенном имении, одному богу известно.

Когда мы возвратились в комнаты, он стал жаловаться на свои материальные затруднения, на предстоящий платеж в банк.

Я попрекнул его тем, что он не извлекает доходов с имения, и шутя назвал его божьим сторожем.

Он пытливо заглянул мне в глаза и спросил:

— Вы хотите сказать, что я как собака на сене? — И, помолчав мгновение, он грустно докончил: — Зло, но справедливо.

На прощанье я предложил ему деньги для взноса в банк.

— Благодарю,— отвечал он.— Я не могу взять у вас деньги, потому что мне нечем вам отдать.

Предприимчивый и изворотливый Леруа жил от нас в двенадцати верстах. Имение было детское, а винокуренный завод его. Леруа или де-Леруа «дит

Бурбон»[1], как называл он себя в торжественных случаях, был человек лет пятидесяти пяти. В молодости, когда он был блестящим гусаром, адъютантом своего отца, который занимал в армии видный пост, он женился на богатой помещице здешних мест. Прокутив свое состояние, часть состояния жены, похоронив первую жену, оставившую ему четверых детей, он сошелся с одной актрисой, с которою прижил еще четверых детей, жил некоторое время в городе и, наконец, лет пять тому назад окончательно с двумя своими семьями переехал в деревню.

Дела его из года в год шли все хуже. Он давно был в руках известного ростовщика Семенова, а по сложившемуся мнению попасть в руки Семенова было равносильно гибели.

Сам Леруа и семья его вели невозможный образ жизни. Когда вы к ним ни приезжайте, вы непременно застанете одних членов семьи спящими, других только проснувшимися, пьющими свой утренний чай, третьих обедающими и всех бодрствующих обязательно за книгами, преимущественно за самыми забористыми романами. Разговаривают с вами — книга в руках, садятся обедать — развернутая книга, опершаяся о графин, стоит перед глазами, руки работают, подносят ко рту ложку и хлеб, рот жует, а глаза жадно пробегают страницы. Оторвать от чтения — это значит сделать большую неприятность читающему. Если отрывает кто-нибудь свой, читающий без церемонии крикнет:

— Дурак (или дура), не мешай!

Если чужой помешает, на губах появится на мгновение улыбка, вежливый, но лаконический ответ, и снова чтение.

Семья от первой жены состояла из трех сыновей и барышни-дочери. Старшему было лет двадцать пять, среднему — двадцать и младшему — лет шестнадцать. Все они в свое время были в гимназиях, все по разным непредвиденным обстоятельствам должны были, не кончив, выйти из заведения и возвратиться к отцу, у которого и проживали, ничего не делая. Каждую осень с весны и весной с осени они собира-

---

[1] из Бурбонов *(фр.)*.

лись ехать в гвардию, где вследствии протекции, какую они имели, их ожидала блестящая будущность. Так говорил по крайней мере сам Леруа. Относительно себя Леруа, запинаясь, рассказал мне в первый же визит, что дела его пошатнулись было, но что в этом году он будет иметь...

Леруа, собираясь произнести цифру, слегка запнулся, поднял глаза кверху, подумал несколько мгновений и, наконец, торжественно объявил: «Сорок тысяч рублей чистого дохода».

— Вы не верите! — любезно предупредил он меня.— Я сейчас вам это докажу, как дважды два...

— Стеариновая свечка,— объявил неожиданно углубленный в чтение один из сыновей.

— Дурак! — парировал его старый Леруа.

— Ха, ха, ха!..— залился в ответ веселый юноша и исчез из комнаты.

Леруа некоторое время стоял озадаченный, но потом с улыбкой объяснил мне, что свобода и независимость входят в программу его воспитания.

Возвращаясь к прерванному разговору, Леруа обязательно просил меня взять карандаш; отыскал чистый, не исписанный еще цифрами кусок бумаги, подложил его мне под руку и попросил меня записывать следующие цифры:

— Двести десятин картофеля и по две тысячи пудов...

Я знал хорошо, что картофеля посеяно не 200, а 20 десятин, что десятина даст, дай бог, 1000 пудов, но спорить было бесполезно. В конце концов, когда подсчитали итоги, до 40 тысяч было очень далеко.

Леруа лукаво посмотрел на меня.

— Вы думаете, что до сорока тысяч еще далеко? Вы думаете, откуда он получит остальные восемнадцать тысяч рублей?

Леруа дал себе время насладиться моим смущением и после, торжественно тыкая себя пальцем в лоб, сказал:

— Вот откуда, милостивый государь, де-Леруа «дит Бурбон» получит остальные восемнадцать тысяч рублей.

Еще несколько томительных мгновений молчания и, наконец, объяснение загадки.

Ларчик просто открывался...

Действительно просто. Де-Леруа «дит Бурбон» просто-напросто придумал ловкий способ надувать акцизных и гнать неоплаченный спирт.

Он кончил и ждет одобрения. Я смущен и не знаю, что сказать.

Леруа спешит ко мне на выручку.

— Ловко? Гениально придумано?

Говорить ему, что это мошенничество, было по меньшей мере бесполезно.

— Ну, а если вас поймают?

— Никогда!

Прощаясь, Леруа просил меня сделать ему маленькое одолжение, поставить бланк на двух векселях, по триста рублей каждый.

Я смутился, поставил, за что впоследствии и заплатил шестьсот рублей, которые никогда, конечно, не получил обратно.

Провожая меня к экипажу, он объявил мне свою милость.

— Всю вашу рожь прямо ко мне на завод везите — гривенник дороже против базарной цены и argent comptant [1].

Поистине царская милость!

Я, конечно, поблагодарил, но ни одного фунта ржи не доставил.

Приехав ко мне, он все раскритиковал.

— Разве это ваше дело хлеб сеять? Таким делом может всякий дурак заниматься. С вашими знаниями, с вашею энергией завод нужно открывать: сахарный, винокуренный, бумажный, картофельный, наконец.

Мое отношение к крестьянам он подверг строгому осуждению.

— Не наше, батюшка, дворянское это дело якшаться с хамами.

Я, конечно, не стал оправдываться.

— Надежда Валериевна, уговорите хоть вы вашего мужа бросить это якшанье.

— Я сама всею душой сочувствую ему в этом,— улыбнулась жена.

Леруа только руками развел.

---

[1] наличные деньги *(фр.)*.

— Я вам скажу только одно: я знал и вашего, и мужа вашего отцов; если бы они увидели, что делают их детки, они в гробу бы перевернулись.

Мы рассмеялись и выпроводили кое-как этого бестолкового, погубившего себя и семью свою человека.

Вот и все наши соседи, жившие в имениях. Остальные или не показывались вовсе в свои поместья, или появлялись на день, на два, с тем, чтобы снова исчезнуть на год. В таких имениях сидел управляющий и занимался раздачей земель.

То же было на купеческих землях. Разница между купеческими и дворянскими хозяйствами состояла в том, что в дворянских деревнях постройки, сады, лес сохранялись, а у купцов вырубались наголо. В дворянских имениях велась раздача земли по известной установленной системе, а у купцов земля раздавалась как попало и где попало.

Купец, приобретавший дворянское имение, был желанный гость для крестьян на первых порах, но когда вследствие хищнической системы лес исчезал, а земля истощалась, крестьянам, если поблизости не было свободной земли, приходилось очень жутко: истощенная земля не окупала расходов, а цена на землю, раз установленная, держалась твердо.

Плохо им было и с другой стороны на купеческих землях. Пала лошадь, корова, сгорели, свадьбу затеяли — негде денег достать, кроме как у своего же брата мужика, а этот даром не даст. Как посчитать все, что придется отдать за занятые деньги, так и выйдут все сто процентов.

Из дальних соседей я попрошу позволения у читателя остановиться, как на представляющем из себя нечто выдающееся, на помещике Чеботаеве. Это был человек лет тридцати пяти, женатый, имевший уже шесть человек детей. Имение у него было большое, хорошо устроенное, старинное, и хозяйство велось по издавна заведенному порядку. Нововведений почти никаких не допускалось. Под пашню поступала отдыхавшая не менее пятнадцати лет земля. Часть земли засевалась Чеботаевым, часть отдавалась окрестным крестьянам. Земля его, как новая и сильная, высоко ценилась и бралась нарасхват мужиками. Все остальное имение находилось под сенокосом. Ввиду обилия

сенокосов, луга продавались крестьянам соседних деревень сравнительно по весьма умеренной цене. Для них это было очень удобно и давало возможность держать много скота.

Обладая семью тысячами десятин земли, Чеботаев получал не более десяти тысяч рублей дохода. Это сравнительно весьма небольшой доход, но Чеботаев большего не желал, говоря, что с него и этого довольно. Терпение, осторожность, выдержка, нелюбовь к риску были отличительными качествами Чеботаева.

— К имению нужно относиться, как к банку. В частном вы можете получить на свой капитал десять процентов, но с риском потерять этот капитал, в государственном же вам дадут три-четыре процента, но без риска.

— Но тогда какой же интерес жить в имении?

— Больше негде жить. В городе для меня дела нет. Служить? — я к этому не был подготовлен; жить же в городе без дела слишком скучно, поневоле и живешь в деревне.

Он был против моих, как он называл, «заигрываний» с мужиками.

— Между мной и мужиком общего ничего нет. Интересы наши диаметрально противоположны; какое же здесь возможно сближение? И нечего и их и себя обманывать, нечего лезть к ним с неосуществимыми иллюзиями, потому что из этого не может выйти ничего путного. Отношения должны быть чисто деловые: вам нужна работа, ему земля; дали вы ему землю и не обманули,— вот и всем отношениям конец. Хотите помогать им — помогайте, но так, чтобы правая рука не знала, что творит левая в том смысле, чтобы ваша помощь не была бы поводом для него в будущем установить уже обязательную с вашей стороны помощь. Рассчитывать на их признательность, на искренность отношений— крупная ошибка. В силу вещей между нами ничего нет общего; с молоком матери всасывают они убеждение, что вы — враг его, что земля его, что вы дармоед и паразит. Вашими заигрываниями вы еще более его в том убедите. Влияния на него никакого вы иметь не можете. Проживете с ним сто лет — и весь ваш столетний авторитет подорвет любой пришлый солдат самою нелепою сказкой.

Так-то, батюшка мой! Вот школу, больницу, хорошего священника им дайте,— это им нужно,— но не стройте здания на песце, да не обрушится оно и не погубит строителей.

По поводу моего хозяйства мнение Чеботаева было такое:

— «Могий вместити да вместит». Но, грешный человек, я сильно сомневаюсь в успехе. Я рад вам, как милому соседу, с которым можно отвести душу, но если б вы спросили моего искреннего совета, я сказал бы вам: «Бросьте все и поезжайте служить». Мыслимо ли при теперешних условиях что-нибудь сделать? Ведь под вами нет никакой почвы, вы один, без поддержки, а начинать новое дело без опыта предшественников, без собственного даже опыта, без надлежащего знания окружающих условий природы, при отсутствии всякой научной агрономической деятельности в крае,— одним словом, при черт знает каких условиях,— по-моему, значит идти на верную гибель... Все, конечно, может быть; я не знаю вас, ваших сил, повторяю: «Могий вместити да вместит», но для меня была бы непосильна такая задача. Если я убедил вас, бросайте все и поезжайте служить. Не убедил— забудьте мои слова, и дай бог вам всего лучшего.

Из соседей-крестьян я остановлюсь на двух деревнях — Садки и Успенка.

Крестьяне деревни Садки вышли на полный надел. Материальное благосостояние их, в сравнении с князевцами, процветало, несмотря на то, что поля их сравнительно были хуже князевских. Общий тон деревни поражал своею порядочностью, сплоченностью и единством действий. Они сами сознавали свое преимущество перед другими деревнями.

— Наше село дружное, работящее. Мы не любим скандальничать.

Свою порядочность они объясняли тем, что господа у них исстари были хорошие и жалели мужиков. Они принадлежали роду графов Зубовых. В деревне было две партии: богатые и бедные. Душевым наделом распоряжались бедняки, и все устраивалось в интересах бедных. Зато богатые, образовав товарищество из сорока человека, держали в аренде, на шесть

лет, соседнюю землю и вели там независимое от остальной деревни хозяйство. Дела их шли прекрасно. Земля без всяких особенных улучшений выхаживалась отлично, и если не было урожаев вроде немецких, то не было урожаев вроде князевских. Во всяком случае, на арендованных богатыми землях урожаи были несравненно выше, чем на душевых наделах.

— Как же сравнить! — говорили садковские зажиточные крестьяне.— Разве мир может сравниться с нами? У нас человек к человеку подобран, у нас сила берет, у нас сбруя, снасти, лошади— ты гляди что? — а у них немощь одна. У нас, один на другого глядя, завидуют друг дружке: один выехал пахать — глядь, и все тут, никому не охота отстать, быть хуже другого, а у них? Пока дележка будет идти, время-то сева уйдет, а у нас земля раз на все шесть лет деленная. На душевой земле у нас вдвое хуже против покупной родится.

— А зачем вы не назмите вашу товарищескую землю?

— Не рука. Своя была бы, стали бы назмить, а так начнем назмить землю, выхаживать, а придет новый срок, хозяин на землю-то прибавит.

— Вот, говорят, крестьянский банк устроят.

— Вот тогда ино дело будет.

— Только там обществом надо будем покупать.

— Обществом не придется: мир велик человек — не сообразишь. Я, к примеру, богат, он — бедный; меня берет сила, его нет, он будет гоношить по-своему, я по-своему. Я в силах платить, он не может,— грех и выйдет один... Нет, обществом не сообразишься.

— А, может быть, и без банка землю отберут от господ?

— Вот уже тридцать лет отбирают, а она все господская. Пожалуй, надейся, коли не надоело.

В селе существует какая-то секта. Члены ее посещают церковь и вообще ничем не отличаются от православных, кроме того, разве, что носят белые рубахи. По субботам они собираются на моление, по очереди, друг у друга. Что там происходит, никто не знает, но говорят, что в конце моления тушатся свечи и начинается оргия. Сектанты энергично протестуют

против этого. К секте принадлежат исключительно богатые. Возникла эта секта всего несколько лет тому назад. Члены секты в высшей степени трудолюбивы, деятельны, полны интереса к жизни. В этом отношении они составляют полную противоположность с остальными крестьянами, несомненно принадлежащими к православной церкви.

Село Успенка, громадное по размерам, было заселено в начале нынешнего столетия гвардейцами. Природные условия очень выгодные. Крестьяне с своих оброчных статей получают столько, что им хватает на все повинности. Сверх этого они имеют надел пятнадцать десятин на душу. Несмотря на все это, крестьяне живут так же плохо, как и князевцы. В миру у них продажность идет страшная. «Коштаны» процветают. Поле деятельности для них при сдаче разных угодий обширное. Все это люди с громадными голосами, нахалы, без правды и совести. Без подкупа их ни одно дело на сходке не поделается. С помощью их, напротив, всю деревню можно водить за нос. Рыбная ловля, мельница, луга — все это идет при их посредстве за бесценок.

VI

Выполнение программы.— Заботы об удобрении.— Мокрый год.— Опыт

Задавшись целью поставить крестьян настолько на ноги, чтоб они могли начать правильное хозяйство, я вынужден был на первых порах открыть им значительный кредит. У одних совсем не было лошадей, у других, по количеству работников, было их мало. Я истратил до 1500 рублей. Эти деньги были мною рассрочены на несколько лет под разные зимние работы. Крестьяне энергично взялись за дело. Мысль, что они снова станут взаправдашними крестьянами, что у них снова заведутся амбары (большинство за ненадобностью их продало), в сусеках которых не мыши будут бегать, а хлеб будет лежать, что на гумнах снова будут красоваться аккуратно сложенные клади хлеба, веселила крестьян и придавала им энергии.

Прошел год. Деревня значительно преобразилась, и мужики весело поглядывали на свои аккуратные или совсем новые, или подновленные избы.

Веселило крестьян и другое. Наступила осень. Жнитво почти заканчивалось. Урожай был прекрасный вообще, но у крестьян и у меня выдавался из всей округи. Правда, крестьяне более склонны были видеть в этом милость к ним бога, но вместе с тем не могли не признать, что исполнение моих советов принесло им пользу. Самые завзятые противники моих нововведений и те соглашались, что «вреды нет».

Для начала и то хорошо было. Конечно, не без мелких недоразумений все шло. Приходилось некоторых неисправных плательщиков понуждать. С навозом на первых порах было много «облыжности»: вывезет за село, оглянется — не видит никто — и свалит в речку, вместо того чтобы везти на поле. Это, конечно, не часто случалось, потому что и я, и мои полесовщики зорко следили, чтобы навоз вывозился в поле. Этот надзор многих очень обижал.

— Что уж это такое? — говорили крестьяне.— Сказано, станем возить, ну и повезем.

Под конец зимы, впрочем, так втянулись, что почти не было случаев вываливания навоза куда-нибудь в овраг.

По субботам, когда происходил расчет за всякие работы, какой-нибудь мужик непременно добродушно заявлял:

— Я нынешнею неделей твоей милости тридцать возов вывез. Вот как!

— Почему же моей милости? — спрашиваю я.— Для себя, чать, возишь.

— Твоя земля.

— До времени моя, а соберетесь с силой, свой надел откупите у меня, вот и будет ваша.

— Где уж нам!

Несмотря на такой ответ, крестьяне понемногу заинтересовывались возможностью покупки и потихоньку расспрашивали об условиях продажи:

— По своей цене продам: я заплатил по тридцать рублей — и вам так отдам.

— Что ж, это хорошо.

— Цена не обидная.

— А деньги сразу?

— Где ж вам сразу отдать,— отвечал я,— конечно, в рассрочку.

— А на много годов?

— Лет на десять.

— Это хорошо. А процент большой положишь?

— Пять копеек с рубля.

— Что ж, это не обидно.

Наступало молчание.

— Да, не даст ли господь,— говорил кто-нибудь раздумчиво,— и нам счастьица. Есть же оно у людей.

— То-то бы молились за тебя богу.

— И сейчас молимся,— ответит кто-нибудь,— спасибо ему есть за что сказать.

— Всякий и всякий спасибо скажет.

— Со стороны люди глядят — не нарадуются. Приедешь на базар — странние, и те говорят: «Счастье вам господь послал, а не барина,— молиться на него надо».

Когда прошла весна и наступило время запашки навоза, дело тоже не обошлось без препирательств.

Первоначально я настаивал, чтобы навоз свозился в кучи, так как в таком виде он лучше перегорает, семена сорных трав перегнивают, а затем уже из куч разваживался по десятине. Так я и делал. Крестьяне поголовно восстали.

— Этак ты нас вовсе замаешь. Тогда только с одним навозом и возись, а остальное дело? Нет, так не гоже.

Пришлось уступить. Главное было сделано: навоз возили, а остальное постепенно само собой сделается.

Когда началась запашка навоза, крестьяне на первых порах отнеслись к этому делу очень небрежно.

Я во время запашки только и ездил, что к ним да на свое поле. Подъедешь к какому-нибудь, вроде Федора Елесина, и начнешь:

— Ну, как же тебе не стыдно! Не пожалел навозить навоз, самую трудную работу сделал, немножко уж осталось, а не хочешь. Посмотри у меня: поле все на клетки разбито, на каждую клетку воз, разбросан по всей клетке ровно, аккуратно. А у тебя что? Как куча лежит, так и лежит; доехал до нее сохой, тогда только остановишь лощадь, разбросаешь

как-нибудь охапками навоз на два, на три шага кругом, чтобы только лошадь прошла, и поехал дальше. Разве так можно? И выйдет из этого то, что будет у тебя хлеб куличами,— где больно хорош, где плох; где больно поспел, где зеленый еще; зеленого дожидаешься, поспевший осыпается,— половину хлеба только и соберешь. Невестка твоя сидит же дома,— чтобы тебе взять ее с собой? Пока ты пашешь, она бы вилами и раскинула навоз.

— А за детьми смотреть, а есть кто будет варить?

— Ну, племянницу возьми.

— Племянница у тебя же на работе.

— Зачем же ты пускаешь ее ко мне, когда своя работа есть?

— А есть что будем?

— Ну, сам, наконец...

— Да, так и буду время вести, а за полку, за сенокос когда примусь?

— Кто тут виноват, что раньше не начал.

— Коли же раньше? Кончил яровое, лес стал рубить, лубки надрал, намочил. Потом навозил маненько лесу да вот и стал парить.

— Да много ли времени надо, чтобы раскидать твой навоз?

— Тут немного, там немного, а поглядишь — оно и все. А пища-то — водица да хлебец. Не больно-то тут наворотишься.

— Просто у тебя упрямство одно. Времени всего-то два-три часа уйдет у тебя, а забываешь то, что за эти два часа двадцать рублей лишних получишь, как уродит.

— Даст господь, так уродит, а не даст, хоть насквозь ее пропаши,— ничего не будет. Мы-то своим умом и так и сяк, а господь все своею милостью ведет.

— Ну, это все очень хорошо, а все ж таки прошу тебя, раскидай навоз как следует. Ну, для меня сделай.

У Федора суровое лицо разглаживается, он улыбается, отпрукивает лошадь и лениво идет к шабру за вилами.

К другому, вроде известного лентяя Трофима Васюшина, подъедешь, уже на другой лад говоришь:

— У меня с тобой короткий, Трофим, разговор будет: или делай как люди, или только ты меня и видел.

— Да ведь я, кажись, не хуже людей.

— Не хуже, а это что?

И начну ему отпевать. Кончу и опять:

— Так и запиши: не будешь делать как надо, только и видел меня.

Трофим понимает мой намек,— он хочет звать меня в крестные, когда хозяйка, бог даст, родит. Широкая улыбка разливается по его гладкому глуповатому лицу, доходит до самых ушей, и он добродушно-снисходительно говорит:

— Ну, уж ладно.

Еду дальше.

— Поглубже, Петр, поглубже.

Петр рад отдохнуть. Он не спеша останавливает лошадь, снимает шапку, говорит сначала: «Здравствуй, батюшка» — и тогда уж отвечает:

— Сила не берет. И рад бы глубже взять, да лошаденка не терпит. Одна, сердечная. Зиму всю на соломке, весну всю в пашне, потом лес, без передышки опять за работу — все животы подвело. Видим мы все, сударь, что ты шибко об нас заботишься, да сила нас не берет. Видно, не мимо бают старые люди: «Сам плох — не поможет и бог».

— Ты что ж это панихиду по живом-то начал? Бога гневить не за что,— идет все, слава богу, хорошо, а сразу тоже нельзя.

— Конечно, нельзя.

— Потихонечку и пойдешь.

— Дай бог, дай бог.

Кончилась пашня, наступил сенокос; за сенокосом пошло жнитво. И оно почти уж закончилось.

На днях и я и мужики собрались начинать молотьбу ржи для озимого посева.

Было воскресенье.

Окончив обед, жена, Синицын и я вышли на террасу подышать свежим воздухом. Стоял прекрасный полулетний, полуосенний день. Небо уже приняло свой однообразный ярко-синий осенний цвет. Только около солнца, собиравшегося уже садиться, небо переливалось каким-то особым нежным пепельно-голу-

бым, изумрудно-зеленым, ярко-оранжевым цветом. В прозрачном воздухе рельефно рисовались на горизонте: лес, поля, с обильно наставленными на них копнами хлеба; пруд, спокойный, сверкающий, манящий своею прохладой; село с протянувшеюся длинною улицей, на которой теперь, в живописных группах, в сарафанах, красных и синих рубахах толпилась молодежь деревни; ближе — сад наш, оканчивающийся речкой, вдоль которой старые седые ветлы лениво шевелили своими вершинами. В саду начиналась вечерняя поливка цветов, и в свежеющем воздухе далеко разносился нежный аромат их.

Ближе к террасе на гигантских шагах бегали деревенские дети — ученики жены, молодые парни, девушки. Одни бегали, другие ждали очереди и грызли подсолнухи. Скрипнула калитка сада, и один за другим князевцы потянулись к террасе.

— Здравствуйте, господа,— встретил я их, спускаясь к ним.— Надевайте шапки.

— Не холодно, и так постоим.

— Что скажете?

— Да мы все с докукой к тебе,— начал Исаев,— идем да и калякаем: баим, к своему брату мужику идешь за нуждой — и то не знаешь как, с чего начать, а к тебе — так без страху и лезем за всяким делом.

— Чего же вам?

— Да вот насчет жнивов хотим просить вашу милость. Не допустишь ли скотинку попасти?

— Так что ж? Ладно.

— А мы бы тебе снопов повозили, когда скричишь.

— Ладно.

— Ну, покорно благодарим.

Наступило молчание. Мужикам, видимо, не охота была уходить.

Я сидел на ступеньках и благодушно смотрел на качающихся. Синицын с верха террасы с любопытством следил за мной и мужиками.

— Вот я баю,— начал опять Исаев,— николи у нас не было, чтобы в полусапожках да сарафанах гуляли девки. А сейчас? — праздник придет,— как в большом селе, песни, пляски, семечки грызут, кафтанья, сарафаны. Все ты нас жалеешь.

— Ты гляди,—заговорил горячо Петр Беляков,— ребятишки в саду, как к себе пришли — ни страха, ни робости, словно к отцу с матерью. Бывало, помню, мы маленькими были. И-и! Не то что в сад — через мост чтобы нога не переступала. А, храни бог, в сад залезешь, так из ружья, как в собаку, просом всыпят. Лазай потом на карачках целый месяц.

— Трудно было, батюшка мой,— заговорил Елесин,— чуть что не так, марш на конюшню!

— Ругатель был; иначе, бывало, как: «такой, сякой ты сын» — и не скажет человеку.

Я вспомнил, что Синицын слушает, и поспешил переменить разговор.

— Ну что ж, и за молотьбу скоро приниматься пора?

— Пора, батюшка, пора.

— Славу богу, будет чего,— заметил я.— Можно благодарить бога.

— Как господь совершит,— вставил Елесин.

— Да уж совершил,— ответил я.

— В руки как допустит,— укоризненно пояснил Елесин.

— Ну, уж ты,— рассмеялся я.— Так ведь никогда и порадоваться нельзя. В амбар ссыпешь — и там будет неспокойно.

— Пропадет и там,— проговорил Елесин.

— Когда же, по-твоему, благодарить господа?

— А вот как, бог даст, живы будем, съедим хлебушек-то, тогда и благодарить станем.

— Ну, тогда благодарить поздно, по-моему.

— А по-нашему, теперь рано.

— А по-моему, благодарить бога да радоваться всегда надо, а придет беда, тогда уж и радоваться нечему. Так и радоваться никогда не придется.

— Знамо, гневить бога нечего,— согласился Керов,— посылает милость, видимое дело.

— Еще бы не милость оказал,— отвечал я,— шутка сказать: по сто пятьдесят пудов на десятину уродилось.

— Ну, где уж полтораста, ста не будет,— возразил Исаев.— Разве в таком редком хлебе может быть сто пятьдесят? Погуще маленько посеяли бы, может, и было бы.

— А я говорю сто пятьдесят, а на моей земле двести пятьдесят.

— Не будет,— убежденно мотнул головой Исаев.

— В жизнь не будет,— сказал Ганюшев.— Я вот на что, хоть об заклад пойду, то есть вот разорви меня, коли будет! Отродясь на нашей земле того не бывало, чтобы двести пятьдесят родило.

— Ну что ж,— отвечал я,— давай биться об заклад.

Ганюшев, опешив, уставился на меня.

— Я ставлю тебе полведра водки, если твоя правда, а если моя, ты должен привезти две десятины снопов.

— Да как же мы спорить станем?

— А так и станем. Вот сейчас пойдем на загон, отобьем осьминник и обмолотим на молотилке.

Ганюшев нерешительно смотрел на меня.

— Ну что ж, иди,— сказал я ему,— тебе уж не впервой меня нажигать.

— Не знаю, как...

— Ты же сам предлагал заклад, что не будет двести пятьдесят пудов?

— В жизнь не будет!

— Ну, так иди.

— Идти, что ль? — обратился он к мужикам.

— Знамо, иди!

— Чего не идти?

— Не знаю, как...

— Айда пополам,— вызвался Исаев.

— Иди, иди! чего ты?

— А откуда снопы возить? — спросил Ганюшев.

— Ну, хоть с речки.

— То-то,— сказал Ганюшев.— А ты вот чего: десятину снопов поставь.

— Нет, две.

— Ну, айда! — решился наконец Ганюшев.— Что будет! — проговорил он.

Через час мы уже взвешивали смолоченную рожь; по расчету на десятине получилось двести семьдесят пять пудов.

— Что, Ганюшев, видно, не каждый раз тебе меня накрывать? — спросил я.

Ганюшев утешал себя тем, что и у него, пожалуй, будет сто пятьдесят пудов.

— Ага, стал верить,— рассмеялся я.

Мужики пристали, чтобы я простил Ганюшеву проигранное пари, а им бы выдал на ведро водки.

— Ох уж мне эта водка! — отвечал я.— Вперед вам говорю, господа: с нового года кабак закрою,— либо я, либо кабак.

— Да и нам в нем радости нет,— согласился Елесин,— хоть сейчас.

— Без кабака хуже,— заметил Петр Беляков.— Было у нас — закрыли, так что ж ты думаешь? — в каждой избе кабак открылся, водку пополам с водой мешали; грех такой пошел, что через месяц опять целовальника пустили. Мещанишки мы, сударь: староста наш ничего не может поделать, так и живем, как на бессудной земле (у мещан староста не имеет полицейской власти).

— Я вам буду за старосту и сам досмотрю, чтобы не торговали водкой. Раз, два накрою, посидит в тюрьме — пропадет охота.

— Греха много будет,— заметил Петр.

— Не будет,— отвечал я.

— Кто там жив еще будет,— замял Андрей Михеев,— а теперь бы хорошо пропустить с устатка. Вон твоей милости без малого сотнягу намолотили, по пятаку, и то на ведро наработали.

— Да ведь обидно то, что к моему ведру вы своих три прибавите.

— Ни боже мой! — горячо отозвался Михеев, а за ним и другие.— Вот там выпьем и тем же духом айда спать!

— Так ли?

— Верно.

— Разве Сидора Фомича послать с вами, чтобы досмотрел.

— Что ж, хоть и Сидора Фомича посылай. Коли сказали, так и сделаем.

— Ну, хорошо: я вам дам на ведро, только и вы меня уважьте.

— Мы тебя всегда уважаем.

— Мы рады за тебя не то что... хоть в огонь.

— Выезжайте завтра пахать яровое.

Наступило молчание.

— Больно неколи,— заговорил Исаев.

— Надо ж когда-нибудь пахать,— возразил я.

— А весной чего станем делать?

— А весной пораньше посеете, да и за пар.

— Эх, как ты нас трудишь работой! — сказал Исаев.— Всем ты хорош: и жалеешь, и заботишься, и на водку даешь, только вот работой маешь.

— Для кого же я вас маю? Для вас же.

— Знамо, для нас, только не под силу больно. Бьешься, бьешся, а выйдет ли в дело...

— Выйдет, выйдет, бог даст,— весело перебил я его.

— Все думается, все нам сомнительно...

Угрюмое облачко набежало на лица мужиков.

— Вы вот сомневались и насчет моей ржи, а моя правда вышла,— отвечал я.— Что ж, я враг себе, что ли? Даром меня двадцать пять лет учили, чтоб я не мог разобрать, что худо, что хорошо? Да вы же сами ездили за моими семенами к немцам. Худо разве у них?

— Коли худо,— заговорил, оживляясь, Петр,— у них жнива выше нашего хлеба. Издали я и взаправду подумал, что это хлеб. Гляжу, лошадь прямо в хлеб идет. Я себе думаю: немцы, а лошадь в хлеб пускают,— глядь, это жнива такая.

— Ну, а с чего у них такие хлеба родятся? — спросил я.— Чать, с работы? Земля одна.

Воспоминание о немцах оживило толпу.

— Знамо, вспаши ее раза два, три — все отличится против одноразки.

— Когда не отличится. Ноне я на зябе сеял полбу. Так что ты, братец мой? Отличилась. Рядом хлеб, а на ней другой.

— Знамо, другой.

— Работа много тянет.

— А може, и не даст ли господь и нам свое счастье сыскать,— раздумчиво проговорил Исаев.— Може, и пожалеет он нас за нашу бедность, за маету нашу.

— Бедность наша большая,— вздохнул Григорий Керов.— Темный мы народ, и рад бы как лучше, а не знаешь.

— А научить некому,— сказал я ему в тон.

— То-то некому,— согласился Керов.

— Барин, так барин и есть,— продолжал я тем же тоном.

Керов спохватился и сконфуженно уставился на меня.

— Э-э, как ты нас подводишь,— вступился Егор Исаев.— А ты нас пожалей, а не то чтоб на смех нас подымать.

В голосе Исаева послышалась фамильярная нотка.

Я слегка покосился на него и продолжал смотреть на Керова.

— Да я чего? — отвечал Исаев.— Я ведь не то, чтоб... я ведь того... Ну, прости, коли что неловко сказал,— обратился он уж прямо ко мне.

— Верить надо больше тем, кто вам добра желает,— обратился я к Исаеву.— Не из корысти я к вам приехал. Гнался бы за деньгами, продолжал бы служить и с имения получал бы, да и на службе больше чем с имения заработал бы. Три года я с вами, можно, кажется, убедиться, что я за человек — обманщик, враг ли ваш, или желаю вам добра.

— Знамо, добра желаешь,— согласился Исаев.

— А верите, что желаю добра, так и делайте, как учу. Трудно, да ничего не поделаешь,— бог труды любит. За двадцать пять лет, конечно, вы от правильного труда отвыкли, зато же и впали в нищету. Главное, что от труда никуда не денешься; оттого, что не вовремя его выполнишь, труд все будет такой же, только толк другой выйдет.

Мужики молчали.

— Ну, так что ж, господа, начнете завтра пахать? А уж на водку, так и быть, дам.

Толпа нерешительно молчала. Хотелось и водки и пахать не хотелось.

— Уважить разве? — обратился Исаев к толпе.

— Да чего станешь делать? — сказал Керов.— Видно, выручить надо барина.

— Оно и то сказать,— согласился Петр,— тяни не тяни, а пахать ее все не миновать.

— Знамо не миновать,— согласился Елесин.

Мало-помалу и другие стали склоняться к мысли о необходимости начать пахать.

— Видно, ладно уж,— обратился ко мне Исаев.

— Ну, спасибо,— сказал я,— только уж, старики, не взыщите, я настаивать стану.

— Неужели обманем? — обиделся Петр.— Коли дали согласие, так уж, знамо, станем пахать.

Я дал им на ведро водки и пошел с Синицыным домой.

— Вот вы как с ними,— раздумчиво говорил Синицын.— Что ж, дай бог! Вы больше приспособлены к духу времени, вам и книги в руки. Вот как-то мне господь поможет с своими делами. Хочу ехать в город, денег под вторую закладную искать.

— Охота вам, Дмитрий Иванович, мучить себя,— сказал я.— Вы сами сознаете, что не приспособлены к духу времени, надо соответственно и действовать. На вашем месте я бы посадил надежного приказчика в имение, а сам бы совсем уехал. Ну, хоть к нам переезжайте; устроим мы вас во флигеле, отлично заживете, будете заниматься своим любимым предметом — историей, отдохнете себе. Денег я для уплаты процентов вам дам,— незачем и в город ездить и закладывать.

— Я вас иначе не называю, как своим духовным братом, и верю, что всегда найду в вас поддержку, но...

Кончилось тем, что Синицын наотрез отказался от моего предложения и чем свет уехал в город.

Дворов 15 из 44 вопреки уговору не выехало на другой день пахать. Оставшиеся были отчаянная публика: бедные, беспечные, обленившиеся, для которых все мои нововведения были всегда тяжелою, бесцельною обузой. Нельзя было не согласиться с ними в том отношении, что труд их в сравнении с другими почти не достигал цели: от плохой лошаденки, плохой снасти, самого плохого, ленивого и беспечного получалась и работа плохая, а вследствие этого и урожай значительно хуже других.

Жалобы их выражались так: «Маешься, маешься, работы по горло, а толков никаких. Это бы время, что работаешь без толку на себя, тебе бы хоть поденщиной работать, и то стал бы жить не хуже других. А этак и себе толков нет, и тебе радости мало».

— Не сразу, не сразу,— ободрял я таких.— Прыщ, и тот сначала почешется, а потом уж выскочит, а ты сразу захотел разбогатеть. Может, у меня на поденщине ты и заработал бы больше, да я-то сегодня здесь, а завтра нет меня. А твое дело всегда будет при тебе. Конечно, с непривычки трудно, зато хорошо потом будет.

— Дай-то бог...

С невыехавшими я поступил круто: через час их скотина была выделена из табуна и пригнана в деревню.

Мера подействовала: угрюмые, недовольные, но выехали все.

Между тем погода испортилась, и дожди без перерыва шли день и ночь. Двух дней подряд не выдавалось солнечных. Весь хлеб был обречен на гибель. При таком громадном урожае ожидался год хуже голодного. Пришло время сеять рожь, а семян ни у кого не было,— обмолотить промокшие снопы не представлялось никакой возможности. Все ахали и охали. Мужики служили молебны, а помещики только руками разводили, приговаривая:

— Извольте тут хозяйничать!

У меня были крытые сараи, сушилки, но против молотьбы сырых снопов восставали все,— ничего подобного нигде никогда не было, да и самая молотьба была невозможна: из сырого колоса как выбить зерно? Я совершенно признавал основательность их доводов, но вид залитых водой полей, сознание, что первый ряд снопов в скирдах уже пророс, заставили меня решиться на опыт.

Под проливным дождем, сырые, хоть жми из них воду, снопы были ввезены в сарай.

Елесин, сваливая снопы, ворчал про себя, но так, что я слышал, что я желаю больше бога быть.

— Все гордыня наша. А богу не покориться, кому уж и кориться?

Лил дождь, и завывал ветер, а в сарае было сухо и просторно. Приказчик, ключник и кучка рабочих нехотя, с полным недоверием к успеху дела, стыдясь за меня и мою затею, складывали снопы возле барабана. Кучка возчиков, кончив выгрузку, стояла в стороне с Елесиным во главе. Они смотрели на меня как

на человека, затевающего самое святотатственное дело.

Старый мельник Лифан Иванович, он же главный механик-самоучка, суетился, закрепляя последние винты.

— Ну что, Лифан Иванович, как ты думаешь, пойдет? — спрашиваю я в десятый раз.

— Божья воля, сударь. Примера такого не бывало еще у нас. Может, и пойдет,— сила-то в машине большая.

— Попытаем.

— Попытка не шутка, спрос не беда,— бодро ответил Лифан Иванович.

Лифан Иванович ушел в мельницу. Иван Васильевич взял в горсть колосьев, пожал, и вода закапала на землю. Он покачал головой. Рабочие сочувственно смотрели на его опыт.

— Как угодно, а по-моему, ничего из этого не выйдет,— проговорил он, улыбаясь.

— Выйдет не выйдет,— заслуга не ваша будет. Скажу вам одно, что если бы все так рассуждали, как вы, то люди до сих пор бы руками хлеб молотили.

Наконец в окне мельницы показалась голова Лифана Ивановича.

— Готово. Пущать, что ли?

— С богом,— отвечал я.

— Ну, дай же бог,— сказал Лифан Иванович и, сняв шапку, перекрестился.

Перекрестились и все. Лифан Иванович скрылся. Я встал у барабана. Послышался шум падающей воды и плеск ее по водяному колесу. Передаточное колесо тронулось. Ремень натянулся, и барабан с гулом завертелся. С каждым оборотом гул и быстрота усиливались. Наконец барабан завертелся так, что отдельные зубья слились в одни сплошные полосы, и он стал издавать однообразный, сплошной, ровный гул.

Я пустил первый сноп в барабан, и, подержав его некоторое время, вынул назад. Оставшиеся колосья были пусты. Опыт удался. На другой день молотьба была в полном разгаре. Отчетливо и гулко работал барабан. В нижнем отделении насыпались зерна для посева.

Десятки крестьянских телег ждали очереди, надоедая и приставая ко мне отпустить каждого прежде других. Мои мужики, начавшие было роптать, что я «ошибил» их тем, что отвел время на пашню, повеселели, когда получили заимообразно семена. Я воспользовался этим и выдал им строго по расчету сколько нужно на десятину. К просьбам о прибавке я оставался глух и нем, как рыба. Вся округа всполошилась,— всем нужны были семена, ни у кого их не было, все готовы были брать их на каких бы то ни было условиях, только не за наличные деньги,— денег ни у кого не было. Я выдавал всем или целым обществам, или отдельным товариществам за круговою порукой, с условием возвратить взятое количество пудов в сухом и чистом виде к новому году.

Условия были выгодные и для них и для меня, для них — потому, что пуд ржи дошел до одного рубля вместо сорока копеек, а для меня было выгодно то, что вместо сырого я получу сухой хлеб, что составляло разницу процентов на пятнадцать.

Молотилка работала день и ночь. Окончив молотьбу на семена, я начал молотить хлеб на продажу, высушивая на своих сушилках.

Приехал Чеботаев посмотреть. Он пришел в восторг и горячо поздравил с успехом.

— Поздравляю, поздравляю! — говорил он после лазанья за мной по всем мытарствам моего молотильного заведения.— Маг и волшебник! Отлично, отлично!

— Ну что, служить ехать или хозяйничать?

— Хозяйничать, батюшка, хозяйничать. Вам можно. Я очень рад, что ошибся.

— «Могий вместити да вместит»,— повторил я его любимую фразу.

Мы оба весело рассмеялись.

— Разве может сравниться с этою деятельностью служба? Там вместо меня кандидатов миллион, а здесь я незаменим. Здесь каждый мой день проходит с пользой и толком; каждый день я оставляю видимый след моего существования. Если господь даст мне долгую жизнь, вся она под конец будет у меня как на ладони. Все то, что я сделал, и миллион того, что сидит у меня в голове, скажут больше мне и де-

тям моим, чем разные архивные предания о моей службе.

— С богом, с богом. Теперь вам только к нам в земство.

— Я в земство не пойду. Во-первых, я еще не вполне ознакомился с существующим положением дел, а во-вторых, я не променяю природу на людей. Природа мой враг, но враг честный, великодушный, добросовестный. В случае моей победы этот мой враг первый закричит обо мне, дав мне тройной урожай. А там — люди. А вы знаете, и в церкви молятся: «Избави нас, боже, от клеветы человеческой». Люди за добро, за любовь к ним мстят и грязью марают. Каждого отдельно я люблю, всегда помогу ему, чем могу, но я не люблю масс, стада людского. Я боюсь его,— в прошлом оно воздаст справедливо, но в настоящем сделает всякую гадость и отравит жизнь.

VII

ОТПРАВКА В ГОРОД ХЛЕБА

Организация местной хлебной торговли.— Поездка в город за деньгами.— Разговор с Чеботаевым.— Планы относительно сбыта хлеба.— Русский американец.— Организация отправки хлеба помимо города прямо в Рыбинск.— Зима, весна, неурожайный год.— Рыбинск

Время шло, погода наконец установилась, но большая половина урожая погибла. Благодаря сушилкам я представлял счастливое исключение. Весь почти мой хлеб, высушенный, лежал в амбарах, и я с нетерпением ждал времени, когда погода позволит отправить его в город для продажи, так как в деньгах сильно нуждался. Правда, сушка стоила мне лишних денег, но я с лихвой надеялся наверстать их продажей хлеба в такое время, когда, почти наверное, ни у кого его не было. Как только просохла дорога, я послал для пробы 500 пуд. Партия была продана по 72 коп. Мне обошлась молотьба и сушка по 13 коп. с пуда, извоз 15 коп., земля, пашня, удобрение, жнитво, подвоз снопов, администрация — 13 коп. Итого 41 коп. Пользы получалось 31 коп. на пуд, то

есть до 75%. Долго не думая, я послал сразу партию в 10 тыс. пудов.

Увы, с моим хлебом повторилась обычная история.

Продажа хлеба производится у нас в городе, куда его привозят на лошадях (по железной дороге несмотря на то, что она находилась от меня на расстоянии всего 50 верст, а город в 130 верстах, возить невыгодно: мешки, нагрузка, выгрузка, доставка в городе на базар,— все это значительно превышало стоимость провоза на лошадях).

Вся хлебная торговля сосредоточена в руках 5—6 купцов, которые и покупают его по очереди на базаре, делая так называемую «одну руку». Смотря по надобности, купцы повышают или понижают цены. Мало хлеба на базаре — цена повышена, слух быстро разносится по деревням, и хлеб в изобилии появляется на рынке. Тогда купцы сбавляют цену, зная, что назад хлеб не повезут.

Мой хлеб был единственный на базаре. Проведав, что хлеб одного владельца, купцы, промучив приказчика три дня, заставили его продать весь хлеб по 28 коп.

— Да как же вы смели? — закричал я.

— Помилуйте! Что ж мне было делать? В первый день мне предложили 45 копеек, на второй 35 копеек, а на третий 28 копеек, с угрозой на четвертый дать только 20 копеек. Подводчики ждать не хотят, чуть не за горло хватают, чтобы дал расчет. Ехать назад? Туда да назад лишних 30 копеек выбросишь — опять толков нет. Знаю к тому же, что вы без денег. Ссыпать в городе и ждать время — извозчиков нечем рассчитать. Подумал, подумал и продал.

Выходило так: хлеб, подвезенный в снопах к молотилке, выгоднее было подарить мужикам, так как только молотьба, сушка и извоз окупались. Все остальное: земля, семена, пашня, жнитво, извоз,— пропавшие деньги. В конце концов вместо 7200 рублей я получил 2800 рублей. В переводе на русский язык это значило, что надо было ехать немедля в город занимать денег, так как полученных для расчета не хватало.

По дороге я ночевал у Чеботаева. Когда я ему рассказал, в чем дело, он проговорил:

— Вот тут и хозяйничайте.

— Ведь это черт знает что такое! — волновался я, ходя по богатому кабинету Чеботаева, в то время как хозяин, закинувшись, полулежал на широком, черным сафьяном обитом диване.— Если разбойник на большой дороге меня грабит, у меня есть утешение, что я как-нибудь могу с ним бороться, могу убить его; наконец, если он убьет меня, его могут поймать,— одним словом, тот хоть чем-нибудь рискует, а эти негодяи ничем. Сидят себе на скамеечке, гладят свое жирное брюхо и хохочут нагло: «Как ловко, дескать, барина распотрошили»... Тьфу, гадость какая! И это хлебная торговля в стране исключительно земледельческой,— в стране, которая только и держится своею хлебною торговлей! Точно нарочно весь край отдан в руки пяти-шести негодяев, которые что хотят, то и делают. Ты работаешь, хлопочешь, добиваешься невозможного — для чего? — для того, чтобы набить карманы пяти-шести дармоедам, а самому лечь костьми. У тебя хлеб, ты представитель труда, знания,— эти дармоеды, эти акулы, кроме аппетита, ничем не обладают. Им полный кредит — общественный банк, государственный, тебе — ничего.

— Да, все это так,— соглашался Чеботаев,— а все ж таки, батюшка, вы сами виноваты.

— Чем виноват?

— Тем виноваты, что не в урочное время свой хлеб повезли. Такого факта не могло быть, если бы ваш хлеб продавался в то время, когда все продают. Ну, много, много гривенник потеряли бы, но не сорок копеек. Послали же вы не вовремя в надежде заработать лишнее, так сказать, незаслуженное, шли на риск,— не будьте же в претензии, что вместо заработка получили убыток.

— По-моему, так, как вы, нельзя смотреть на вещи. Гадость, какую со мной проделали несколько негодяев, вы возводите в какую-то теорию и обвиняете меня же. После этого, если меня ограбят на большой дороге, виноват буду, по-вашему, я, потому что ехал по дороге, зная, что на дороге разбойники.

— Надо принимать соответственные меры, а раз вы их не принимаете или не желаете принимать,— некого, кроме себя, винить.

— Какие же меры против них принимать?

— Везите ваш хлеб, когда все везут; поручайте продажу вашего хлебы опытным посредникам.

— А если мне некогда ждать того времени, если мне деньги нужны?

— Ведите ваши дела так, чтобы деньги вам были не нужны, а без этого вам нечего и хозяйничать. У нас нет кредита, поэтому или надо продавать хлеб за бесценок, или кредитоваться у частных лиц, чего от души вам не советую, так как стоит только начать, и вы не оглянетесь, как они оплетут вас всего. Чтобы избежать всего этого, вы, ведя хозяйство, должны вести свои дела в таких рамках, чтобы ваш годовой бюджет заходил год за год, то есть чтобы к тому времени, когда вам нужны деньги и когда вы начнете продавать первый урожай, второй чтобы уже лежал в ваших амбарах.

— Может быть, это и благоразумно, но многие ли могут выполнить вашу программу?

— Прежде других вы, так как, приступая к хозяйству, вы имели оборотный капитал, в четыре раза превосходивший ваш годовой бюджет. Да, наконец, что ж из того, что немногие могут выполнить? Оттого так немного народу и может удержаться в деревне. Все эти обвинения нас, дворян, в том, что мы прокутили наши состояния, в общем, совершенно неверны: все деньги нами оставлены большею частью самым добросовестным образом в имении же, но причина дворянского разорения именно и заключается в этом разбрасывании, в забегании вперед.

— В чем же я разбрасывался? Разве не полезно все, устроенное мною? Вы же сами одобряли.

— Одобрял и одобряю. Полезно, но не необходимо. Устройте все это из доходов — другое дело. Из доходов хоть дворцы стройте, но капитала не трогайте.

— Но возьмите немцев: если б они не затратили по десяти тысяч рублей на свой надел, они никогда не достигли бы того блестящего положения.

— То немцы, а то мы. Немец скажет: «больше нельзя» — и знает, что не пойдет. Немец, если надо, круглый год черный хлеб ест, а вы не будете. Немец

из полученного барыша одной копейки не подарит своему работнику, а вы из будущего, не существующего еще, умудритесь отдать весь свой заработок.

— Ну, уж и весь,— мой пуд против вашего обошелся на шесть копеек всего дороже, но если принять, что сушка мне стоила восемь копеек, переплата за извоз четыре копейки, так выйдет, что я на шесть копеек дешевле, несмотря на всякие прибавки, имею свой хлеб, чем вы. Без тех затрат, которые я сделал, я не мог бы достигнуть этого: это во-первых. Во-вторых, следующее: если бы вместо этих акул-купцов у нас были элеваторы, если бы вместо того, чтобы везти свой хлеб сто тридцать верст на лошадях и волей-неволей доверять его дураку приказчику, я при существовании элеваторов свез бы его на станцию железной дороги, то есть провез всего пятьдесят верст, то и не был бы в таком положении, в каком очутился теперь.

— Кто же об этом говорит? Разве с самого начала я не говорил вам, что будь все это так, как должно быть...

— Значит, вопрос сводится вовсе не к тому, чтобы сидеть да смотреть да приспособляться к существующим безобразиям, а к тому, чтобы бороться против этих безобразий.

— Как же вы будете бороться?

— А так, что с этой минуты ни одного фунта хлеба я не продам больше этим акулам, нашим городским купцам.

— Что ж, вы его съедите?

— Нет, не съем, а повезу его сам в Рыбинск, куда и они везут.

— Это уж совсем оригинально. У вас не хватает средств приготовить этот хлеб, а вы его еще хотите вести в Рыбинск! Это я и называю разбрасыванием.

— Да в чем же тут разбрасывание? Вы сами же говорите, что с хлебом надо выжидать,— вот пока вы выжидаете, я перевезу свой хлеб в Рыбинск. Купцы нанимают же барки, и я найму.

— Но в барку пойдет сто тысяч пудов, а у вас двадцать, а остальные?

— Я составлю компанию.

— Ну! — махнул рукой Чеботаев.— Да где же вы найдете людей для этого?

— Вас первого.

— Я не пойду.

— Буду искать других.

— Нет, батюшка! Это уж не хозяйство, а верное разорение. При других условиях из всего этого, может, и вышел бы толк, но при наших, в этих обломках еще не пережитого прошлого, так сказать, на развалинах Карфагена, бросаться очертя голову, преодолевать вековые препятствия, имея семью, это, батюшка, извините, безрассудство.

Так мы с Чеботаевым ни до чего и не договорились. Каждый стоял на своем. Под конец мы оба разгорячились и подняли такой крик, что на выручку к ним пришла Александра Павловна, жена Чеботаева.

— Вы такой крик подняли, что прислуга думает, что вы насмерть ссоритесь. Идем лучше чай пить. Удивительный вы народ, право. Друг без друга скучаете, а сойдетесь — точно враги смертные. Вы бы хоть пример брали с Надежды Валериевны и меня.

— Вы, женщины, неспособны воодушевляться общественными вопросами,— ответил Чеботаев, толкая меня в бок.

— Скажите пожалуйста,— спокойно усмехнулась Александра Павловна, усаживаясь за чайный стол.— Была я на вашем земском собрании, видела ваше воодушевление.

— Она,— Чеботаев кивнул на жену,— попала как раз, когда мы ломали вопрос о страховке скота; в конце концов только я, К* да Ку — в и подали голоса за страхование.

Наступило молчание.

— Я, батюшка, в земстве избрал себе благую часть — школу.

— Я слышал про вашу деятельность,—отвечал я.—Но опять, извините, не согласен с вами. В рамках программы вы делаете действительно все, что можете, но сама-то программа, по-моему, не стоит выеденного яйца.

— Почему? — вспыхнул Чеботаев.

— Да помилуйте! Вы тратите массу денег для того, чтобы выучить ребенка читать и писать. Это беспочвенное, отвлеченное знание, во-первых, приносит ему весьма мало пользы, и скорее вред, так как этим знанием пользуются большею частью для того, чтобы стать выше толпы, бросить свой крестьянский труд, и только в редких случаях употребляют его на что-нибудь другое — вроде чтения Священного писания... Во-вторых, эти знания по своим результатам далеко не соответствуют тем затратам, какие на них делаются. За эти деньги, по-моему, можно дать настоящее, прямо к цели направленное образование. А главная цель — улучшение благосостояния крестьян, и учи их, начиная с маленького возраста, как улучшать это благосостояние. Заводите учителей, которые бы знали обработку земли, были бы хоть немного агрономами, поставьте все это на практическую почву,— вот это будет школа.

— Прежде всего школа не должна преследовать корыстных целей. Цели ее исключительно воспитательные.

— Да благосостояние и воспитание в тесной связи между собой,— перебил я горячо Чеботаева.— Ну, что же вы будете воспитывать человека, которому есть нечего? Научите прежде его, как честно хлеб он должен добывать себе, а вместе с этим вы и сами не заметите, как придет то воспитание, которое вы хотите ему дать.

И снова загорелся между нами спор, который длился до самого ужина.

— Нет, господа! я сегодня вам больше не дам спорить,— объявила нам за ужином Александра Павловна.— Вы оба завтра заболеете.

Мысль обойтись в продаже хлеба без возмутительного посредничества местных акул не давала мне покоя всю дорогу. Я, между прочим, вспомнил рассказы местных жителей о том, что Петр Великий устроил в пятнадцати верстах от моего имения серный завод, а когда дело не пошло, то сплавил его к устьям Волги, воспользовавшись для этого протекавшею мимо завода рекой Сок, впадающею в Волгу. Мысль

воспользоваться рекой, протекавшей всего в пятнадцати верстах от меня, просто жгла меня. Если она была при Петре сплавной, то и теперь она должна быть такой же. Единственно, что могло служить препятствием — это настроенные мельницы, но, сделав изыскание и доказав сплавную способность реки, можно было настоять на уничтожении мельниц в тех пределах, где река могла быть сплавной.

В Красном Яру, большом селе, находящемся в шестидесяти верстах от моего имения, расположенном на р. Соке, пока перепрягали лошадей, я пошел посмотреть на эту реку. Каково же было мое удивление, когда на берегу я увидел громадную баржу. От рыбаков, сушивших на берегу сети, я узнал, что этою весной в первый раз один купец, Юшков, сплавил из Красного Яра в Рыбинск баржу с хлебом. Стоявшая на берегу барка была арендована им же. Моя мысль наполовину была предвосхищена.

Юшков в нескольких верстах от Красного Яра арендовал большую мельницу. Вопрос был настолько важный, что я своротил с большой дороги и заехал к нему на мельницу, чтобы разузнать все касавшееся интересовавшего меня вопроса.

Мельница Юшкова с массою построек была расположена на открытом месте. Все постройки были каменные и крытые железом. Усадьба была обнесена высокою каменною стеной. Через широкие ворота мы въехали в большой чистый двор. В углублении его, с правой стороны, стоял красивый каменный флигель, отделенный от остального двора решетчатым забором, крашенным зеленою краской. За забором виднелись домашние постройки — конюшни, сараи и проч. Большие зеленые железные ворота этих строений были заперты громадными тяжелыми замками. В окнах флигеля виднелись скромные занавески и цветы. С левой стороны двора помещалась мельница, а прямо напротив — ряд амбаров. Чистота и порядок бросались на каждом шагу в глаза. Хозяин был в мельнице. Имея сам мельницу, питая к ней даже некоторую слабость, я сейчас же увидел, что Юшков прекрасно понимает мельничное дело. В этом не трудно убедиться. Если мельница работает без шума, если пол не дрожит под вами, если в механизме ничего не стучит, если мука

из-под камня идет холодная, мягкая, пухлая, ровною струей, если камень вертится ровно и плавно, как по маслу, а не прихрамывает на один бок,— значит, все дело в порядке.

Чтобы добиться такого порядка, нужно, чтобы хозяин сам сумел почти что выстроить всю мельницу,— все здесь зависит от таких мелочей, которые неспециалисту покажутся сущим пустяком, но в которых вся сила. Юшкова я застал возившимся за ковшом, который, по его мнению, неравномерно двигался, вследствие чего хлеб неравномерно попадал под камень. Это был человек лет сорока, высокий, широкоплечий, худощавый, слегка сгорбленный, с умными, выразительными глазами и с русою подстриженною бородкой.

— Чем могу служить?

Я назвал себя и объяснил цель своего приезда.

— Ехал я сюда и думал, что вот не худо бы воспользоваться Соком для сплава хлеба, и вдруг узнаю, что уже моя мысль вами приведена в исполнение. Я не мог себе отказать в удовольствии познакомиться с вами.

— Очень приятно. Рад служить, чем могу. Я тоже о вас слышал. Слышал и о ваших новинках и о том, что наши горчишники вам подстроили.

И когда я не сразу понял, он добродушно подмигнул и сказал улыбаясь:

— Насчет продажи-то вашего хлеба...

Он делал сильное ударение на *о.*

— А-а! слыхали?

— Как же, слышал. Одно слово — горчишники. Мне-то они сколько крови испортили! А теперь уж я им портить стану,— дай срок. Что ж, однако, мы тут стоим? В горницу милости просим, закусить чем бог послал, чайку напьемся.

Он повел меня через двор к флигелю.

— Что это у вас за столбики? — спросил я.

— Это мой телеграф,— рассмеялся Юшков.— Всякий народ живет, строго надо быть. Вот как ночь придет, я свой механизм от столбика к столбику и проведу. Чуть кто тронул, а у меня уж звон в комнате.

— Осторожный же вы.

— По нынешним временам нельзя.

В это время на двор въехала телега с хлебом.

— Ты что? — крикнул Юшков мужика.

— Хлеб надо? — спросил тот.

— Рожь?

— Знамо, рожь.

Юшков подошел к возу.

— Покажи.

Крестьянин нехотя стал разворачивать полог.

Юшков быстро запустил руку в воз и вынул из глубины горсть ржи.

— Сыровата,— сказал он, осматривая зерно и пробуя его в зубах.

— По нынешним временам суше не будет,— уверенно ответил мужик.

— Ну, ладно, подожди здесь, пойду свешу.

Юшков и я пошли. Когда мы входили в комнату, крестьянин решил следовать за нами и не спеша, уверенною походкой направился к калитке.

Я заметил, что Юшков замедлил шаги, стал рассеянно отвечать на мои вопросы и внимательно, но незаметно начал следить за мужиком. Я скоро понял, в чем дело. Чуть только крестьянин отворил калитку, как громадная цепная собака с страшным лаем, выскочив из конурки, которую я не заметил при входе, набросилась на мужика.

— Ай-ай-ай! — закричал благим матом крестьянин, мгновенно отскакивая за калитку.

— А я тебе что ж сказал: чтоб ты подождал? — с невинною миной спросил Юшков.— Так ведь шутя и без носу останешься.

— А хай ей, проклятой, чтоб она подохла! — выругался в утешение себе крестьянин, направляясь к возу.

— Другой раз не пойдешь самовольно,— говорил Юшков, всходя на крыльцо,— и другим закажешь.

Комнаты в квартире Юшкова были низенькие, но чистые; воздух спертый; пахло лампадным маслом.

— Милости просим,— указал он на приемную. Эта комната аркой делилась на две: в одной стояла в чехлах гостиная мебель, в другой помещалась столовая. Гостиная мебель была на европейский манер.

— Прошу садиться,— говорил Юшков,— а я пока распоряжусь едой.

Когда Юшков возвратился, он прежде всего вынул из буфета прибор для определения веса хлеба и внимательно взвесил принесенный с собой образец ржи. Потом, взяв карандаш и бумажку, он сделал какой-то расчет, позвал человека и сказал:

— Иди к тому мужику и скажи, что в городе ему за хлеб дадут пятьдесят две копейки. Извоз до города восемь копеек, остается сорок четыре копейки. Если хочет за сорок шесть ссыпать, пусть ссыпает, нет — пусть уезжает. Больше ничего не прибавлю; две копейки против города прибавляю за чистоту.

Человек ушел, а Юшков наблюдал в окно. Вот посланный подошел к крестьянину, что-то сказал ему, крестьянин сердито махнул рукой, подошел к лошади и за повод повел ее за ворота.

— Скатертью дорога,— сказал Юшков, отходя от окна.— Вы думаете, он уедет? Ничуть не бывало! Выедет за ворота и будет ждать, не пошлют ли за ним. Хитрый народ! Он лучше меня знает городскую цену и знает, что я ему правду сказал. Постоит и отдаст. Все ж таки я доволен. Лет шесть тому назад, как я поселился здесь, они возили мне такой хлеб, что хоть свиньям его бросай, а потихоньку я приучил их очищать хлеб. Вот посмотрите,— такого хлеба в город не повезут.

Хлеб действительно был чистый. На мой вопрос, как он додумался до сплава по Соку, Юшков сказал:

— Нужда додумалась. Доняли меня городские горчишники. Дай-кось, думаю, съезжу в Рыбинск. Повез небольшую партию, узнал дорогу,— ну, и начал возить. А тут и насчет Соку надумался. Поговорил с тем, другим, с пароходчиками разговорился,— тары да бары,— сел в лодку да и поехал до самого устья. Только одна мельница и мешала. Снял я ее в аренду за тысячу рублей в год, разобрал плотину с подпиской собрать ее, как отдержу срок, и провел пароход. После этого нанял две барки и стал скупать хлеб. В банке кредит мне открыли,— вот одну барку нынче и сплавил; хотел другую, да не хватило хлеба,— на-

род еще мало знает кругом. Нынче надеюсь две барки.

— И выгодно?

— Когда не выгодно: против городских-то горчишников на шесть копеек дешевле. Цена за провоз до Рыбинска та же, что из города, что отсюда — шесть три четверти копейки с пуда со страховкой, со всем уже.

— Это, значит, от меня,— сказал я,— выйдет вот что: к вам семь копеек, да до Рыбинска шесть три четверти, итого тринадцать три четверти копейки, теперь же я только до города плачу пятнадцать копеек, а на тысячу двести верст дальше буду платить на копейку с одной четвертью дешевле — ловко!

— Ну, а если бы я предложил себя к вам в компанию по доставке хлеба в Рыбинск? — спросил я Юшкова, когда мы сидели за чайным столом.

— Что же? С моим удовольствием. Вам как угодно — на комиссию мне хлеб дать или самим отправлять? Если на комиссию, я возьму с вас три копейки с пуда. Если хотите участвовать во всех расходах и быть самим отправителем, я возьму с вас половину копейки.

В мои планы входило быть участником, что я и объяснил Юшкову.

— Я желал бы,— сказал я,— сделать опыт. Если бы он удался, то, может быть, удалось бы вместе с вами организовать большое дело. Мы бы брали хлеб на комиссию и покупали бы его. Если бы дело пошло, мы могли бы устроить что-нибудь вроде американских элеваторов, выдавая под хлеб ссуды, а после продажи додавали бы остальное, удержав себе комиссионный процент.

Я рассказал ему в общих чертах устройство элеваторов в Америке.

Он внимательно слушал и высказал большое сочувствие моей идее.

— Я вот и не знал, как в Америке ведется это дело, а и у меня устроено так же, как у них. Например, хоть очистка хлеба. Вы думаете, я как купил хлеб, так и везу его? Нет. У меня каждый хлеб дово-

дится до натуры. А что ж эти горчишники? Хороший хлеб — вали, плохой — туда же, сухой, сырой — все в одно место. Этакую кашу свалит — он у него и подопреет и слежится. Ему что? Лишь бы гривенник на пуд сорвать, а там хоть трава не расти. Этакое животное — и в голову себе не берет, что он подрыв всему нашему делу за границей делает. Я считаю, что с нашим хлебом заминка за границей только от нашей халатности идет.

— Совершенно верно,— сказал я.— Вы знаете, например, факт, в Штеттине существует масса элеваторов, которые делают то, что вы делаете, то есть русский хлеб сортуют, отбросы продают по той цене, по какой хлеб у нас покупают, а очищенный хлеб вдвое дороже.

— Ну вот,— подхватил Юшков.— А провоз этого отброса через всю Россию — тут опять накостим на четверть на худой конец пятьдесят копеек, а то, что этим цена на хлеб совсем другая выходит,— это чего стоит?

— Я следил, например, за газетами,— продолжал я.— В прошлом году, когда у нас пшеница продавалась по семьдесят копеек, в Лондоне в то же время цена на нее была два рубля. Вот и считайте, что мы платили за нашу халатность. А вот в Америке этого не может быть. Я сдал свой хлеб в элеватор, получил квитанцию, номер моего хлеба инспекция обозначила — и весь мой хлеб в кармане. Когда захотел, где захотел — продал. Тяжелый, громоздкий продукт превращается в товар не тяжелее той бумажки, на которой написано его количество — те же деньги.

Долго еще мы разговаривали с Юшковым и порешили на том, что он мне уступает в барже место на тридцать тысяч пудов, которые я в течение зимы должен буду свезти к нему в кулях и сложить в бунты. Хлеб должен быть очищенный и по возможности доведен до натурального веса. Он показал мне тот способ, каким он очищал свой хлеб с тем, чтобы и я у себя на мельнице завел такие же приспособления.

— На этой очистке не только убытка нет, но чистая польза будет. С пуда слетит у вас фунта два отбросу, то есть на прокорм вашего скота у вас полу-

чится тысяча пятьсот пудов прекрасного корма, да за пуд получите вы копейки четыре дороже, а два фунта стоят две копейки; таким образом две копейки останется,— на тридцать тысяч пудов — это шестьсот рублей.

Моего хлеба у меня оставалось тысяч десять пудов, остальные двадцать тысяч я решил скупить у окрестных крестьян.

Вследствие этого, ввиду предстоящего дела, денег мне нужно было около двадцати тысяч рублей, которые я и решил взять в общественном банке под залог имения. Директор банка был из купцов, в длиннополом сюртуке, с солидным брюшком. Он сказал мне, что залог — это длинная процедура и раньше весны денег мне не выдадут, что гораздо проще взять у него денег,— дороже на два процента, но зато спокойно, без всяких вычетов, а в банке, как все посчитать, так не восемь процентов, а все двенадцать выйдут.

— А кредит в банке по векселям вы мне не откроете?

— Этого никак нельзя. По нашему делу ежели наш брат купец начнет хозяйством заниматься — и тому сейчас кредит сбавляем. По нынешним временам веры вам, помещикам, нет,— самое пустое дело нынче хозяйство. Вот если с торгов, либо по случаю купить землю да под распашку пустить ее в сдачу,— ну, тут убытка нет, а чтобы хозяйством — по нашим временам нельзя. Какое хозяйство может быть, когда на базаре хлеб дешевле купить, чем его снять? Где ж нам тягаться с мужиком? У него труд свой, неоплаченный,— что дали, то и ладно,— а мы-то за все заплати... Нынче только мужику и сеять.

— Мужик с десятины получит шестьдесят пудов,— ответил я,— а разными улучшениями я добьюсь с той же десятины двухсот пудов. Вот почва, на какой возможна конкуренция с крестьянами.

— Нет, двести пудов никогда вы не получите. По нашим местам вся сила в дожде,— не будет его, так же черно будет на вашем поле, как и у мужика.

Спорить было бесполезно, и я уехал, обещая обдумать его предложение относительно займа денег у него. Сделал я было попытку обратиться к другим ка-

питалистам, но условия директора банка оказались самыми выгодными. Купец Семенов объявил, что под имение меньше сорока тысяч не согласен дать. Процент — 9 годовых, закладная на десять лет, все проценты за десять лет приписать к закладной, неустойка 10 тыс. руб. В случае неуплаты в какой-нибудь из сроков срочного платежа, волен он, Семенов, взыскать с меня всю сумму сполна, то есть, выдавая мне на руки 40 тысяч рублей, Семенов желал в закладной написать сумму 86 тысяч рублей, которую всю и взыскал бы с меня в том году, когда я не смог бы или опоздал внести срочный платеж — 3600 руб. Семенов в то время, когда я обращался к нему, имел уже с лишком 200 тысяч десятин,— все таким способом приобретенных исключительно от дворян.

Попробовал я поискать денег под вексель. Копия Семенова, бывший военный, ростовщик Клопов попросил 24% годовых и сверх суммы вексель на 5 тысяч рублей в обеспечение, как он выразился, долга. Все остальные предложения, куда я ни обращался, были в том же роде, с тою разницей, что чем меньшую сумму я искал, тем несообразнее были требования. Что всего обиднее было, так это то, что все эти господа были твердо убеждены в том, что я денег не в силах буду возвратить и что за выданные деньги они получат мое имение. Они подробно расспрашивали о состоянии имения, а Клопов даже просил особую обеспечивающую подписку, что я не буду рубить лес, не сдам без его согласия землю, не возьму денег вперед и прочее. Одна вдова толковала о том, что, давая деньги, рискуешь вместо этого надежного товара приобрести ничего не стоящее имение, с которым потом и возись, как знаешь.

— Что ж, у вас усадьба есть, и сад, и пруд, и рыба водится?

Описание всего, видимо, ее соблазняло.

— Ох, уж и не знаю как,— раздумчиво говорила она.— Возись потом. Ну, уж бог с вами, десять тысяч могу вам дать на шесть месяцев.

— На каких условиях?

— Да что ж, батюшка? Дело мое одинокое, две дочки невесты, вывозить надо, положите две тысячи рублей.

— Это сорок процентов годовых? — пришел я в ужас.

— Вот как с вами, господами-то, иметь дело? Мужик-торговец придет: возьмет сотенку, месяца через три принесет четвертную за процент да еще в ножки поклонится. Вам же решаешься целый капитал вручить, а вы, прости господи, еще фордыбачитесь. Даром, что ли, отдавать вам деньги?

После всех поисков я окончательно остановился на директоре банка, у которого через три дня и получил деньги с удержанием годовых процентов.

Мысль, что я влез в долг, неприятно тревожила меня, но энергично отгонялась сознанием, что долг этот делается производительно, что если удастся провести задуманное в жизнь, то это даст возможность радикально изменить условия хозяйства в моей местности.

Вся зима прошла в хлопотах о заготовке хлеба. Скупая у окрестных крестьян хлеб, я каждому толковал, с какою целью это делаю, и говорил, что хлеб, который я покупаю у них, я беру только на комиссию и что когда продам хлеб, то излишек дохода против расхода, за вычетом комиссионных, возвращу им. Мужики недоверчиво покачивали головами и ничего не говорили.

Заготовка навоза как у меня, так и у мужиков шла деятельно. Петра Белякова и Керова уговорил я валить навоз в кучи, а не разбрасывать отдельными возами. За то же, что весной у них будет лишняя работа при развозке навозу, я подарил им по два кряжа на доски для устраиваемых ими амбаров.

В эту же зиму помирился я и с пятью богатыми мужиками моей деревни — Чичковым, Кискиным и другими, которые, как я уже говорил, уходили на новые земли искать счастья.

Попытка уйти оказалась неудачной. Они причислились к одной мордовской деревне с наделом пятнадцать десятин на душу. Всего у них было вволю: и земли, и леса, и воды. За право приписаться к обществу с них спили с каждого по пяти ведер водки и разрешили пользоваться душевым наделом с еже-

годною платой по 9 рублей. Сначала переселенцы были счастливы и чувствовали себя чуть не на седьмом небе. Мои князевцы, с их слов, называли их счастливцами и говорили, что им теперь и помирать не надо.

— Прямо в рай попали: ты гляди — девять рублей за пятнадцать десятин, а у нас сколько денег-то отдать за такую уйму земли надо?

Выходило, что отдать надо 43 рубля.

— Видишь чего? Где ж тут вытерпеть!

Появление через год богатых с просьбой пустить их обратно удивило одинаково и мужиков и меня.

— Как же это так? — спрашивал я возвратившихся.— Ведь вы сами же так расписывали свое благополучие?

— Да что ж, сударь, правду надо говорить,— отвечал Чичков.— Оно, конечно, шестьдесят копеек за десятину цена пустяшная против наших цен,— вовсе даром. Да что же, когда и этих денег их земля-то не стоит? Первое, что здесь все в цену идет: воз соломы, и тот рубль стоит, а там и даром она никому не нужна. Теленок в наших местах три рубля, а там и за полтинник его не продашь. До города двести пятьдесят верст, повезешь хлеб — с пуда-то пятнадцать копеек — больше не придет, а здесь на худой конец тридцать копеек получишь. Опять же народ несообразный, правды нет, за водку все сделаешь. Поле дали дальнее, двенадцать верст от жилья. Половина сгнила, другую без малого всю разокрали,— как посчитали-то за год, так и увидели, что без малого половину денег-то порастрясли. Копили годами, а прожили годом. Ну, вот и надумались опять к твоей милости.

— На общих основаниях — с удовольствием,— ответил я.

— Позвольте, сударь, не идти на контракт. Уж вы лучше дальнюю земельку перепустите за нас.

— Нет, не дам.

— Ведь странним же сдаете, чем же мы хуже? За нами деньги не залежатся, хоть за весь год вперед отдадим.

— Не в деньгах сила. Без контракта вы пошли мутить народ, сегодня здесь, завтра перебираться.

Насмотрелся я. А вот как сядете на контракт, у вас одна думка и будет.

— Да нам что мутить-то? Каждый как знает, так и живет. Народ-то уж по-твоему наладился — и бог с ними. Пожалей и нас: мы тоже твои, ведь на этой земле выросли, отцы наши тут лежат, маемся мы по свету, как Каины, и угла не найдем. Пожалей, будь отцом.

Сознательно или бессознательно они попали в самое больное мое место,— мысль, что я лишил их некоторым образом родины, часто не давала мне покою.

— Не могу я ничего сделать. Придумайте что-нибудь другое, а земли я вам сдавать не буду,— соблазн другим.

Несколько раз приходили богатые, и ничем наши разговоры не кончились.

— Ну, дозвольте нам так,— предложил раз Чичков,— станем мы жить на деревне, скотину дозвольте нам пасти на вашем выпуске, а землю станем мы брать на стороне у соседних помещиков.

Задумался я.

— Что ж, на это я согласен. Насчет выпуска со стариками поговорите,— это до меня не касается. Деревня позволит — и я согласен.

С деревней у них дело скоро сладилось: пять ведер водки и по рублю со скотины за лето.

— Ведь они лучше вашего вышли,— говорил я князевцам, узнав про сделку.

— Знамо, лучше.

— Да как же так? Опять они вам сели на шею. Теперь за них вы будете работать.

— Чего будешь делать? Стали просить — подали по стаканчику, в голове зашумело, раздразнились, потянулись за водкой и пропили выпуск.

— Вы точно малые дети; как же вам не стыдно?

— Дети-то оно дети, да и без них-то нельзя. Вот, к примеру, жнитво: ты нам не сдаешь, а они уж сдачу открыли.

— Как! Сдают?

— Сдают.

— Почем?

— По три рубля.

— Да ведь летом жнитво десять рублей.
— Да лето-то далеко, чего станешь есть?
— Ну, так вот что: и я сдавать стану жнитво; сейчас пять рублей, а летом остальные, а рубль против цены, какая будет меньше.
Почти все мужики забрались у меня жнитвом.
— Ну что, перестали у богатых брать?
— Которые перестали, а которые берут.
— Да какой же расчет? Почему же не у меня берут?
— Потому что у тебя взяли уже. Это по другому разу.
— Как же вы успеете?
— Успеем, бог даст.
— А если не успеете?
Мужики смеются.
— Сперва ты поневолишь, потом за свое, бог даст, живы будем, примемся, а там, что поспеем, и на них поработаем, а что не успеем — до будущего года. Вот с тобой деваться некуда, а с ними беда не велика: хочу выжну, а не хочу — что он со мной поделает?
— Работ не станут давать.
— К другому пойдем. Много их, охотников на даровщину.
Я спохватился, но уже было поздно, что сделал ошибку, разрешив богатым снова поселиться в Князеве. Крестьяне в этом отношении мало думали о будущем: они, что могли, брали у меня в долг, а когда я отказывал, шли к богатеям. В результате они были в долгу, как в шелку.
— Работаем как лошадь, а толков никаких; так, в прорву какую-то идет. Хуже крепостного времени выходит.
— Да ведь за каждую работу вы сполна же получаете. Сами же вперед берете; сами говорите, что есть нечего.
— Конечно, сами. Другой раз и ничего, а другой раз так, зря, возьмешь деньги, изведешь их без пути, а потом и поворачивайся, как знаешь. Хоть, к примеру, извоз. Целую зиму скотину, себя маешь, а что у тебя заработали? — и за землю не наверстали.

— Зато же у вас строения новые.

— Новые-то новые, да их есть не станешь, как нужда придет. Опять с урожаем подшиблись: считали — ни бог весть сколько, засыпемся хлебом, а он-то на пятьдесят пудов обошелся.

— Кто ж тут виноват, что хлеб погнил?

— То-то оно и есть, что мы-то своим грешным умом и так и сяк, а забываем, что над нами-то бог.

— Да при чем тут бог?

— А вот и при чем. Мы-то его знать не хотим, а он-то нас знает. Ни один волос без его воли не упадет с нашей головы. Так-то, сударь,— укоризненно заканчивал какой-нибудь Елесин.

— Наладила сорока Якова. Да что ты плетешь, куда надо и не надо, имя божие? — говорил я горячась.— Заповеди забыл: «Не приемли имени Господа твоего всуе»; ты ведь по всякому пустяку, по всякой глупости треплешь имя его. Тебе охота на печи валяться, жить хуже всякой свиньи, оправдать себя охота, ты и приплетаешь его святое имя к своим грешным делам. Вместо того чтобы работать, поскорее выбиться из своей нужды, ты только и выдумываешь, как бы от работы отвертеться. Я ли для вас не рвусь пополам? Как какая работа — цена у меня вдвое против людей, а напротив, как землю продать, лес ли, против меня нигде дешевле не сыщешь. Благодать, значит, благодарить бога надо, а вы что делаете? Вы ропщете, а больше этого греха нету. Да и за что ропщете,— хуже вы против людей живете? Не спокоен ли каждый из вас теперь, что, случись беда, нужда — помощь вам всегда готова!

Мужики успокаивались, но при удобном случае опять начинался разговор на ту же тему.

— Эх, запрег ты нас, сударь, как поглядишь, со всех сторон, то есть некуда, некуда мотнуться. Как есть на всю неделю припасена работа. Тут в извоз, хочешь не хочешь, поезжай; приехал — ни чем отдохнуть, навоз вези; свез навоз — опять айда в извоз. Что за беда! Бывало, зиму-зимскую на печи лежали, горя не знали, а тут, почитай, все с отмороженными носами ходим. Ты гляди: буран ли, мороз ли, а ты все неволишь; айда да айда!

— Я и сам не сижу сложа руки, хоть и мог бы по своим достаткам с печи не слазить,— бог труды любит.

— Да уж ты-то заботливый. Мы и то калякаем: везде его хватает. Споначалу думали, станем мы тебя за нос водить, а заместо этого ты же нас впрег так, что ни туда, ни сюда. А богатеи только посмеиваются. Вы, бают, теперь на барщине; только заместо трех дней всю неделю, почитай, работаете.

— А вот станут они мутить, я с ними много не буду разговаривать. Так и передайте им.

Когда пришел новый год, я объявил им мой ультиматум насчет кабака.

Поднялись страшные протесты. За кабак особенно ратовали самые богатые и самые бедные. Этот союз крайних партий был обычным явлением. Одних побуждала лень, нерадивость, беспечность, разнузданные страсти, других эксплуатация этой лени, нерадивости, беспечности.

Дебаты шли сначала у меня в усадьбе. Богатые стояли на следующих двух аргументах:

1) Водка, по примеру прежних лет, с закрытием кабаков на деревне не переведется: станут тайно торговать разбавленною водкой.

2) Кабак дает им двести рублей в год доходу, которыми они оплачивают батюшку и повинности, с уничтожением же кабака они, таким образом, лишаются крупного дохода.

Я возражал следующее:

— Торговли потайной не будет, потому что я безжалостно буду преследовать продающих водку. Доход с кабака — это только самообман, так как содержатель кабака не даром же им платит и получает с них за свои двести рублей около тысячи рублей в год[1]. Польза от этого только богатым, которые почти не пьют и получают свой пай из двухсот рублей за счет пьяницы.

Мои доводы мало убеждали, и я вынужден был прибегнуть к следующему средству. Я объявил богатым, что их я не признаю полноправными членами

---

[1] В соседнем селе Садках кабака по приговору не было, и за водкой ездили в Князево. *(Прим. авт.)*

схода на том основании, что они не несут наравне с остальными всех тягостей, не работают за выпуск, не берут и не назмят землю и прочее. Вследствие этого я смотрю на них, как на людей, живущих в Князеве, так сказать, квартирантами и не имеющих вследствие этого права голоса в общественных делах.

— А потому, господа, вот вам бог, а вот порог; мы и без вас решим, что нам полезно, что вредно.

Богатые раскланялись и с позеленевшими от злости лицами ушли на деревню.

Остальным мужикам я сказал:

— Это мое окончательное решение, чтобы кабака не было. Чтобы вам не так обидно было, я вам сбавлю половину работ по выпуску. Идите и через три дня принесите мне ответ.

Я получил ответ гораздо раньше: на другой день вся деревня поголовно была пьяна по случаю сдачи кабака. Ловкий купец, содержавший кабак, выставил несколько ведер водки, задел их самолюбие, что они не крепостные, и — кабак был сдан. Я рвал и метал. Прежде всего подозрение пало на богатых. Оказалось, что на сходе никого из богатых не было. Дело несомненно было их рук: вечером Чичков ездил зачем-то в пригород, где жил купец; купец, приехав, остановился у Чичкова. Но на все богатыми были даны более или менее удовлетворительные ответы.

— Сын ездил луга торговать, купец всегда у нас стоит, а против твоей воли мы не вышли: запретил — мы и на сход не ходили.

Остальная деревня или угрюмо отмалчивалась, или ссылалась друг на дружку.

— Лукавый попутал. Грех случился — и не оглянулись.

Так как приговор уже был написан и выдан купцу, то запретить открытие кабака я не мог, но мог косвенным образом мешать. Я объявил, что того хозяина, который впустит к себе в дом кабак, я лишу выпуска (выпуск сдавался не по контракту). Купец обошел мое решение тем, что купил у одного бездомного солдата право жить на его четверти десятины. В крестьянском обществе с правильною организацией такого непрошенного гостя легко удалить на законном основании, но в этой нестройной куче мещан, какими

были князевцы, без старосты и писаря (они были причислены к обществу сергиевских мещан), нельзя было ничего сделать. Тогда я объявил, что возле кабака постоянно будут стоять два нанятых мною сторожа, которые будут следить за тем, чтобы торговля водкой шла на наличные деньги, а не в кредит. Этим купцу делался страшный подрыв. Для большей убедительности я нанял и за месяц вперед выдал деньги двум сторожам: Елесину и Петру Белякову.

— Ладно,— отвечал купец,— мы и вас, и барина вашего под острог подведем.

Когда и это средство не возымело надлежащего действия, я решил напугать купца тем, что сам открываю кабак на своей земле. Я нанял плотников, стал возить лес, говорил, что водку буду продавать по своей цене, неразбавленную, что кто у меня не станет брать водку, а будет брать у купца, тот мне враг, и прочее.

Все это я говорил совершенно серьезно. Мужики верили и смеялись:

— Ну, теперь день и ночь пьянство будет. Днем у тебя, а ночью у купца, так как ночью ты не станешь же торговать.

Смутился наконец купец и помирился со мной на том, чтобы я возвратил ему его пятьдесят рублей, данные в задаток.

Как только ушел купец, и я, конечно, бросил постройку своего кабака, превратив его в баню.

— Ошибил же ты нас, заместо двух — ни одного. Вот так штука! — говорили князевцы.

— Я за вас пятьдесят рублей внес,— говорил я,— и поэтому в этом году сбавки работ вам не будет за выпуск.

Так как богатые в работах за выпуск не участвовали, то их долю задатка я потребовал от них обратно. Как они ни крутили, а пришлось исполнить мое требование. Дело дошло до того даже, что я поставил вопрос ребром: или задатки, или выселяйтесь.

— Подавитесь вы с вашим барином,— объявил Чичков моему приказчику, бросая деньги на стол.

К концу зимы все тридцать тысяч пудов обусловленного с Юшковым хлеба были мною ему доставле-

ны и сложены в бунты на берегу Сока. Караван предполагался к отправлению в конце мая. Поручив Юшкову нагрузку, я всецело отдался своим весенним делам. А дела было много.

Весна, как говорили мужики, была не радостная, не дружная. Всё холода стояли, снег таял медленно, земля освобождалась постепенно. Днем еще пригревало, а по ночам стояли морозы. Земля трескалась, а с нею рвались нежные корни озимей. С каждым днем озимь все больше и больше пропадала. Мужики качали головой и приписывали это редкому посеву.

— А у соседей?

— Все не так, как у нас,— все почаще. Ошибил ты нас, без хлеба будем.

Пришел и сев ярового. От сильных осенних дождей земля заклекла, и благодаря холодам козлец (сорная трава) высыпал, как сеяный.

— Не надо было пахать с осени,— угрюмо толковали мужики.— Чем козлец теперь выведешь?

— Перепаши,— отвечал я.

— Этак и станем по пяти раз пахать да хлеба не получать, а кормиться чем будем?

— А как я пашу!

— Тебе можно, тебя сила берет, а нам нельзя. Нет уж, что бог даст, а уж так посеем.

— И будете без хлеба.

— Чего делать? Зато умными станем.

— Глупости всё вы говорите. Я и раньше вам говорил, что в десятый год осенняя пашня в прок не пойдет, а на ваше счастье вы как раз на него и наскочили. Что ж делать? Надо поправить дело, пока время не ушло, а не унывать; с уныния радости тоже мало.

Мужики угрюмо слушали и только потряхивали головами. Озимь, что дальше, пропадала все больше и больше. Я решил перепахать озимые поля и засеять их яровым, пшеницей, полбой, гречей, а главным образом подсолнухами. Мужики глазам не верили, когда увидели, что мои плуга пашут озими.

— Да как же это так? А вдруг господь дождика даст? Они отдохнули бы.

— Нет, не отдохнут, а время упущу.

— Этак станем пахать да пахать, а урожай коли собирать? — насмешливо и озлобленно спрашивали они.

— Глупо, друзья мои. Через неделю и сами станете перепахивать, как и я, с тою разницей, что время упустите, и не будет ни ржи, ни ярового.

— А господь?

— Господь тебе и дал голову, чтобы ты думал. Видишь, толков нет, и не веди время.

— А по-нашему, будто, это дело божье.

— Даст господь — будет, а не даст — ты ее хоть насквозь пропаши, ничего не будет.

— А по-моему, господь за труды даст. Любишь ты землю, выхаживаешь ее, как невесту свою, не жалеешь трудов — даст господь, а ждешь только пользы без труда,— ну и не будет ничего.

— А по-нашему, за смирение господь посылает.

— Смирение смирением, а работа работой. У вас вон хлеб, а у меня другой, а где ж мне смирением с вами тягаться?

— За доброту твою господь тебе посылает.

— А немцам?

— До времени все он терпит. Придет и немцам свое время. Господь всех уравняет.

Почти никто не следовал моему примеру. Спохватились, но было уже поздно. Редкий колосок ржи бился в массе бурьяна.

Яровые были тоже травные, редкие и плохие. Мужики ходили мрачные, злые и угрюмые.

— Ну, пропали!

— Все пойдем Христовым именем кормиться...

— Такого года и старики не запомнят...

— В разор пришли...

— Надо скотину мотать,— ничего не поделаешь.

Всякий торопился облегчить себя в виду предстоящего голодного года: один продавал лишнюю скотину, большинство уменьшило запашку под озимь почти вдвое, продавали амбары, новые избы,— одним словом, всех охватил табунный ужас и страх за будущее. Напрасно я старался ободрить их,— меня слушали угрюмо и нехотя.

— Что же вы обробели, господа? — говорил я.— Беда еще не пришла, а вы хуже баб взвыли, разо-

ряете себя прежде времени, скотину задаром мотаете, постройки за полцены отдаете, посевы уменьшаете,— как же вы вперед поправляться станете? Будущий год придет, может, бог даст, хороший; у людей хлеб будет, а у вас опять ничего. И я же, наконец, у вас,— неужели брошу? Как-нибудь перебьемся.

— Не будет толков,— угрюмо отвечали мужики.

— Вперед-то как знать? Что ж духом падаете? Ведь это грех, старики. В Писании говорится, что духом смутившийся дьяволу душу свою предает. Вы же сами, как рассудить, виноваты. Вольно же вам одно делать по-моему, другое, по-своему. Ведь вот посмотрите на мои всходы, отроду у вас таких не бывало,— значит, я дело делаю и надо по-моему делать все.

Мужики с нескрываемою завистью смотрели на мои посевы.

— Тебя сила берет.

— Сила силой, а кроме того, терпение, вера в дело, в людей, а вы ни на себя, ни на людей не надеетесь. И сами ничего не знаете, и людям не верите, закрываетесь богом и думаете, что правы. Пьяным в страстной пяток напиться не грех, а поработать до пота лица всегда найдете отговорку в боге. Беда еще не пришла, а вы уж рады ей, вперед уже спешите облегчить себя от всякой обузы, от всякой тяготы. Двадцать пять лет облегчаете, хуже нищих стали. Рядом вам пример — садковские мужики. Они мотают, как вы, скотину? Они убавляют посевы? Продают дворы?

— Их сила берет.

— Выходит, что всех сила берет, кроме вас. Не сила их берет, а работа. Отбились вы от работы, вот что я вам скажу, господа.

— Грех тебе, сударь. Замаялись мы работой, передышки нет, а ты же коришь.

— Да что толку в этой работе, когда она не вовремя да все по-своему — без пути, без ладу? Вы делали бы так, как я вам указываю, как сам делаю, тогда и работа будет и толк будет.

— Непосильно, непосильно. И рада бы душенька в рай, да грехи не пускают. Видно, и вправду стари-

ки бают: сам плох — не поможет и бог. Видим мы и сами, что ты для нас все как лучше норовишь, да выходит-то все как хуже. По-старому да по-дедовскому богатеи посеялись — у них хлеб будет, а мы по-новому — Христовым именем пойдем кормиться. Голодный бы год пришел для всех,— туда-сюда, а у людей хоть яровое будет, у нас же, как насмех, ничего,— против всех отличились.

— Сами виноваты.

— То-то и мы баим, потянулись за тобой: куда конь с копытом, туда и рак с клешней.

— Бабы вы, а не мужики. Вовсе раскисли. Ну, да уж как себе хотите, охота, так и кисните, а деться некуда, на контракт пошли, я буду на контракте стоять.

— Твоя воля,— угрюмо отвечали князевцы.— Пожалуй, хоть и до последнего губи.

— Не погублю. Взялся за вас, так выведу в люди. Кто слушался меня, тот теперь с хлебом будет. И теперь говорю: кто парить будет столько, сколько и в прошлом году готовил, тому зимой всем помогу. Семян не хватит — семян отпущу, а кто по-своему захочет гнуть, тот, во-первых, и не ходи ко мне, а во-вторых, за землю по контракту все одно взыщу.

— Да коли мы ее сеять не станем?

— А хоть с маслом ее ешьте.

— Вот оно что! — говорили князевцы, потряхивая головами.— Ловко же ты нас прикрутил! В этакой неволе отродясь еще мы не бывали. И Юматов теленок перед тобой.

— Вы Юматовым меня не корите. Для себя неволить вас не стану, а для вашей пользы — три Юматова со мной не сравнятся, так и запишите.

Я был бы несправедлив к себе, если бы не оговорился в том, что в моей прямолинейности, так сказать, с крестьянами бывали моменты и сомнения.

При всей твердости и непоколебимости, с каким я проводил в жизнь путем экономического давления «их пользу», я не мог не чувствовать, что дело идет далеко не так гладко, как оно представлялось мне в теории. Объяснение этому было, конечно, прежде

всего в неблагоприятном стечении климатических условий: как нарочно, например, выдался такой год, из десяти один, когда весенняя пашня в дело не вышла. Но, помимо этих очевидных причин, были какие-то другие, мешавшие делу, которые как-то ускользали из доступного моему пониманию кругозора.

Я старался отрешиться от всякой предвзятой мысли, чтоб выяснить себе, в чем же суть? Почему я на каждом шагу со стороны крестьян встречаю постоянно доходящее до враждебности упорство? То, что я навязываю крестьянину,— это польза? Нет сомнения, и лучшее доказательство тому — мои поля.

Не было сомнения и в том, что рано или поздно все вводимое мною, так или иначе, войдет в жизнь. Может быть, я преждевременно ввожу все это? Действительность и здесь давала красноречивый ответ в пользу своевременности. Не верят они в успех? Но, опять-таки, мои поля налицо. Ссылаются на слабосилие? Но в этом прогрессе залог их будущей силы. Ленивы? Конечно, лень есть, но их лень мне была ясна: свежая, живая рыба в реке и та же вялая, сонная рыба в садке — наглядная параллель, дающая объяснение, почему крестьянин без знания, без земли и без оборотного капитала будет и ленив и беспечен.

Все это было очень ясно, и если я и упрекал крестьян в лени, то только с той целью, чтоб, указав им существующий недостаток, помочь им скорее с ним справиться. Но все эти упреки, не достигая цели, вызывали только все большее и большее раздражение. Я уподоблялся человеку, идущему к толпе с руками, которые переполнены всяким добром, предназначенным для нее, а лица этой толпы уже кривятся и раздражением и злобой.

Не раз я делал попытку выяснить этот вопрос с самими же крестьянами, с теми из них, которые выдавались из толпы своим более широким пониманием явлений жизни, отличались своей способностью обобщать факты. Из таких мое внимание останавливали двое: Фрол Потапов и Юстин Александрович Родин.

Фрол — садовский крестьянин, был лет пятидесяти пяти, с широким мягким лицом, с широкой седой бородой, с умными веселыми голубыми глазами. Не-

сомненно, это был человек недюжинного ума и сметки, доказательством чему служит тот факт, что ни одной сделки общество не делало, не выбрав его в число своих уполномоченных. Такой же сметкой отличался Фрол и в разных коммерческих делах — в купле и продаже скота, в разных мелких крестьянских аферах. В таких делах Фрол непременно сотоварищ, и там, где его нет, там садковец почти всегда получит убыток. Таким образом, ум, знание жизни, опыт были за Потаповым.

Но рядом с этим положительным качеством в Потапове было что-то такое, что лишало его доверия. Это что-то была какая-то неустойчивость.

— Мотоват маненько.

— Мошенник, что ли?

— Зачем? так, в мыслях мотоват: дело-то смекнуть — смекнет, а глядишь, линию не выведет.

— Неустойчив?

— Действительно, не сустойчив. Сейчас его самого взять вот: умен, всяко дело разобрать может, а себе ничего не припас: так, не лучше последнего мужичонка.

— Так что ж? Это только честь ему делает.

— Не большая и честь, коли нечего есть.

Мои симпатии принадлежали целиком Фролу.

— Скажи, Потапов, отчего ты бедный?

Потапов добродушно-лукаво смотрит мне в глаза.

— Ума не хватило,— говорит он, и веселая улыбка пробегает по его губам.

— Полно: ты своим умом всю деревню за пояс заткнешь.

— Глядите...

— Ну, к вину немножко слабоват, положим, да ведь мало ли богатых, которые пьют.

— Пьют.

— Зло-то зло, да уж не такое...

Потапов весело кивнул головой и проговорил:

— Пьяница проспится, а дурак никогда.

— Так в чем же дело?

— Глядите... Человек ходит, как по воде плывет: и сам себя не видит, и следу нет; со стороны видней. Нет, так и нет, чего ж станешь делать? До седых волос дожил, а ума не нажил.

Точно горькая нотка оборвалась. Он помолчал и добродушно прибавил:

— А все к Фролу, как что — к Фролу... Один пришел — дал совет, супротивный пришел — и ему нет отказа,— и умен, да толку ни тому, ни другому: сердце не камень, обоих ублаготворил — никому ничего не досталось.

— Ох уж, как ты начнешь туману наводить, слушаю тебя, слушаю и ничего не понимаю.

Фрол рассмеялся.

— То-то дураки мы... так дело-то и ведем,— и бога и черта чтоб не забыть, а глядишь, и выходит: ни богу свечка, ни черту кочерга.

— Ну, а скажи мне, почему мои мужики всё перечат мне. Как, по-твоему, дело я им советую?

— Коли уж не дело... Известно, дураки... Мужик, что бык, сейчас тащи его за рога: что больше тащи, то больше упрется... Бык он, бык и есть. Ты ему свое, он тебе свое... Так у вас друг с дружкой нелады и идут. Ты хочешь как лучше и им и себе, а они — только бы им ладно.

— Да разве так можно, чтоб одному только хорошо было?

— Когда можно? Ты вот им землю отдай, а сам иди куда знаешь... Ладно бы... да ведь близок локоть, да не укусишь.

— Да ведь не дадут же землю... не отберут же от нас...

— Известно, кто ж ее даст? Другой, пожалуй, и взял бы, да руки коротки... Не у всех она, лапато загребистая,— купец какой-нибудь загребет тысяч двести десятин и володат; а ты с своей-то короткой лапой что? только за соху и держаться ею.

— Ну что ж, по-твоему, добьюсь я с моими мужиками толку?

Потапов усмехнулся.

— Устанешь... собьется дело... По-моему, так.

— Что ж, по-твоему, делать?

— Мне-то тебе что указывать? книга перед тобой,— раздумчиво проговорил он.— Я что? — трава... гляди сам.

Потапов задумался и уставился глазами в землю.

— Я бы тебе сказал басенку, да как бы мое глупое слово пришлось...

— Ну, ну говори.

— Нашел человек лошадь... нашел и телегу... а упряжи нет. Привязал к хвосту телегу... думал: доеду...

— Ну?

— Не доехал же,— добродушно усмехнулся Потапов...

Так, какой-то туман: таращишь в нем глаза до боли, мерещится что-то и опять тонет в какой-то мгле.

Юстин Александрович — человек совсем другого склада; это богатый, самодовольный мужик, говорит экивоками, хотя и не тип кулака, торгующего своими капиталами. Он первый жнец, первый косарь. Деньги за работу, как говорят крестьяне, платит «все», но и работу, при своем личном примере, получает тоже «всю».

— Беда мне с моими мужиками,— жалуюсь я.

— Беда, сударь... необразованность...

— Что ж необразованность? Все-таки понимать можно; не мудрость уж такая...

— Какая тут мудрость: дело на виду.

Юстин Александрович помолчал и проговорил:

— Мают они вас...

— Мают-то, пусть мают: толк бы вышел... Ты как думаешь, выйдет толк?

Юстин Александрович усмехнулся.

— Не знаю уж как и присогласить вас: не чается мне что-то. Народ слаб стал. Действительно, прежнее дело... К примеру, Алексей Иванович...

Эта параллель с крепостничеством неприятно задела меня.

— Алексей Иванович кнутом да розгами вбивал ум,— угрюмо проговорил я,— а я свет несу, я знание предлагаю.

— Известно, к примеру, неволя была, необходимость будто; а сейчас, хоть у вас взять, сугласен — бери, к примеру, там выпуск, альбо землю; нет сугласия — иди на все четыре стороны... Сейчас бо-

гатеям не показалось — скатертью дорога; на свой, дескать, пирог я ртов найду. Оно, конечно, хоть их взять: денежки тебе за землю готовые принесут — их тебе не работой доставать,— их дело это, твое — получай, что следует. Да вот не охота тебе: милости много, жалеешь всякого, и денег тебе не надо... только бы по-твоему дело шло... Оно, конечно, богатый куда захотел, туда и ушел, ну, а уж бедного сила не берет, он уж должен твоей милости кориться: ему свет закрытый,— хочешь не хочешь, а деться некуда. Все одно, что рыба в неводе: пусти — вся разбежится, а невод держит; крупная, хоть и попалась, ей полгоря, только и всего, что сеть прорвала: сила берет; а мелкая вся тут...

И всё сравнения, экивоки, какой-то лабиринт мысли.

— Они ведь тоже неспроста,— усмехаясь, самодовольно продолжал Юстин Александрович,— у него, дескать, про твою милость сказывают,— ни богатых, ни бедных не будет: господь не уравнял — он, вишь, уравнять вздумал.

— Господь не уравнял, да приказал равнять.

— Ну вот, а они свое. Сейчас в миру: справный хозяин,— ему в первую голову и приходится ухо востро держать... Хоть вот подать или ренда: круговая порука; ну, побогаче и опасается, уж он и смотрит в оба... Другой, конечно, коштан, прямо сказать; а другой ведь только себя блюдет. А подлегчи его: голи-то найдено. Порядочному мужику поэтому только уходить. Ушел один, другой: глядишь, попутнèе разбежались, а последних грудь, пожалуй... грудь, когда нечего взять с него...

— Да мне и брать не надо...

— Твое-то дело так... Я к примеру... Не надо брать, так, конечно, о душеньке своей что не позаботиться; а ежели, вот сказать, везде такие порядки, ну прямо сказать — нельзя жить... Тут в пять лет так народ измотается... Беда!..

— В пять лет у меня народ в каменных домах будет жить.

— У тебя-то так, у тебя милости много...

— Не моею милостью, а своим делом встанут они на ноги.

— Так-с...— вздохнет, бывало, Юстин Александрович, и оборвет разговор, перейдя круто к тому делу, по которому приехал.

Дескать: разговаривать-то с тобой только время вести.

Время было ехать в Рыбинск. Юшков прислал нарочного, что барки благополучно выбрались из Сока и теперь идут по Волге.

На прекрасном волжском пароходе, в лучшую пору (конец мая — начало июня), когда цветет черемуха, когда берега залиты изумрудною зеленью, проехал я в первый раз царственную реку. Пусть по грандиозности она уступает морю; пусть яркостью красок она стушевывается перед югом; но есть в ней такая невыразимая чарующая прелесть, какой ни на каком юге не сыщешь.

Вот наступает вечер. Аромат черемухи, липы наполняет свежеющий воздух. Заходящее солнце скользит по гладкой поверхности реки. Вот уютный хуторок на обрывистом берегу. Прихотливая дорожка, извиваясь, сбегает к реке. На самом обрыве виднеется беседка. Уютно прижавшись где-нибудь на палубе, я чутко прислушиваюсь и к однообразному бою парохода, и к тихому плеску реки, и к резкому вскрикиванию чайки. Рассеянный взгляд скользит по изгибам сверкающей реки, тонет в бесконечной синеющей дали, а в голове блуждают оборванные мысли то о Рыбинске, то о домашних, то о князевцах. На душе спокойно, ясно, тихо, как тих и ясен этот догорающий весенний день. Давно село солнце, потемнело и посинело ясное небо, загорелись одна за другою яркие, крупные, как капли свежей росы, звезды. В воздухе посвежело, пассажиры ушли с палубы, только изредка приходит озабоченный помощник капитана да слышен окрик матроса, меряющего глубину шестом.

— Пять с половиной!

— Шесть!

И в ответ на это команда в рупор:

— Тихий ход, полный ход!

Замелькают огоньки на берегу, пароход подходит

беззвучно к пристани, палуба наполняется народом. Шум, суета, крики носильщиков, матросов. Через четверть часа опять тишина: пароход мчится вперед, энергично разрезывая и на мгновение освещая окружающий мрак, и опять резкий однообразный окрик передового:

— Шесть!

— Пять с половиной!

Мой компаньон Юшков тоже чувствовал себя хорошо и легко. Он взял на себя заботу по нашему питанию и блестящим образом выполнил ее. Он запасся из дому всякими закусками: пирожками, свежею икрой, и усиленно следил, чтобы я ничего не покупал в буфете.

— Охота и деньги-то вам мотать, да и есть всякую дрянь, когда у нас все домашнее, свежее. Лучше я самоварчик закажу, выпьем по рюмочке, поедим икорки, грибков, балычка, я сливочек на берегу купил, булочек свежих.

Поешь, кажется, до завтра сыт, а часа через три смотришь, опять как будто ничего не ел.

— А не закусить ли нам чего-нибудь? — спрашивает Юшков.

И опять: икорка, грибки, балычок.

После еды Юшков подымался, крестился, убирал все и предлагал с полчасика соснуть.

Обыкновенно днем я не сплю, но на пароходе приляжешь — смотришь, и спишь уже. Проснувшись, мы отправлялись на палубу, выбирали уютное место и вступали в беседу по интересовавшим нас вопросам. Юшков рассказывал о разных тонкостях хлебной торговли, о плутнях приказчиков, обвешивании мужиков и проч.

— А вы сами обвешиваете?

— Никогда.

Юшкову я рассказывал про организацию хлебного дела в Америке, читал ему выдержки из прекрасного сочинения профессора Орбинского, командированного для изучения хлебной торговли в Америку. То, что мы так тяжело перечувствовали на своих плечах, там давно было устранено. Элеваторы, слово у нас до сих пор для многих синонимичное сло-

вам жупел и металл, давно вошли там в плоть и кровь народа. Провоз хлеба из любого пункта Америки в любой пункт Европы стоит 34 коп., а у нас до границы только чуть ли не вдвое обходится. Среднее удаление сельскохозяйственной фермы от станции сбыта там 15 верст, у нас 75. Там уравнительный тариф, дающий возможность перевозить дешевый груз, как хлеб, на громадное пространство, а у нас $^{1}/_{30}$ с пуда и версты, все равно, везешь ли 20 верст, или 2000. Там агрономические станции, сельскохозяйственные школы, земледельческие клубы, частные общества землевладельцев, на общие средства выписывающие и новые семена и новую породу скота, у нас редкие единичные потуги среди общего отрицательного отношения к делу, отсутствие всякого агрономического образования, даже того, какое было при крепостном праве; вместо хлебной торговли возмутительное кулачество и грабеж.

Незаметно доехали мы и до цели путешествия — Рыбинска. Громадное здание биржи с террасой на Волгу, ее покупщики со всех концов России, порядки,— все произвело на меня приятное, ласкающее впечатление.

В полчаса, сидя на террасе и любуясь Волгой, продал я весь свой хлеб.

С покупщиком-купцом из одного дальнего города свел меня биржевой маклер. Телеграммы о ценах были у него и у меня в руках. Проба моего хлеба лежала перед нами на столе. Мы не сходились в гривеннике на четверть. Купец говорил:

— Прошу вас, не настаивайте.

Я говорил:

— Право, не могу.

— Прошу вас,— говорил купец, хлопая меня в сотый раз по руке.

— Право, не могу,— отвечал я, усердно пожимая руку купца.

— Ну, пожалуйста...

— Не могу.

Молчание.

— Так как же?

— Право, не могу.

— Пожалуйста...

И т. д.

Наконец пришел маклер и разбил грех пополам. Ударили в последний раз по рукам и пошли молиться богу в соседнюю комнату.

Перед громадным образом спасителя купец три раза перекрестился и положил земной поклон. Потом он обратился ко мне и, протягивая руку, проговорил:

— С деньгами вас.

Я ответил:

— Благодарю. А вас с хлебом.

— Благодарю. Что ж, чайку на радостях выпить надо?

Мы отправились в ближайший трактир, куда пришел и маклер, «раздавили» графинчик, закусили свежею икрой и выпили по бесконечному количеству стаканов чаю. Обливаясь десятым потом, выбрались мы наконец на свежий воздух.

Через два дня я уже возвращался домой.

Юшков еще остался сдавать гречу.

Возвращался я вполне довольный своим опытом. Хлеб я продал на 17 копеек дороже против цены, бывшей в то время в нашем городе. Это составляло 25%.

Купец, приобревший мой хлеб, покупал, конечно, не для себя и тоже, вероятно, постарается заработать процентов 25. Что было бы, если бы из этих 50% попадало 30% в карман производителя, читатель? А то, что можно бы было хозяйством заниматься, хлеб сеять, а не разоряться.

VIII

ПОЖАРЫ

Когда я подъезжал к деревне, мечты далеко унесли меня.

Я делаю доклад земству. Земство, проникнутое сознанием необходимости устройства элеваторов, командирует меня в Америку для изучения элеваторного дела. Я — организатор первого элеватора на Соку. Наш элеватор постепенно приобретает доверие покупателей. Я еду в Лондон и вхожу в непосредст-

венные сношения с англичанами. Вместо семидесяти копеек за пуд пшеницы мы получаем рубль пятьдесят копеек. Хозяйство становится в совсем другие условия, делается выгодным делом. Моя Князевка уже большое село с церковью, сельскохозяйственною школой, с агрономическою станцией. Удешевленная железная дорога идет от села к элеватору. Десятина благодаря разным усовершенствованиям дает четыреста пудов. Князевцы давно собственники. Теперешние взрослые — глубокие старики, их сменили ученики моей жены и мои. Предрассудок уже не мешает им вступать в отчаянную борьбу с окружающею природой и не грех, как теперь, а искупление за грехи будут испытывать они при такой победе.

— А слыхал, сударь, про несчастье у вас? — спросил ямщик, повертываясь ко мне на козлах.

Сердце упало во мне. Я ненавижу это слово «несчастье»,— оно бросает в жар и холодный пот, поселяет в душе смутный ужас и сжимает грудь предчувствием чего-то тяжелого, страшного.

— Какое несчастье? — спросил я, чувствуя, что кровь отливает от моего лица.

— Мельница с молотилкой сгорела.

Точно камень свалился с души.

— Какое же это несчастье? — спросил я повеселевшим голосом.— Несчастье, когда кто умрет,— не воротишь, а мельница сгорела, так только и всего, что выстрою новую.

— Известно, так. Это наш брат сгорит — беда, а тебе что? Сказал слово — опять будет мельница.

— Отчего же она сгорела?

— Господь ее знает,— многозначительно ответил ямщик.

— Подожгли? — спросил я.

Ямщик молчал.

— Кому бы жечь? — проговорил я.

— И мы тоже баим: никому, кажись, не досадил.

— Положим, злой человек всегда найдется.

— Коли не найтись. И то сказать: не солнышко, всякого не обогреешь.

— Кому ж какая в том корысть? — продолжал я выспрашивать.

— Да ведь собака не для корысти, а для боли грызет.

— Будто и зла никому не делаешь...

— Какое зло? Другой одними штрафами как доймет, а ты ведь копейкой никого не штрафовал.

— За что же жечь меня? Жечь, так уж такого, как Семенов, от которого никому житья нет,— его не жгут, а меня жгут.

— Поди ж ты,— ответил ямщик.

— А может, просто неосторожность?

— Шутя. Долго ль до греха? Бросил сигарку и готово. Нынче — ты гляди — от земли не видно, а тоже сосет сигарку-то.

Мужики встретили меня смущенно.

— Здравствуйте, старики,— весело поздоровался я с ними.

— Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, сударь.

— Все ли живы-здоровы?

— Слава богу. Вашей милости как ездилось?

— Ничего, слава богу, хорошо. Денег вам привез. Зимой, как отдавали хлеб, не верили, а с пуда-то больше гривны вам придет?

Князевцы недоверчиво почесывались.

— Вот ты, Исаев, много ли мне зимой продал?

— Да близко к сотне будет.

— Ну, вот красненькую и получишь.

— О?

— Верно.

— Да за что?

— Я же вам объяснял зимой, что себе только за труды возьму, а остальные вам отдам.

— Не за что быдто: твое счастье.

— Я свое уже получил с вас за землю, остальное ваше,— ваш труд, ваша работа.

— Два раза быдто не приходится,— согласился Исаев.

— Не приходится! — весело ответил я.— На всю деревню больше пятисот рублей достанется.

— О? — пронеслось в толпе.

— Ну, дай бог тебе.

— Пусть и тебе господь так помогает.

— Да спасет тебя царица небесная.

— Барина нам господь какого дал! Сколько жили, такого не видали,— сказал Петр Беляков.— Кажись, на такого барина бы радоваться только...

Петр запнулся.

— А его сожгли,— хотел сказать я веселым голосом, но голос помимо меня дрогнул.

Толпа потупилась.

— Сожгли ли? — спросил я.— Разве я заслужил перед вами, чтобы меня жечь?

— Где заслужил! — горячо сказал Петр.— То ись, умереть — такого барина не нажить.

— Народ плох стал,— сказал Елесин.— Правды вовсе нет. Ты ему добро, а он норовит по-иному. Не сообразиться с ними. Неловко, чего и говорить. За твою добродетель в ножки бы тебе кланяться.

— Так вы думаете, что сожгли?

— Сумнительно,— ответил Елесин, потупившись.

— Э, пустое! — сказал Исаев, повеселевшим голосом.— Ну, кому жечь-то? за что? знамо, ночью схватило,— ну и думается. А по мне просто печники, что кирпичи делали и спали поблизости, как-нибудь сигарку уронили в солому.

— Оно, положим, что с вечера они маненько выпивши были.

— Эх, и напугались же мы,— сказал Керов.— Так и думали, что все сгорим. Ветер-то прямо на деревню — искры так и сыпет. Повыскакали, как были, из изб, глядим, а от страха и не знаем, чего делать,— к тебе ли бежать, свою ли животину спасать.

— К тебе побегли все до единого,— сказал староста,— всю ночь промаялись.

— Откуда же загорелось?

— От соломы пошло, с кирпичного завода.

— Лифан Иванович, по-твоему, какая причина? — спросил я.

— Надо быть, от кирпичников грех: выпивши с вечера-то были.

— А они что говорят?

— Знамо, что — отпираются.

Позвал я кирпичников. Путаются, ничего не добьешься.

— Да говорите толком,— искать не стану.

— Господь его знает, может, и от нас грех.

— Так бы давно,— облегченно заговорила толпа.— Развязали грех — и ладно. А то и нам неловко, и барину быдто сумнительно.

— Мне-то, положим, не сомнительно,— ответил я,— я и минуты не погрешил, чтобы подумать на кого-нибудь. Просто несчастный случай — и конец. Ступайте с богом и не сомневайтесь.

Все ж таки какое-то неясное, неприятное чувство осталось в душе. Мы с женой порешили, что был несчастный случай; всякому я рот зажимал с первых же слов, говоря, что это несчастный случай, а все-таки на душе было неприятно.

Сгорело тысяч на десять.

Я ничего не страховал. Происходило это, главным образом, по беспечности русской натуры: «авось не сгорит». Но после пожара мельницы я уже не мог заставить себя что-нибудь застраховать по другой причине: мне казалось, что, застрахуйся я теперь, я показал бы этим и себе и окружающим недоверие к моим мужикам. Конечно, это было высоко непрактично с моей стороны, но побороть этого я не мог в себе. Во всех отношениях к крестьянам я стремился к тому, чтобы вызвать с их стороны доверие к себе, а для этого и сам старался показывать им полное доверие. Страховка же, по моему мнению, шла бы вразрез со всем моим образом действий.

На замечание одного князевца, зачем я не застрахуюсь, я ответил:

— И не думаю. Стану я вас перед чужими деревнями срамить! Чтобы сказали: «Князевский барин от своих страхуется»?

— Свои-то не сожгут. Странние...

— Ну, а странние-то и подавно не сожгут,— отвечал я.

Мало-помалу все пошло своим чередом.

Крестьяне, получив прибавку за проданный зимою хлеб, повеселели и довольно охотно вспахали пар без предполагавшихся урезок. Прошла уборка, наступила молотьба. У крестьян был очень плохой урожай. У меня благодаря перепаханной земле, хлеб

был выдающийся. Немцы — и те удивлялись. Пришлось строить новые амбары, так как старых не хватало.

— Эх, и хлеб же господь тебе задал нынче! Как только совершит,— говорили крестьяне.

— Да уж совершил,— почти в амбаре весь, — отвечал я.

Подсолнухи уродили до двухсот пудов на десятину.

Я насеял их с лишком сто десятин. Средняя рыночная цена за пуд была рубль тридцать копеек.

Пришлось для них выстроить громадный новый сарай и, за неимением другого материала, покрыть соломой. Чтобы было красивее, я покрыл его по малороссийскому способу. Каждый день, просыпаясь, я любовался в окно на мою красивую клуню, напоминавшую мне мою далекую родину. Наконец и последний воз подсолнухов был ссыпан. Всего вышло восемнадцать тысяч пудов.

Был день крестин моего сына и девятый день родов жены. По этому поводу мы устроили вечер, на который, кроме знакомых уже читателю соседей, приехал из города руководивший моим делом по наследству присяжный поверенный с женой. Вечер прошел очень оживленно.

Дело подходило к ужину. В столовой стучали тарелками. У Синицына с присяжным поверенным завязался оживленный спор. Синицын доказывал, что Константинополь России необходим. Присяжный поверенный слушал и вместо ответов смеялся тихим беззвучным смехом.

Синицын кипятился:

— Если, кроме смеха, у вас нет других аргументов для доказательства, что Константинополь не нужен, то, согласитесь, это еще не много!

— Да тут доказывать нечего,— к чему он нам?

— Да хоть бы...— начал Синицын.

— Для виду,— поддержала его жена присяжного поверенного.

— Да хоть бы для того,— продолжал Синицын, пропуская шпильку,— чтобы прекратить возможность наносить нам постоянный вред вмешательством в дела Балканского полуострова.

— Полноте, какой там вред и кто мешается? Сами мы во все мешаемся и лезем туда, где нас не спрашивают.

— Но, позвольте, вы не хотите признавать фактов. В настоящее время положение таково, что любой заграничный листок одним намеком на восточный вопрос может колебать нашу биржу. Кому надо, тот и играет на этой слабой нашей струнке.

— Вот, вот, вот! Вольно же вам создавать себе слабую струнку! Откажитесь от нее — никто и не будет играть. Ясно, кажется.

— Но ведь так и от отца с матерью отказаться придется.

— Зачем же такая крайность?

— Константинополь,— упрямо стоял на своем Синицын,— нам необходим: иметь Черное море отпертым — это значит иметь двор без ворот. Константинополь — это ворота в Черное море, которое в силу географического положения нам необходимо, а раз оно необходимо, необходимы и ворота. Это сознаем и мы, русские, и вся Европа. Упрекать нас за это в жадности нет основания, как нельзя человека с большим ростом упрекать за то, что он не может улечься в детской кровати. В материальном отношении невозможность обладать Константинополем стоила и будет стоить нам страшных жертв,— сверх тех вековых, кровью и деньгами, какие русский народ уже принес для достижения своей цели. Да и в нравственном, наконец, отношении мы не можем же отказаться от заветной цели наших предков, не можем под страхом быть заклейменными нашими потомками именем жалких и недостойных трусов.

Присяжный поверенный откинулся на спинку кресла и долго беззвучно хохотал.

— Сорок лет тому назад,— сказал Синицын,— всякий русский так думал, а теперь это смешно.

— Сорок лет тому назад это было понятно, а теперь это смешно,— ответил присяжный поверенный.

— Русскими перестали быть, европейцами сделались? — язвительно спросил Синицын.— А по-моему, лет через пятнадцать все опять так станут думать, как думали сорок лет назад.

— Вы хотите сказать, что общество подвергнется ретроградному развитию, на манер некоторых инфузорий? Что ж, это бывает,— ответил присяжный поверенный.

— Ужинать подано.

За ужином продолжался разговор на ту же тему. Чеботаев говорил, что Константинополь нужен, но настоящее время таково, что сознание этой необходимости надо спрятать подальше.

— У нас нет ни средств, ни сил для достижения этой цели. Последняя война нам ясно показала, куда мы годимся. Да и политическое положение в Европе не таково, чтобы лезть в какие бы то ни было предприятия.

Синицын стоял на том, чтобы сейчас брать Константинополь.

— Никогда войны не разоряли. Вы вашею свободною торговлей разорили Россию в двадцать лет больше, чем все войны от Петра до последней кампании вместе взятые.

Леруа помирил всех:

— Господа,— начал он, заикаясь,— все это ерунда. Позовут — будем драться, а пока не позвали, выпьем за здоровье хозяйки, хозяина и наследника. Ура!

Я поднялся было, чтобы отвечать тостом за гостей, как вдруг зловещее зарево осветило окна. Точно по волшебному мановению ночь превратилась в день, и из мрака, рельефно выдвинулись залитые кровавым светом двор с его постройками, сад, деревня, пруд, мельница. Мой амбар с подсолнухами ярко пылал. Громадный столб пламени с страшною силой поднимался сначала вверх, затем под напором ветра загибался по направлению к усадьбе, осыпая дом, сад, постройки мириадами искр.

Я бросился к жене.

— За что это? — тихо спросила она, сделавшись белее полотна.

— Бог им судья...

Что-то сжимало мне горло.

Гости засуетились и бросились во двор.

— Надя, дорогая,— говорил я жене, стучавшей как в лихорадке зубами.— Успокойся, ради бога.

В денежном отношении это двадцать пять тысяч, да хоть бы и больше, хоть бы и все состояние, что это для нас? Разве наше счастье деньги? Лишь бы ты да детки были здоровы, да правда была бы с нами, а там пусть все гибнет. Не правда ли?

— Правда, правда,— отвечала жена, едва шевеля губами от лихорадки.

— Ради бога, успокойся, помни — ты всего девять дней после родов.

— Я совершенно спокойна. Иди скорей к амбару. Все уже пошли.

— Не пойду, пока ты не улыбнешься мне, пока ясно не докажешь, что ты спокойна.

Жена улыбнулась и горячо меня поцеловала.

— Теперь я пойду,— сказал я почти весело.

Жена Чеботаева подбежала ко мне.

— Где ваши ключи? Где деньги?

— Милая Александра Павловна,— говорил я, беря ее за обе руки,— ради бога, не беспокойтесь. Никакой непосредственной опасности нет. Главное — за Надей смотрите.

Первою заботою моей было распорядиться расставить по крышам людей и тушить падающие искры. К амбару я сперва и не пошел, во-первых, за полною бесполезностью, а во-вторых, чувствуя какую-то неловкость. И только обеспечив усадьбу, я, наконец, отправился к месту пожара. Сарай догорал. От подсолнухов, горящих очень быстро, остались одни обугленные кучи.

Помню, как сквозь сон, кучку гостей о чем-то толковавших и при моем появлении смолкнувших и с каким-то сожалением осматривавших меня; помню эту толпу мужиков, спокойно стоявших, но вдруг, завидев меня, бесполезно засуетившихся; помню Ивана Васильевича, что-то растерянно раскидывавшего лопатой и всхлипывавшего, как баба. Ему вторило несколько голосов из толпы. Я сознавал, что глаза всех гостей устремлены на меня. Под этим общим взглядом я ощущал какую-то неловкость. Я старался принять спокойный вид и, помню, очень пошло сострил насчет фейерверка. Никто на мою остроту не отозвался, неловкость усилилась, я стоял поодаль от всех один. В глазах этих людей я был

в положении человека, нежданно-негаданно получившего пощечину. Справедливо или несправедливо дана она — один бог знает. Самый лучший друг, и тот в такие минуты невольно усомнится и будет начеку, а от этих чужих, в сущности никогда не сочувствовавших моему делу людей ничего другого и ждать нельзя было. Все это я понимал, но тем не менее это безучастное равнодушие раздражало меня. В своих собственных глазах я похож был на человека, который пришел для решения известного вопроса, подготовив все данные решить его в известном смысле, и вдруг увидел, что вопрос уже решен совершенно не так, как он желал этого, никаких данных не требуется, и на всю работу поставлен несправедливо крест... Гадко и пошло было на душе.

— Да не войте, черт вас побери! — закричал я на Ивана Васильевича.

Всхлипывания прекратились, и Иван Васильевич уже спокойным, равнодушным голосом стал ругать какого-то мужика. Я избегал смотреть на толпу. В первый раз закипало в душе против крестьян недоброе чувство. Я уговорил гостей идти в комнаты и продолжать ужин.

За ужином гости из деликатности говорили, что пожар произошел от неосторожности, говорили о невозможных условиях хозяйства, и, уезжая, каждый, пожимая мою руку, от души советовал ехать служить. Когда уехали гости, я позвал Сидора Фомича.

— Скажи, Сидор Фомич, поджог это?

— Ох, и не знаю, как сказать! И погрешить боюсь, и... Народ нынче ненадежный,— правды вовсе нет.

— Ну, кто же?

— Уж если грешить, никто, как богатеи...

— Да ведь они уж целую неделю как уехали.

(Они занимались обратною перевозкой своего имущества из тех мест, куда хотели переселиться.)

— И то...— недоумевая, согласился Сидор Фомич.

На другой день проснулся я под страшно давящим чувством тоски. В окна видна была вся картина вчерашнего пожара.

Я вышел. Почти вся деревня толпилась тут.

— Отчего загорелось? — спросил я угрюмо.

— Господь его знает,— потупившись, ответили некоторые.

— Поджог?

Мужики молчали. Я смотрел на них, и невольное чувство злости и ненависти охватывало меня. Сознание этого нового чувства было невыносимо тяжело. Я всматривался в их лица и с тоской вспоминал то недавнее прошлое, когда глаза их открыто и приветливо смотрели прямо на меня. Теперь они смотрят в землю. Чувствовалось, что все то общее, что нас связывало, рвется, как гнилая веревка.

Федор Елесин поднял на меня свои строгие, но чистые и светлые глаза.

— Неповинны мы, сударь, в твоем горе. Господь посылает,— любя или наказуя, не нашему грешному уму разобрать это дело. Его святая воля, а только мы неповинны.

— Видит бог, неповинны,— горячо подхватил Петр Беляков.

Два чувства к крестьянам боролись во мне,— новое, вчера только зародившееся, и старое, то, с которым я приехал сюда и с которым сжился после четырехлетней поверки. И, конечно, последнее победило. Что-то точно поднималось в моей груди все выше и выше и вдруг будто прорвалось через какую-то плотину. Все злое вдруг отхлынуло, и страстная, горячая тоска по прежнем чувстве к крестьянам охватила меня. Я захотел опять верить, любить и жить тем, с чем сроднилась уже моя душа, что я считал целью всей своей жизни.

— Правду вы говорите? — спросил я дрогнувшим голосом.

Толпа подняла на меня глаза, и, прежде чем я услышал ответ, я уже знал его и верил ему; то, что за минуту представлялось гнилым канатом, показалось теперь мне сталью, иначе так не могли бы светиться сотни глаз сразу.

Посыпались горячие, искренние уверения толпы. Приводились неотразимые доводы: амбар был всего в саженях пятидесяти от деревни; хотя тянуло на

дом, но искры неслись и на село, никто из своих, конечно, не мог подвергнуть свою же деревню риску сгореть.

С другой стороны, много было вероятий поджога. Большинство останавливалось на мысли, что поджег кто-нибудь из посторонних. Я терялся в догадках.

Прошла неделя. Жена очень плохо поправлялась. Мы решили на время уехать куда-нибудь на юг для поправки. Дела хоть и пошатнулись, но оставалось еще тысяч двадцать пудов хлеба в трех амбарах, стоявших в саженях двухстах от усадьбы. Я объявил наемку подвод для отправки хлеба в город с завтрашнего дня.

С вечера мы весело толковали о предстоящей поездке.

— Хорошо иметь чистую совесть,— ее не пожгешь,— были последние слова жены, с которыми она заснула.

Только мы заснули, меня осторожно будят. Приученная прислуга уже не бросалась, как при пожаре мельницы, с отчаянным криком «пожар», но осторожно толкала меня, тихо говоря:

— Сударь, амбары горят.

Первым делом я бросился, конечно, к жене. Она уже проснулась и на вид была совершенно спокойна. Мы подошли к окну. Знакомая картина, с тою разницей, что все было бело кругом от первого выпавшего с вечера снега.

Далеко-далеко рельефно выделялись горящие амбары, а вокруг них точно прыгали и плясали люди. Толпа все росла и росла. По дороге из села вереницей бежали крестьяне: кто с топором, кто с лопатой, а кто и просто без ничего, размахивая на бегу руками.

Горничная рассказывала, что нашли следы поджога — жердь с намотанною паклей, воткнутою в крышу.

Я постоял и лег снова на кровать. Унижение, тоска давили грудь. Я хотел в эту минуту перенестись куда-нибудь далеко-далеко от этих злых и холодных людей, поближе к тем, которые греют и любят, пере-

жить, как мальчиком, те минуты, когда, оскорбленный грубо и незаслуженно новыми товарищами на первых порах учения, изливал я матери свои накипевшие детские страдания и вдруг, чувствуя, что понят, не выдерживал и горько рыдал на ее груди. А она тихо и ласково гладила мою всклокоченную голову и говорила, говорила... Слезы высыхали. Весь еще взволнованный и встревоженный, я прижимался еще ближе к ней, глаза пристально впивались в какую-нибудь точку, я жадно слушал, а сладкое чувство удовлетворения, утешения, любви и прощения уже закрадывалось в грудь. И я уже мечтал, как добром я отомщу врагам за сделанное зло.

— Зачем падать духом? — тихо проговорила жена, наклоняясь ко мне. Ее рука ласково и нежно гладила мои волосы.

Я не выдержал и разрыдался, как ребенок.

— Мне не жаль, пусть все бы пропало, но тяжело, что люди так злы. За что?

Слезы облегчили и успокоили. Я оделся и поспешил к пожару.

Я приучил уже народ к тому, чтобы воем и криком не выражали мне сочувствия, поэтому при моем появлении все спокойно продолжали свою работу. Я стоял поодаль и смотрел. На душе было пусто, как после похорон.

Я пошел ближе к пожару. Толпа силилась отстоять два остальные амбара. Несмотря на то, что крыша на одном из них уже загорелась, толпа с Иваном Васильевичем во главе смело лезла в самый огонь. Лицо и бакенбарды Ивана Васильевича обгорели, он был мокрый, как вытащенная из воды курица, но, несмотря на все, он лез в самое пламя, неистово крича:

— Воды! Лей на голову!

Надежда спасти что-нибудь разбудила и мою энергию. Я потянулся за толпой, взобрался на горевшую крышу и энергично стал помогать Ивану Васильевичу. Народ точно потерял страх к огню и способность обжигаться. Голыми руками хватали горящую солому и сбрасывали ее вниз, рвали лубки и рубили стропила. Так как хлеб был насыпан до самого верха, то ходили по нем, как по полу. Чуть не вся деревня

столпилась на пространстве нескольких квадратных сажен.

Через час оба амбара были вне опасности. Я, совершенно мокрый, пошел домой переодеться. Примиренный в душе с крестьянами, видя их содействие, я успокаивал жену, делал предположения, что это дело чьих-нибудь одних рук. Не успел я выпить стакан чаю, как горничная вбежала с известием, что амбары опять загорелись и на этот раз снизу.

Я бросился к пожару. Рядом со мной бежал мой кучер.

— Солому, сударь, подбили под амбары, должно быть, как с крыши сбрасывали — она загорелась. Теперь не потушить.

— Да ведь я Пиманову поручил следить, чтобы солома как-нибудь не попала, двадцать человек около него было помощников.

— Должно, не доглядели, зазевались на верх.

Старик-караульщик, завидев меня, бросился с воплем навстречу.

— Батюшка, сударь, не виноват!

Его испуганный, показавшийся мне фальшивым крик как ножом резнул меня по сердцу.

— Четвертый раз, подлец! — закричал я, со всего размаху ударив его по лицу.

Караульщик упал.

— Кто подбросил под амбар солому?

— Не виноват, батюшка, не виноват! — кричал караульщик.— Божье наказание, нет моего греха!

— Врешь, подлец, говори правду! От меня никуда не уйдешь! Говори правду: кто подбросил?

— Никого не видал, никого. Видит бог, никого. Лопни мои глазыньки...

— Хорошо, голубчик, найдем на тебя расправу.

Караульщик вытирал кровь, выступавшую из носа.

— Как ты меня расшибил,— говорил он спокойным голосом, как будто не его били.— Вовсе задаром. Нешто против бога я волен? Неужели грех такой приму на душу?

Я ушел от него.

Спасения не было, амбары горели снизу, куда забраться было немыслимо. Хлеб, конечно, не мог сго-

реть, как материал, почти не горящий, но, пропитавшись гарью, делался никуда не годным, даже свиньи такой хлеб не ели. Толпа в моих глазах держала себя так, как пойманная: она апатично и лениво делала свое дело.

Иван Васильевич шепнул, проходя мимо меня:

— Не троньте их, как бы греха не случилось.

Я только теперь сознал опасность своего положения. Один с своею семьей, ночью, вдали от всякой помощи, среди этих людей, пошедших, очевидно, напролом...

«Так вот чем кончилось мое дело!» — мелькнуло у меня в голове.

Тяжелое, невыносимое чувство охватило меня,— это был не страх, а скорее какая-то смертельная тоска, какую никакими словами не передашь. Эти добрые, простые с виду люди оказались просто гнусными, недостойными негодяями, тупо и бессмысленно разбивающими свое собственное благо. Вести дальше дело нельзя было уже по тому одному, что не было больше средств. Цель этих пожаров, очевидно, состояла в том, чтобы привести меня к этому положению. Цель блистательно достигнута. Завтра, послезавтра я должен буду удалиться, уступив место моим торжествующим противникам. С тупым злорадством проводят они меня, торжествуя свою победу,— победу, состоящую в том, чтобы снова отдать себя в кабалу какому-нибудь негодяю. А Леруа скажет: «Дурак, ограниченный человек!» Чеботаев снисходительно назовет «увлекающимся идеалистом с детским взглядом на жизнь». Белов скажет: «Я говорил, что с нашим народом нельзя иметь дела». Они будут правы, потому что они остаются, а я должен уйти. Должен!

Ножом резнуло это слово. В первый раз я понял силу, безвыходность, неумолимость этого слова. Раньше были положения, когда я добровольно и гордо, не ощущая безвыходности, делал тот или другой выбор. Я не ужился с аферистами и, ни секунды не задумываясь, бросил их; мне предложили в действующей армии принять землю вместо щебня,— я в тот же день уже сидел на пароходе и, как больной, эвакуировался в Россию,— везде был доб-

ровольный выбор. Здесь его не было. То, что я полюбил, как свою жизнь, я должен был бросить, и никакого другого выхода не было.

Негодяи знали, что делали, и делали безжалостно. Что им до меня, до моей семьи, до моего горя, до моих целей,— лишь бы им на пять минут показалось, что так лучше, что и этого проучили так же, как князя, Юматовых, Николая Белякова...

Понятно, что все эти мысли вызывали во мне озлобление и страстное желание отомстить — поймать поджигателей. В первый раз я испытывал это сладкое чувство — возможность мстить.

«Прежде всего и самое главное — спокойствие,— говорил я сам себе, ходя взад и вперед возле амбаров.— Теперь ночь. Если я выдам свои намерения отыскивать поджигателей, это будет последнею искрой в порохе. Надо, чтоб они не догадались об этом». И почти со спокойным лицом я подошел к толпе.

— Вот жердь, вот кудель намотанная, которую я успел, прибежавши, потушить,— говорил Сидор Фомич.— На снегу следы были от сапог с подковками, только народ притоптал...

— Ну, что ты мне суешь жердь? —сказал я равнодушным и пренебрежительным тоном,— точно по этому я что-нибудь найду! Вот чего стоит твоя жердь! — сказал я, бросая ее далеко в поле.

Толпа удивленно смотрела на меня.

— Да хоть бы и нашел я поджигателя,— что мне, легче бы стало? Воротит он, что ли, что сжег? Вот если б я тут на месте накрыл его...

Я задохнулся от охватившего меня чувства.

Толпа заволновалась.

— Да если бы собаку тут захватить, неужели же пожалели бы?

— Да прямо его в огонь бы.

— А теперь, знамо, где его сыщешь? Ни руки, ни ноги он своей не оставил...

— Грешить только станешь...

— Дело божье, видно,— покориться надо.

— Надо покориться, сударь,— говорил Федор Елесин,— от пожару никто еще не разорялся, а виноватого господь сыщет.

— Сыщет,— уверенно подхватила толпа.— Человек не найдет, а бог найдет.

Начались рассказы каждого, как его жгли, как он оставлял все на волю божию, как сжегшего в конце концов постигала кара божия, а они-де, рассказчики, и посейчас лучше прежнего живут.

— Покориться надо.

Я с отвращением слушал это, как мне казалось, наглое издевательство надо мной,— жгут, негодяи, без передышки, как кабана какого-то, и предлагают еще покориться. Кому? Мерзавцам, постановившим какое-то нелепое решение и преподносящим его мне как решение бога!

Народ успокоился, повеселел, а я нетерпеливо ждал рассвета. Наконец стало совсем светло.

Наехала масса народа из соседних деревень. Мой план был готов.

— Довольно тушить! — крикнул я повелительным тоном.

Толпа озадаченно остановилась и посмотрела на меня.

— Никто не двигайся с места!.. Садковский староста, возьми шесть понятых. Готово? Вот в чем дело. Меня сегодня ночью два раза сожгли; есть следы поджога — следы ног, кудель и жердь. Сидор Фомич, принеси жердь, вот она лежит. На ней намотана кудель. Следы были, но их затоптали, тем не менее они должны сохраниться где-нибудь подальше, в нетронутом месте. Стойте все смирно, я один пойду.

Отойдя саженей на двадцать, пошел по окружности вокруг амбара. Ясный, отчетливый след в деревню остановил мое внимание.

— Сидор Фомич! такой след ты видел у амбара, когда прибежал?

Сидор Фомич подошел, осмотрел след и сказал:

— Боюсь погрешить, а как будто тот самый. Лифан Иванович, Федор видали тоже.

— Позовите и их,— приказал я.

— Надо быть, тот самый,— он самый... с подковкой.

— Так и есть, вот подковка,— сказал Сидор Фомич, рассматривая след за несколько шагов дальше.

В сапогах с подковкой ходили только молодые парни. Я приказал принести все сапоги, бывшие в деревне, перечисляя имена тех парней, которые приходили мне в голову. Уже посланные ушли исполнять мое поручение, а я в раздумье стоял и припоминал, не забыл ли я кого из парней.

«Поймать, поймать, во что бы то ни стало поймать! — стучало мое сердце раз сто, если не больше, в минуту.— Не дать негодяю уйти от заслуженной кары, не дать ему торжествовать гнусную победу!» И мне представлялся торжествующий негодяй, собиравшийся сегодня весело праздновать свой храмовой праздник (это было 1 ноября, день Кузьмы и Демьяна — храмовой праздник моей деревни). Я представлял его сидящим в кругу родных и приятелей за столом, весело подмигивающим в сторону усадьбы и злорадно улыбающимся.

Я поднял глаза и замер... Тот взгляд, который только что рисовался в моем воображении, я увидел в молодом Чичкове, злорадно и пытливо смотревшем на меня. Встретившись глазами со мной, он быстро опустил их и принялся работать лопатой. Я впился в него. Чичков еще раз вскинулся на меня и еще растеряннее и быстрее начал работать. Все стояли без движения, один он усердно бросал негодное зерно на хорошее, то есть делал совершенно бессмысленную работу. Страннее всего то, что я забыл назвать его в числе тех, которых сапоги я велел принести. Теперь я заметил, что Чичков был одет с иголочки: на нем были чистенькие лапти, чистый полушубок; в противоположность всем, его лицо было чистое, умытое, волосы смазаны маслом. Не спуская глаз, я подходил все ближе и ближе к нему. Он понимал и видел боковым взглядом, куда я иду, но усиленно не замечал меня.

— И Чичкова сапоги,— сказал я.

— Зачем мои сапоги? — спросил Чичков, побледнев и подымая на меня глаза.

— Потому что ты сжег, подлец! — закричал я, не помня себя.

В глазах Чичкова рябнуло.

— Богатые не жгут.

Как молнией осветило мне все.

— Ага! и отговорка готова,— сказал я.— А вот посмотрим.

— Я с Дмитриева дня не надевал сапоги.

Дмитриев день — храмовой праздник одного соседнего села — был пять дней тому назад.

— Скажи еще что-нибудь,— сказал я.

— Нечего мне говорить больше,— сказал он, совершенно оправившись.

И, бросив пренебрежительно лопату, он сделал движение уйти.

— Стой! — закричал я громовым голосом.— Ни с места, или я тебя на месте уложу!

Чичков остался.

Принесли пар тридцать сапог. Довольно было одного взгляда, чтобы понять все. В то время, как все сапоги были серы, с кусками высохшей на них грязи, одна пара выделялась из всех своим черным цветом.

— Чьи сапоги? — спросил я, беря их в руки.

— Чичкова,— ответил староста.

— Понятые,— обратился я к ним,— посмотрите — сапоги мокрые,— он говорил, что надевал их на Дмитриев день последний раз.

— У нас теленок под лавкой, он и намочил сапоги,— отвечал Чичков.

— Хорошо, и твоего теленка посмотрим.

Стали примеривать сапоги к следу. Чичкова пришлись точка в точку. Шаг за шагом добрались мы до моста, где след, выходя на большую дорогу, пропадал в массе других. Мы направились к избе Чичкова. От дороги к избе опять показался тот же след, но двойной — от калитки к дороге и обратно.

— Туда, значит, шел большою дорогой,— пояснил Сидор Фомич,— а назад прямиком пошел.

У самых ворот Чичков быстро пошел в избу.

— За ним, старики,— крикнул я,— он идет поливать под лавкой!

Я и другие побежали за ним. Мы вошли вовремя: Чичков с ковшом в руках стоял возле лавки, собираясь плеснуть.

— После, после плеснешь,— остановил я его за руку.

— Что такое? в чем дело? — подошел ко мне старик Чичков с невинною физиономией, точно ничего не знал.

— Вон, мерзавец! — закричал я.— Морочь других. Скоро, голубчик, сведем с тобой счет... Ну, теперь со следом покончено, остается жердь и пакля.

Сидор Фомич прокашлялся и выступил.

— Жердь, сударь, не с крыши, а с хлебника. Если б она была с крыши, один бок ее был бы пригнивший, соломка к ней пристала бы, а она сухая и ровная. Не иначе, как с хлебника, а паклю надо сличить (в каждом доме своя пакля, что зависит от силы, с какою выбивают: сильный бьет — кострига мелкая, слабый — кострига крупная).

Потребовали паклю у Чичковых, сличили, и все признали ее однородною с тою, которая была намотана на жердь.

Оставалось отыскать место, откуда была взята жердь. По указанию Сидора Фомича, отправились на хлебник Чичкова. В том месте, где с большой дороги сворачивала тропинка к хлебнику, снова обозначались следы, какие были около амбаров. Посреди хлебника стоял омет соломы, придавленный рядом жердей, попарно связанных. Одна только жердь не имела с другой стороны подруги, и мочальная веревочка, служившая для привязки другой жерди, как флажок, болталась на верхушке. На омете сохранился свежий след другой, взятой жерди.

Присутствующие стояли пораженные неотразимостью доказательств. У молодого Чичкова, до сих пор бодрившегося, обнаружился полный упадок духа. Его худое лицо как-то сразу осунулось и почернело. Черные маленькие глаза перестали бегать по сторонам, безжизненно и бесцельно смотрели вперед.

— Что, Ваня,— ласково обратился к нему староста,— видно, греха нечего таить, признаваться надо?

Чичков нерешительно молчал. Мужики пристали к нему:

— Не томи, родимый, развяжи грех. Некуда, видишь сам, деваться.

После долгого молчания Чичков заговорил:

— Неповинен я, видит бог, что неповинен. Вижу

сам, что пропадать приходится; здесь пропаду, там зато спасусь...

— Врешь,— оборвал я его.— Там не спасешься. Здесь еще надуешь дураков, а бога-то уж не обманешь. Здесь тело погубишь, а там и душу.

— Чиста моя душенька,— вскинул на меня глазами Чичков.— Будет она в раю, и неугасимая свеча будет гореть перед ней.

На мгновение я смутился от его твердых, убежденных слов, но, вспомнив, что эта излишняя вера и чуткость и погубили все дело, ответил:

— Хорошо. Дело твоей совести — запираться или нет, надувай других, а меня не надуешь. Чтобы пресечь возможность тебе сговориться с родными и заодно отвечать с ними, я тебя сейчас же арестую. Отправляйся на барский двор и во флигеле жди следователя.

— Я не пойду,— ответил мрачно Чичков.— Вы не смеете без власти меня сажать под надзор.

— Если я говорю, так смею. Не пойдешь волей, силой поведу, силой не дашься — на месте уложу.

— Иди, Ваня,— сказал старик Чичков.— Господь оправдает нас.

Ивана Чичкова увели во флигель, посадили в отдельную комнату и приставили двух караульщиков. Я послал два заявления: одно— становому, другое — следователю.

До стана было верст пятнадцать, к следователю двадцать.

Старик Чичков делал отчаянные попытки пробраться к заключенному, но я принял надлежащие меры. Являлся он ко мне, пробовал и в ногах валяться, и к угрозам прибегать,— я его вытолкал.

К вечеру приехал урядник с известием, что становой поставил банки и сам не может приехать. Нарочный от следователя привез ответ, что следователь будет через три дня. Возмущенный, я сейчас же послал нарочного к прокурору с заявлением, что ввиду оттепели следы могут растаять, вследствие чего прошу оказать давление на следователя. С урядником же мы немедленно приступили к производству предварительного дознания. Следствие тянулось целую ночь. Я обнаружил недурные способности следователя

и привел к противоречию всех свидетелей. К сожалению, урядник был малограмотен и в конце концов почти не записал ничего.

На деревне не спали, и все были пьяны. Часа в два ночи в комнату, где производилось следствие, вбежал перепуганный Иван Васильевич и, вызвав меня и урядника в другую комнату, взволнованно сообщил, что только что приходил староста предупредить, что на деревне неспокойно, требуют выпуска на свободу Чичкова и грозят в случае неисполнения их требования сжечь усадьбу и убить меня, жену, детей и всех, кто будет стоять за нас. Закончил он просьбой дать ему отставку.

— Я вам верой и правдой служил, пока можно было. У меня у самого жена, дети...

— Дрова, свечи, сам скотина,— перебил я его, вспыхнув.— Убирайтесь к черту сию секунду, куда хотите, гнусный трус! Еще солдатом называется, на войне бывал, а струсил и растерялся до того, что от страху не знает сам, что говорит.

— Ступайте, отдайте распоряжение, чтобы не тушили, если загорится,— пусть к черту горит, чтоб никого не подпускали к тому месту, откуда начнется, пока я не приду и не осмотрю следов; никуда не денется, по воздуху не полетит, а по следам мы уже одного голубчика привели и других приведем, так и передайте.

Следствие продолжалось. Последние свидетели явились уже порядочно пьяными, так что добиться от них толку было мудрено, да и все следствие, как незаписанное, представляло мало интереса.

На урядника слова Ивана Васильевича произвели сильное впечатление.

— Ввиду исключительного положения дела,— обратился он ко мне в присутствии всех свидетелей и подсудимого,— ввиду возбуждения, я полагал бы следствие на сегодня прекратить и преступника выпустить.

— Вы с ума сошли! — закричал я, вскакивая с места, не веря своим ушам, что он говорит.

— Я попросил бы вас говорить со мною учтивее. Объявляю следствие оконченным и обвиняемого свободным.

— Объявляю вас арестованным! — заревел я, как бешеный.

— Меня? — попятился урядник.

— Да, вас, вас, не способного написать двух слов связно, не способного понять, что вы вашим идиотским распоряжением, ночью, в пьяной, возбужденной толпе можете наделать, не способного даже побороть вашу трусость, которая и побуждает вас так действовать. Единственное, что могу вам разрешить,— это дать нарочного для отправки на меня жалобы становому, что арестовал вас. Ступайте за мной в кабинет. А вы,— обратился я к свидетелям,— марш домой. Сидор Фомич! Чичкова отвести на прежнее место, у дверей встань ты, кучер и садовник. Помните, что головой мне ответите, если выпустите.

— Я протестую,— заявил довольно покорно урядник.

— На здоровье,— ответил я.

Устроив урядника в кабинете и отправив нарочного к становому, я пошел к жене.

— Надо тебе уезжать к Беловым.— И я рассказал, что делалось.

— Я никуда не поеду,— решительно объявила жена.— Во-первых, я не верю тому, чтоб крестьяне за все сделанное могли проявить такую черную неблагодарность, а если они и окажутся способными на такую гадость, то я хочу быть с тобой.

— Дети...

— Куда же я теперь с ними поеду?.. Нет, господь милостив, ничего не будет,— я не верю этому, а если уж люди действительно так злы, то пусть лучше дети разделят нашу участь. Не стоит жить на свете после этого.

— Конечно, ничего не может быть, просто Чичков делает последние отчаянные попытки,— не удастся ли? Ему теперь терять нечего, но остальные, если они не замешаны, с какой стати пойдут за ним?

— Непременно надо сказать крестьянам, что ты их не подозреваешь,— этим сразу ты лишишь почвы человека, которому если и удастся что-нибудь сделать, так только на этой почве.

— Да никогда и на этой почве ничего не удастся сделать. Я теперь совершенно успокоился.

— И я тоже,— отвечала жена.

Я посидел еще немножко, и, когда жена окончательно успокоилась и повеселела, насколько это возможно было при теперешних условиях, скорее — когда мы оба почувствовали себя легко, я встал и сказал:

— Однако все-таки надо быть наготове,— «береженого и бог бережет». Надо посмотреть, что делается во дворе.

Я вышел на двор. Сырой осенний рассвет охватил меня. Низкие тучи, погоняемые резким сильным ветром, неслись над головой. Не то шел дождь, не то моросило; снег почти весь растаял. На востоке совсем посветлело. Из мрака рельефно выделялись строения, сад; дорога черною лентой исчезала вдали.

С деревни доносились нестройные крики пьяной толпы.

Я направился к флигелю. В коридоре, перед дверью, где был заперт Чичков, сидели на полу перед керосиновою лампочкой старик-садовник, Сидор Фомич и ключник.

— Сидите, сидите,— остановил я их, когда они, увидев меня, собрались было встать.

Я подошел и тоже присел на валявшийся чурбан.

— Ну что, Павел,— обратился я к садовнику,— думал ты дожить до таких делов?

Старик, слывший за большого начетчика и философа, всегда разговаривал со мной добродушно-наставительным тоном. Я любил слушать его свободную речь.

— Грехи, грехи! — вздохнул он.— Всё от дьявола, оттого, что мало, все мало... А вот и ничего не стало — теперь лучше? Точно этим насытишься?

— А чем же насытишься? — спросил я его.

— Благодатию божиею — этим сыт будешь, а этим...— И Павел махнул рукой.— Насыпала душа полные житницы и говорит: «Ешь теперь, пей и веселися на многие лета». А господь вынул душу в ту же ночь и спрашивает: «А что, душа, где твои житницы? — иди-ка в геенну вечную». То-то оно и есть.

Еще господь жалеет, время дает покаяться, грехи свои замолить...

— Я же, значит, и виноват выхожу во всем этом деле?

— А то кто ж? — спросил спокойно Павел.— С них много ли спросится? Трава они как есть— и больше ничего, а тебе книги раскрыты... Зачем взбулгачил народ? Дьявола дразнить? Урядник дело говорил, становой приехал и разобрал бы все по закону. А не по закону соблазн один. А в Писании писано: «Аще кто соблазнит единаго от малых сих...» Помнишь? То-то!

— Эх, Павел, ничего ты не понимаешь,— начал было я.

— Все гордыня наша,— продолжал Павел, не слушая меня.— Ты его взял, а кто тебе власть дал? Твоя сила? А если он тебя возьмет? Даве сила-то на твоей была, а сейчас, может, на его сторону перейдет. Ты слышишь, как гомонит-то народ...— и вдруг Павел как-то тоскливо оборвал свой наставительный тон.— Ох, батюшки, никак сюда идут?

Мы все мгновенно вскочили и бросились к окну. Мое сердце сильно стучало.

Вдоль садовой ограды медленно, растянуто двигалась толпа мужиков к усадьбе. Крик, ругань пьяных голосов по мере приближения все больше и больше стихали.

Я стоял, точно очарованный. Мысль, что они могут явиться, ни разу не приходила серьезно мне в голову. Зачем они идут? Требовать освобождения Чичкова? А если я откажусь? Они покончат с нами... С нами? С людьми, которые только и думали, только и жили надеждой дать им то счастье, о котором они и мечтать не смели? Для чего покончить? Чтоб опять подпасть под власть какого-нибудь негодяя вроде Николая Белякова?

Передние вошли во двор и с недоумением остановились, ожидая задних.

Вон стоит пастух, сын той старухи, которой мы некогда сделали русскую печь, выстроили новую избу. Теперь эта изба, эта печь его. Куда девалась его благодушная патриархальная фигура, которою мы

так часто любовались с женой, когда, бывало, под вечер, во главе своего стада, он величественно и спокойно выступал, как библейские пастухи, неся на плече знак своего сана — длинный посох? Теперь борода его всклокочена, он сгорблен, шапка сдвинута набок, глаза скошены, в лице тупое выражение не то какой-то внутренней боли, не то бешенства. Рядом с ним стоит Андрей Михеев, которому прощено столько недоимок, сколько у него волос на голове. Он слегка покачивается; оловянные глаза без всякого выражения бессмысленно и тупо смотрят на мой дом, ноги расставлены. Он тоже ждет остальных или, может быть, старается вспомнить, зачем он пришел сюда? А вот и старый негодяй Чичков, их новый командир, что-то суетливо и спешно объясняет толпе... Вид его вызвал во мне прилив дикой злобы, смешанной с какою-то ревностью.

Я со всею моею наукой, со всею моею любовью, со всею моею материальною силой, физически уже побежден, в сущности, этим простым, необразованным негодяем. Теперь он посягает на последнее: он хочет заставить меня обнаружить и нравственную несостоятельность,— он хочет заставить меня струсить, хочет вынудить исполнить его требование. Мысль, что человек, мною лишенный былой власти над толпой, теперь опять стал коноводом ее — и где же? у меня во дворе, откуда он всегда так позорно изгонялся,— жгла меня.

«Нет, негодяй, и теперь ты недолго покомандуешь. Нет, это не твоя толпа, которую ты умел только грабить. Эти мои — и только ценою жизни я их тебе уступлю».

И, сдерживая охватившее меня чувство, я отворил дверь и стал медленно спускаться к толпе. Меня не ждали со стороны флигеля и заметили, когда я подошел почти в упор. Мое неожиданное появление, вероятно, взбешенное, решительное выражение лица произвели ошеломляющее впечатление на Чичкова. Какое-то невыразимое бешенство охватило меня. Я бросился к нему... Дальнейшее я смутно помню. Передо мной мелькнула и исчезла испуганная фигура Чичкова, и я очутился лицом к лицу с молодым Пимановым, сыном караульщика.

— Почему твой отец не на карауле?

Не помню, что он ответил мне, но помню его нахальную, вызывающую физиономию.

— Шапку долой! — заревел я и двумя ударами по лицу сбил его с ног.

— Батюшка, помилуй! — закричал благим матом Пиманов.

Этот пьяный, испуганный крик решил дело.

Передо мной с обнаженными головами стояла пьяная, но покорная толпа князевцев, а сбоку меня — дворня и самовольно ушедший из-под ареста урядник. Чичков скрывался за изгородью.

Я опомнился.

— Вы зачем пришли? — обратился я к князевцам.— Чичкова освобождать? Ну, так вот вам при уряднике объявляю, что это не ваше дело. Всякого, кто пожелает мешаться не в свое дело, я по закону имею право у себя в доме убить и не отвечу. Урядник! я верно говорю?

— Верно,— ответил урядник.

— Слышите? Если я виноват, это дело суда, а не ваше. Приедет следователь, ему и жалуйтесь, а своих порядков не заводите, потому что как бы вместо закона не попасть вам на каторгу. Да и все равно этим ничего не возьмете,— виноватого и без меня накажут. Если богатеи и смутили вас тем, что я думаю на всех, так это не верно: я думаю только на богатых, а вам что за нужда меня жечь?

— Конечно, нам какая нужда тебя жечь? — заорала пьяная толпа.— И мы то ж баяли, а он все свое,— сам, баит, видел, как ты велел уряднику всех записать. Ну, нам быдто и обидно,— верой и правдой быдто служили, а нас же и записать.

— А вы и поверили? — спросил я, и горькое чувство шевельнулось в душе. Но вдруг я вспомнил, что то недоверие, которое так обидно обнаружили крестьяне ко мне, выказал и я в отношении их во всей последней истории. Мысль, что, может быть, они не виноваты, в первый раз пришла мне в голову. Но говорить с пьяною толпой было бесполезно.

— Идите с богом домой и никому не верьте,— отпустил я толпу.— Я верю в вашу невинность и бла-

годарю вас за службу.— Нельзя сказать, чтобы последнее я сказал искренне.

Успокоенная толпа весело побрела домой.

На другой день приехал и следователь и становой. Следствие заключилось тем, что Ивана Чичкова, связанного, усадили в сани и повезли в острог. Горе семьи, родных, рыдание жены и троих детей, причитывание баб, прощание всей деревни с преступником были очень тяжелы. Последними словами Ивана были:

— Погубил я себя, а душеньку спас. Будет она в раю, и неугасимая свеча будет гореть перед ней...

Пусто и тяжело было у меня на душе.

Обгорелые кучи, пеньки, вместо некогда красивых строений, мертвая тишина во дворе, на деревне, испуганное лицо случайно забредшего, спешившего уйти князевца, грозный вопрос — как дальше быть?

И это все пронеслось скорее, чем думал я.

К вечеру, как громом, поразила нас эстафета о том, что у матери рак, что необходимо уговорить ее согласиться на операцию и что сестры умоляют нас немедленно приехать.

Перед этою новою бедой вся история с князевцами показалась мне какою-то давно-давно прошедшею.

Ехать, но как: с детьми? только вдвоем или одному?

После долгих соображений решено было ехать всем.

На другой день два экипажа стояли у подъезда. Дворня, несколько баб с деревни, вдовы да сироты, три-четыре мужика — вот и все, провожавшие нас.

— С богом! — крикнул я передовому кучеру, когда мы уселись.

— Ба-а-тюшка, на кого ты нас покидаешь? — завыла Матрена.

Этот одинокий вопль тяжело резнул по сердцу.

— Господи, благослови! — вскрикнул как-то неестественно бойко передний кучер.

Лошади тронулись, звякнули колокольчики — и мы выехали из усадьбы. Вот кончилась и ограда. Назади уже бывший сарай с подсолнухами... Промелькнули обгорелые кучи амбаров... Вот и широкое, бесконечное поле...

Несколько ребятишек из учеников жены, копавшихся в развалинах амбара, завидев приближающиеся экипажи, пустились без оглядки к деревне.

Прислонившись к спинке коляски, жена тихо плакала.

По невозможным осенним дорогам, после утомительного трехдневного путешествия, привез я наконец свою семью в город. Жена уже в дороге была вся в огне,— к вечеру у ней открылась горячка, осложненная гнойным плевритом. Всё сразу.

Через полгода был суд, на который я не поехал. Из письма Чеботаева я узнал, что Ивана оправдали. Он, Чеботаев, был старшиной присяжных, десять из которых были крестьяне. Обстоятельства на суде выяснили полную виновность Ивана, и никто не сомневался в обвинительном вердикте. Присяжные крестьяне не отрицали вины, но находили наказание — шесть лет каторги — несоответственно тяжелым.

«Годка два,— писал Чеботаев,— рассуждали крестьяне,— в тюрьме следовало бы парня для науки продержать, а в каторгу нельзя. Чем виновата жена, дети? Куда они без работника денутся?.. Все мои доводы ни к чему не повели.

Последний аргумент присяжных был тот, что день ясный, божье солнышко по-весеннему сияет,— нешто в такой день человека навечно губить? Жалко барина, а еще жальче сирот да бабу. Барину господь пошлет,— от пожару никто не разоряется, дело божие, смириться надо и проч.».

Мысль, что из-за нас никто не гниет в каторге, конечно, была отрадна жене и мне, но удовлетворенного чувства от правосудия во время чтения письма не было. И только впоследствии, когда обстоятельства вынудили меня съездить в деревню, мне ясно стало, что то, что с нашей точки зрения может казаться высшею несправедливостью, с точки зрения

народа — будет выражением высшей правды на земле.

Денежные обстоятельства вынудили меня поступить на службу. К счастью, казенная постройка железных дорог дала мне возможность служить непосредственно интересам государства.

Прошло два года. Чувства улеглись, да и дела настоятельно требовали моего присутствия в Князевке. Товарищество соседней деревни Садков предлагало на очень выгодных условиях взять на контракт ту землю, которую я удобрял, с обязательством продолжать удобрение. Двадцать два двора из Князева Христом-богом просили оставить часть этой земли для них. Они тоже составили товарищество и тоже с обязательством назмить землю.

С тяжелым чувством решил я, наконец, посетить места, где столько пережил. Вновь выстроенная железная дорога только тридцать верст не довезла меня до моего имения.

«Теперь можно и за интенсивное хозяйство приняться»,— думал я, садясь в свой экипаж, запряженный тройкою ямских лошадей.

Знакомый ямщик выказал большое удовольствие при виде меня.

— Что нового? — спросил я.

— Слава богу, живем помаленьку.

— Пожары по-прежнему?

— Храни господь,— ничего не слыхать.

— Землю скоро станут от господ отбирать?

Ямщик повернулся ко мне с лукавой улыбкой.

— Ноне уже по-новому бают. Ни бар, ни мужиков не будет,— вся в казну уйдет.

Я ушам своим не верил: я только что перед отъездом прочел об этой новой идее американского мыслителя, и вот она уже сообщается мне с высоты облучка! Каким образом могла проникнуть сюда эта идея,— случайно или, может быть, как назревшая к выполнению, она, как всякая такая идея, одновременно зарождается в нескольких местах сразу?

— Кто тебе об этом сказал?

— В народе бают.

— Да откуда это пошло?

— А кто его знает?.. Сорока на хвосте принесла.
— Что ж, это хорошо.
— Коли не хорошо,— встрепенулся ямщик.— На казенных землях завсегда урожай, мучить землю там не позволят. Бери каждый сколько надо. Порядки одни для всех, как сегодня, так и завтра.
— Не то, что теперь,— в тон сказал я.— Сегодня, к примеру, я, завтра другой. Каждый по-своему.
— Знамо,— согласился ямщик и, подумав, прибавил: — А народу-то каково?
Вот и последний спуск. Показалась деревня.
Екнуло сердце, и тяжелое волнение охватило меня... «Как-то встретят? — думал я невольно.— Будут, вероятно, исподлобья осматривать, как какого-нибудь зверя, с затаенною мыслью: «Что, мол, взял?» Но я ошибся... Меня встретили так, как встречали в самое лучшее время наших отношений.
Как только завидели мой экипаж, вся деревня, и старый, и малый, потянулись на барский двор. Веселые открытые лица смотрели мне прямо в глаза, каждый от сердца, как умел, спешил высказать мне свой привет. Петр Беляков сказал мне даже что-то вроде речи. Смысл этой речи был тот, что они, крестьяне, очень рады видеть меня, что радуются за меня оправданию подсудимого, что господь не попустил меня принять грех на душу, взявшись не за свое, а божье дело — преследование поджигателей.
— Господь спас тебя от греха; все доброе, что ты нам сделал, осталось при тебе, не пропало. Господь сыскал их,— закончил он, понижая голос.— Федор, младший сын Чичкова, помер и перед смертью покаялся, что он, а не брат, спалил амбары. Он и все дело раскрыл.
Далее Петр рассказал, что пять дворов по жребию решили сделать пять пожаров. Мельница досталась Килину, который нанял за полведра пастуха, сына той старухи, которой мы некогда выстроили русскую печь и избу, подсолнухи достались Овдокимову, который нанял Михеева...
— И Чичков рехнулся,— продолжал Беляков,— и Михеев от опоя умер, и пастух пропал без вести, да и все богатеи не добром кончили — обедняли, последними людьми стали.

Толпа крестьян молча прислушивалась к говорившему, и в их ясных, открытых глазах светилось полное одобрение оратору, и каждый из них, наверное, сказал бы то же, что сказал Беляков.

Парнишки, бывшие ученики жены, вытянулись за два года, стояли впереди и теми же светлыми глазами толпы смотрели на меня. Эта толпа была один человек...

Я стоял перед этим человеком взволнованный, растроганный, с обидным сознанием, что я не знал и не знаю этого человека...





ВАРИАНТ

Зима подходила к концу. На одном из участков новостроящейся дороги шли деятельные приготовления к предстоящему весной открытию работ.

Начальник участка Кольцов уже после окончательных изысканий, закончившихся предыдущим летом, затеял изменить направление линии. Это изменение обещало серьезные сбережения, и Кольцов с двумя молодыми инженерами, проработав всю зиму в поле, напрягал все усилия закончить все работы к предстоящей через две недели сдаче подрядов. Торопиться нужно было для того, чтобы успеть провести и утвердить вариант до торгов и этим впоследствии избавиться от претензий подрядчиков на тему, что их подвели, что они понесли убытки вследствие уменьшения работ, и результатом таких претензий была бы неизбежная приплата подрядчикам казны двадцать процентов сбереженной против подрядов суммы.

Дни в усиленной полевой работе, вечера за вычерчиванием планов и профилей, короткий отдых,— в последнее время три-четыре часа в сутки,— изнурили и утомили Кольцова и двух его товарищей. Особенно подался Стражинский. Он так похудел, что жена Кольцова говорила, что у Стражинского остались одни глаза. Стражинский за зиму нажил себе страшный ревматизм; в последнее время еще простудился, кашлял и производил крайне ненадежное впечатление. Несмотря на двадцать семь лет, волосы его заметно стали седеть. Его изящная, стройная фигура сгорбилась, красивое лицо осунулось, и только большие выразительные глаза выиграли,— они то зажигались лихорадочным, раздраженным огнем, то грустно-безнадежно смотрели на окружающих. Спокойный, воспи-

танный, он теперь едва сдерживал свое беспричинное раздражение.

— Вася, не мучь ты Стражинского,— говорила Кольцову, в редкие минуты отдыха, его жена,— право, по временам плакать хочется, глядя на него.

— Ну, что же делать,— отвечал Кольцов.— Мне назначено девять человек, из них прислали только двух, а остальных оставили пока при управлении. Вот скоро кончим, тогда дам ему хоть на месяц отдых. Ведь и я и Татищев так же работаем.

— Ты и Татищев здоровые, а он совсем не вашего поля ягода.

— А я тут при чем,— возражал Кольцов.— Не вводить же казну в миллионные убытки оттого, что Стражинский не на своем месте. Вот скоро кончим, тогда...

И Кольцов опять убегал в контору. Там в сырой, осенью только отделанной комнате, служившей прежде кладовой, занимались Стражинский, Татищев и Кольцов.

В сыром накуренном воздухе было угарно и тяжело. Стражинский работал молча, напряженно, не отрываясь. Только нервное подергиванье лица выдавало его раздражение.

Татищев работал свободно, без напряжения.

— Экое отвратительное помещение,— ворчал Татищев, водя рейсфедером по бумаге и беспрестанно отбрасывая шнурок пенсне.

— Да, гадость,— согласился Кольцов.

— Гораздо лучше было нанять дом Мурзина,— ворчал опять Татищев.

Немного погодя Татищев опять заговорил:

— Невозможный рейсфедер, линейки порядочной нет. Вот этим рейсфедером я уже второй миллион экономии дочерчиваю. Хоть бы рейсфедер новый.

— Невозможные инструменты! — вставил Стражинский.

— Хоть бы в пикет сыграть,— продолжал Татищев, помолчав.

— Некогда, некогда,— отвечал Кольцов.— Кончим вариант, тогда и будем играть, сколько хотите.

— Никогда мы его не кончим,— отвечал Татищев и вдруг весело, по-детски расхохотался.

— Вы чего? — поднял голову Кольцов.

Татищев продолжал хохотать.

— Мне смешно...

И Татищев опять залился веселым, добродушным смехом.

Кольцов, привыкший к его беспричинному смеху, только рукой махнул, проговорив:

— Ну, завел!

— ...что мы никогда не кончим,— докончил Татищев свою фразу и залился новым припадком смеха.

Кольцов и Стражинский не выдержали и тоже рассмеялись.

Татищев кончил наконец смеяться и снова принялся за рейсфедер.

Наступило молчание. Все погрузились в работу.

— А вы помните, Василий Яковлевич, ваше обещание? — начал опятьТатищев.

— Какое? — спросил, не отрываясь, Кольцов.

— В отпуск меня пустить.

— Да, пущу,— отвечал Кольцов.

— Как в прошлом году?

— Ведь вы же знаете, что в прошлом году помешал вариант.

— То-то помешал,— самодовольно ответил Татищев.— А как вы еще какой-нибудь вариант выдумаете.

— Нет, уж это последний.

Татищев лукаво посмотрел на Стражинского.

— Да больше времени нет, да и работы скоро начнутся.

Татищев недоверчиво молчал. Стражинский опустил голову на руку и бесцельно уставился в стенку. Изможденное лицо его выражало страдание.

— Что, голова болит? — спросил Кольцов.

— Немножко,— ответил нехотя Стражинский.

— Вам, Станислав Антонович, необходим отпуск,— проговорил Кольцов.

— Ну, уж извините,— загорячился Татищев.— Я больше Станислава Антоновича просидел в этой трущобе.

— Да вы посмотрите на себя и Станислава Антоновича,— отвечал Кольцов.— Вы кровь с молоком, а он совсем высох.

— Я тоже болен,— отвечал Татищев,— у меня горловая чахотка начинается.

Кольцов и Стражинский улыбнулись.

— Смейтесь,— обидчиво отвечал Татищев.— Вы слышите, как я охрип.

— Ну полно, Павел Михайлович,— махнул рукой Кольцов.

— Вот и полно!

— Я не поеду в отпуск,— сказал Стражинский.— Мои финансы в таком беспорядке, что мне и думать нечего.

Стражинский жил на жалованье сто двадцать пять рублей в месяц и своих средств не имел. При безалаберной кочевой жизни, при неуменье обращаться с деньгами ему не хватало, и он был весь в долгу. Окончательно его запутал Татищев, богатый человек, любивший хорошо поесть. Он умудрялся тратить на кухню до двухсот рублей в месяц.

— Я решил, знаете, Павел Михайлович,— продолжал Стражинский,— уехать от вас, а то с вами кончу тем, что все у меня продадут за долги.

— Я вовсе немного трачу,— обиделся Татищев,— вот поживите сами и узнаете.

— Ну, господа, пойдем спать,— сказал Кольцов, вставая.— Два часа.

Кольцов ушел наверх. Татищев скоро собрал инструменты и торопил Стражинского.

Стражинский медленно отрывался от работы.

— Скорее,— торопил Татищев.— Оставьте так, кто тут возьмет. Есть хочется, спать хочется. Ну и жизнь!

Стражинский раздраженно молчал, продолжая собирать вещи.

Татищев, одетый в шубу, уселся на табуретку и следил глазами за Стражинским.

— Измучит нас Кольцов,— начал он, помолчав.— Я понимаю, поработать и отдохнуть, но этакая каторга изо дня в день, и из-за чего, спрашивается? Я второй год с ним. На двух линиях наделал вариантов, измучил себя, других, натратил своих уйму денег и в конце концов, кроме неприятностей, до сих пор ничего не получил. Обещал выхлопотать награды.

— Э,— досадливо проговорил Стражинский.— Какая тут награда! Кто ему ее разрешит? Экономия!

Кому нужна эта экономия? Для казны экономия, c'est bien original [1].

Стражинский воспитывался за границей и любил французский язык.

— Ну, положим, это наша обязанность,— отвечал Татищев.— Но ведь всему должна быть мера, а ведь мы живем так, как будто через год нам ничего не надо будет. Истратить все силы в два-три года, а там что ж? Истаскаешься, куда ты тогда денешься?

— И все это за такое жалованье, на которое прожить нельзя,— ответил Стражинский, укладывая последний циркуль.

Он запер коробку, положил ее в стол, постоял несколько секунд, тупо глядя перед собой, потом досадливо махнул рукой и начал одеваться.

— Это жизнь! — продолжал он себе под нос.— Мечтает о премиях, себя и других морочит. Э! все равно. Идем.

— Вот, он говорит, на концессионных постройках премии давали, ну, там и можно было работать,— продолжал Татищев, идя с Стражинским по сонным улицам завода, где они жили,— но из-за чего здесь надрываться? Я не понимаю.

Стражинский молчал.

— Васька, скорей ужинать! — кричал Татищев, входя в квартиру.

Сонный Васька побежал на кухню, принес на блюде аппетитный кусок жареной телятины.

— Опять подливки мало,— заметил Татищев, подходя к опрятно накрытому столу.— А закуску почему не поставил? Тебе сколько раз я говорил, чтобы ставил по два стакана к прибору. И белого вина нет. Перчатки не надел. Я тебе сколько раз говорил, что я терпеть не могу, чтобы ты голыми руками подавал. Трогаешь ими бог знает какую гадость, а потом хлеб ими же подаешь.

Когда все было приведено в порядок, Татищев удовлетворенно сел за стол, аккуратно завязал себя салфеткой, снял пенсне и обратился к Стражинскому:

— Станислав Антонович, пожалуйста.

---

[1] это весьма оригинально *(фр.)*.

Сонный Васька стоял поодаль с вытянутыми руками в нитяных белых перчатках.

— Платок носовой,— приказал Татищев.

Васька бросился в другую комнату.

— Да ты что кидаешься, как сумасшедший,— остановил его Павел Михайлович.— Потише не умеешь? Разве ты не понимаешь, что это неприлично.

Через минуту Васька беззвучно подал Татищеву несколько платков.

Татищев взял платок, посмотрел его номер (все его платки были заномерованы), посмотрел номер следующего платка, оставил себе первый по порядку, остальные отдал Ваське, сказав:

— Положи аккуратно на место.

Татищев уже совсем было приготовился к еде, но, взглянув на руки, проговорил:

— Нет, не могу,— потребовал умываться.

Стражинский, раздраженно наблюдавший Татищева, потеряв терпение, сказал:

— O, mon Dieu [1],— лег на кровать и закрыл глаза.

С четверть часа фыркал Татищев в соседней комнате. Слышались его возгласы:

— Лей сюда, ниже, ниже... Экий ты, Васька, бестолковый.

Наконец, умывшись, с расчесанной бородой, в чистой ночной рубахе и туфлях, Татищев окончательно уселся за стол. Он опять завязал салфетку, опять пригласил Стражинского и приступил к нарезыванию телятины. Это было целое священнодействие. Телятина тонкими ломтиками, пластинка за пластинкой, ложились одна на другую. Широкая белая рука Павла Михайловича красиво водила большой нож, другая держала громадную вилку, воткнутую в телятину. Вся его сосредоточенная фигура говорила:

«Да, вот подите-ка, нарежьте так аккуратно. Это вовсе не так просто, как кажется. Тут все нужно рассчитать, чтобы вышла такая ровная пластинка. И нож надо именно вот так держать, и вилку на известном расстоянии. Вот теперь надо вынуть ее — поставить дальше».— И Татищев, вынув вилку, воткнул ее в другом месте.

---

[1] О, боже мой *(фр.)*.

И опять все его лицо говорило:

«Именно вот в этом месте. Теперь опять пойдут правильные ломтики».

И ломтики, действительно, пошли один правильнее другого.

— Ну, довольно,— досадливо проговорил Стражинский, раздраженно наблюдая Татищева.

— Теперь, пожалуй, и довольно,— согласился Татищев, когда половина блюда покрылась изрезанными ломтиками.

— Кто это съест? — заметил Стражинский.

— Не беспокойтесь, съем,— обидчиво заметил Павел Михайлович.

Ужин начался. Стражинский ел без всякого аппетита. Съев ломтик телятины, он потребовал себе стакан молока.

Павел Михайлович только головой соболезнующе покачал, аппетитно уплетая кусок за куском.

— Извините,— проговорил Стражинский, кончив свой стакан молока,— я встану, я так устал.

— А чайку? — встрепенулся Павел Михайлович.— Неужели не выпьете стаканчика горячего в кровати? Покамест вы будете раздеваться, чай будет готов. Васька, живо чаю!

Добродушное настроение Татищева подействовало наконец и на Стражинского.

Он с наслаждением вытягивался в кровати, говоря:

— Ох, как я устал! Мне каждый раз кажется, как я ложусь, что я уж не в силах буду никогда встать.

— Да, это безобразие,— согласился Павел Михайлович, оканчивая свой ужин и запивая стаканом вина.

Татищев, окончив ужин, быстро разделся и бросился в кровать. Через пять минут легкий посвист известил Стражинского, что Татищев благополучно прибыл в царство Морфея.

Стражинский долго еще ворочался на постели. Он с завистью и раздражением прислушивался к свисту Татищева. Несколько раз он то тушил, то зажигал свечку, отыскивая кусавших его клопов. Его ноги ныли от ревматизма, он то вытягивал их, то подбирал под себя, напрасно отыскивая положение, при кото-

ром боль не была бы так чувствительна. Тяжелые мысли бродили в его голове. Полученное письмо из дому вызвало целый ряд неприятных воспоминаний. Дела по имению у матери, некогда очень богатой, были в страшном расстройстве; второй брат, гимназист шестого класса, заболел скоротечной чахоткой, младший, двенадцатилетний мальчик, и в этом году не попал в гимназию. «Ты одна моя радость и надежда»,— заканчивала его мать свое письмо. Стражинский горько усмехнулся при мысли, если бы увидела она, что осталось от этой «радости».

Наконец и над ним сжалился сон, хотя не крепкий, тревожный, заставлявший его постоянно вздрагивать и просыпаться.

На другой день, около восьми часов, когда уже порядочно рассвело, Кольцов с Татищевым и Стражинским взбирались по крутому откосу реки в том месте, где накануне остановилась их работа.

Кольцов первый взошел наверх и, в ожидании товарищей, осматривал местность. В этом месте река делала такой острый заворот, что приходилось пересекать ее на протяжении пятидесяти сажен два раза, вследствие чего получалось два громадных моста.

Вдруг у Кольцова мелькнула мысль, от которой ему сделалось и холодно и жарко.

«Что, если обойтись без мостов и речку отвести тоннелью под этой горой? — Мурашки пробежали у него по спине.— Что это, не схожу ли я с ума? Здравая или сумасшедшая это мысль? — Кольцов снял шапку и провел рукой по горячему лбу.—Надо спокойно обдумать»,— решил он и стал шагами мерять длину горы. Длина тоннели получалась около 30 сажен; считая по 2 тысячи погонная сажень; выходило всего 60 тысяч, тогда как 10 сажен высоты моста стоили до 250 тысяч рублей. Кольцов радостно обернулся к товарищам.

— Господа! — крикнул он им возбужденным голосом.

— Новый вариант,— с отчаянием проговорил Стражинский Татищеву.

Оба уже давно подозрительно наблюдали взволнованные движения Кольцова.

— Знаете,— кричал им навстречу Кольцов,— мы без мостов здесь пройдем.

— Il finira par devenir fou[1],— сказал себе под нос Стражинский.

Сообщение Кольцова было выслушано недоверчиво, но когда он подтвердил его, Стражинский и Татищев не нашли возражений.

— Только когда же мы все это сделаем? — спросил Татищев.

— Я сам это сделаю. Вы пробивайте намеченную по плану линию, а я сейчас назначу магистраль и разобью профиля. Булавин,— обратился он к десятнику,— ты будешь их ватерпасить, и если завтра к вечеру кончишь, десять рублей награды.

— Будет готово,— отвечал весело Булавин.

Работа была тяжелая. В глубоком снегу вязли ноги.

К обеду Кольцов кончил свою работу и нагнал товарищей.

— Не пора ли закусить? — спросил он Татищева.

— Давно пора,— ответил Павел Михайлович.

Под деревом был разведен костер, для которого рабочие натаскали сухого хвороста; установили два камня — род очага, поставили на них чайник и стали разворачивать провизию. Хлеб замерз, говядина, пирожки тоже, пришлось все, кроме водки, отогревать. Всем этим заведовал аккуратно и не спеша Татищев. Зная, что нарушение установленной дисциплины испортит расположение духа Татищева, Кольцов и Стражинский терпеливо ждали конца. Когда наконец все было установлено на чистой скатерти, Татищев любезно пригласил Кольцова и Стражинского завтракать.

— К вечеру кончите обход Герасимова утеса? — спросил Кольцов.

— Я думаю,— отвечал Стражинский.— Только выемка немножко будет больше, чем получилась по горизонталям. Шельма Лука наврал, верно, в профилях.

— Какая досада, что нельзя завернуться радиусом в сто пятьдесят сажен вместо двухсот; вся бы почти выемка исчезла,— заметил Кольцов.

[1] Он кончит тем, что сойдет с ума *(фр.)*.

— Да, тогда почти вся исчезла бы,— согласился Стражинский.

— Ведь это двенадцать тысяч кубов скалы по одиннадцати рублей — сто тридцать две тысячи рублей. Какая это рутина — радиус! При соответственном уклоне ведь не прибавляется сопротивления от более крутого радиуса.

— За границей на главных путях давно введен радиус даже в сто сажен, только там вагоны на тележках,— вставил Стражинский.

— А что мешает у нас их устраивать? — ответил Кольцов.— Ведь вы понимаете, какую экономию дал бы такой радиус в нашей горной местности?

— Громадную.

— На всю линию несколько миллионов,— ответил Кольцов.

Наступило молчание.

— Черт возьми,— заговорил Кольцов,— давайте, знаете, сделаем обход Герасимова на радиус двести и сто пятьдесят,— чем черт не шутит, может быть, и разрешат? А?

Татищев и Стражинский успели уже переглянуться, и последний тихо пробурчал:

— Поехал.

— Никогда не кончим,— проговорил Татищев, заливаясь смехом и опрокидываясь на снег.

Кольцов сконфузился и покраснел.

— Странный вы человек, Павел Михайлович, ведь интересно же сделать так дело, чтоб не стыдно было на него посмотреть. Ведь обидно же даром бросать сотни тысяч. Вы представьте себе, куда мы с вами денемся, когда дорога будет выстроена и кому-нибудь из комиссии придет мысль в голову об радиусе сто пятьдесят? Ведь тогда это будет, как на ладони.

— Да я ничего не возражаю против этого,— отвечал Павел Михайлович,— я вполне всему сочувствую, но где же время, ведь вы хотите поспеть к торгам?

— И поспею,— ответил Кольцов.— Тут ведь на день всего работы.

— Здесь на день, там на день, где ж этих дней набрать? — раздраженно ответил Татищев.

— Ну я сам это сделаю,— огорченно сказал Кольцов.

— Да я не к тому,— начал было Татищев, но Стражинский перебил его:

— Положим, мы как-нибудь успеем. Но только, по правде сказать, мало веры, чтоб из всего этого вышел толк. Ведь это значит переменить технические условия, когда они утверждены начальником работ Временного управления, министром. Пропасть работы всем, начиная от нас.

— Но ведь это все пустяки, тут о сотнях тысяч идет речь.

— Ну да, но когда их никто признавать не хочет.

— Но они существуют. Что нам за дело до других, лишь бы мы исполняли то, что должны.

— Ну да, конечно,— согласился Стражинский.— Я только хочу сказать, что можно какое хотите пари держать, что радиус сто пятьдесят не пройдет.

— Надежд, конечно, мало,— согласился Кольцов.

— Вот если б это было возле станции, где поневоле скорость должна быть меньшая.

— А ведь это идея; почему бы нам не расположить станцию вон в той луке? — Кольцов схватил профиль и стал внимательно ее рассматривать.— Станция поместится,— проговорил он.— Поздравляю вас, мсье, ваша идея блестящая.

Стражинский покраснел от удовольствия.

— Но ведь тогда расстояние между станциями не выйдет, близко слишком будет.

— А мы одну уничтожим — еще экономия,— быстро ответил Кольцов.— Нет, положительно сегодня, господа, у вас гениальные мысли.

У Татищева остановилось в горле замечание, что это опять новая работа.

— А обратили вы внимание, Василий Яковлевич,— заговорил Стражинский,— что при радиусе сто пятьдесят линия залезет в реку,— что скажет на это завод?

— Какое мне дело до завода?

— Как какое дело? Они по этой реке спускают баржи, они говорят уже теперь о том, что камни, которые будут падать в воду из выемок, должны быть вынуты, а если вся линия пойдет по реке, я не знаю, что они скажут.

— Ничего они не посмеют сказать,— больше в утешение себе сказал Кольцов и задумался.

— Ох, уж этот мне завод. Наделает он нам беды. Все, кроме воздуха, им принадлежит. Несчастный человек будет подрядчик!

— Они его разорят,— сказал Стражинский.

— А знаете, что мне пришло в голову? — сказал Татищев.— Что, если их самих затянуть в подряд? — И Татищев лукаво-добродушно подмигнул.

Кольцов широко раскрыл глаза.

— Павел Михайлович, голубчик, да вы гениальный человек! — закричал он.— Ведь эта идея такая же блестящая, как и со станцией!

Татищев добродушно-весело смеялся.

— Ах, черт побери,— заволновался Кольцов.— В воскресенье же иду к управляющему уговаривать.

— Не согласится,— сказал Стражинский.

— Отчего не согласится? — возразил Татищев.

Кольцов по свойству своей натуры весь отдался новой идее затянуть завод в подряд. Вопрос действительно был серьезный, на десятки и сотни верст во все стороны от линии тянулась земля крупного заводчика. Земля, вода, лес, камень, песок — все было монополией владельца. Уже при постройке временной больницы Кольцов видел, как разыгрывается аппетит завода. За лес была назначена цена дороже городской. Только случаем Кольцову удалось дешево отделаться,— он купил готовый дом, а для пристроек запасся за дешевую цену несколькими срубами у местных крестьян. Заводское управление на такой прием Кольцова ответило приказом к местному населению, по которому жителям строго-настрого воспрещалось продавать лес агентам железной дороги под страхом навсегда лишиться права приобретать его по уменьшенным ценам из заводских дач.

Предстоящие работы и в других отношениях ставили строителей в зависимость от заводов. С утверждением нового варианта Кольцова, когда приходилось бы работать в воде, завод, по желанию, мог бы нанести неисчислимые убытки одним тем, что не вовремя стал бы выпускать излишнюю воду из своих прудов. Претензии на захват реки тоже могли легко повлиять на неутверждение нового варианта. Казна ничего так

не боится, как возможности дать повод вчинать иски, зная, по горькому опыту, чем они кончаются. Наконец, еще одно обстоятельство побуждало Кольцова горячо желать участия заводов в подряде. Администрация заводов состояла по преимуществу из горных инженеров. Все они в большинстве были поляки по происхождению, но, если можно так выразиться, примиренные, не чуждались общения с русскими, отличались гостеприимством и радушием, но по свойству всех людей имели склонность заниматься чужими делами. Кольцова осаждали вопросами о направлении линии, почему там, почему не здесь, почему такая цена, а не такая. Как это всегда бывает, они не так искали положительной стороны дела, как отрицательной. Объяснения Кольцова их мало удовлетворяли, они смотрели на него, как на человека, заинтересованного умышленно утаивать истину и старались сами найти ответ на неясные для них вопросы. Почва, таким образом, была из таких, на которой легче всего вырастают всякие нелепые и несправедливые слухи. Кольцов чувствовал, что, перервись он пополам, ему не поверят и все объяснят по-своему. Единственная возможность заставить их правильно посмотреть на дело заключалась, таким образом, только в том, чтоб их самих втянуть в это дело, поставить их в такое положение, чтоб у них волей-неволей раскрылись глаза на истину.

«Ах, если б мне удалось этих вольных критиков запрячь; заставить их на своей спине убедиться в том, что все гадости, в которых они считают нас, инженеров, повинными, сидят только в их воображении»,— думал Кольцов, вылезая из саней перед домом главного управляющего заводами (сам владелец в заводе не жил и никогда в жизни в нем не был), горного инженера Пшемыслава Фаддеевича Бжезовского.

Бжезовский пользовался большим уважением в горном мире,— он организовал рельсовое производство, прекрасно его поставил, пользовался репутацией даровитого и способного инженера, слыл за прекрасного человека, его дом отличался гостеприимством и радушием. Громадный двухэтажный дом, занимаемый Бжезовским, был настоящий дворец. Прекрасная мебель, масса картин, электрическое освещение, громад-

ные комнаты напоминали собою давно-давно забытую роскошь времен крепостных. Несколько прекрасных охотничьих собак приветствовали громким лаем появление Кольцова в обширной передней.

Несмотря на не сошедший еще снег и холод, отовсюду несся нежный запах свежих цветов. Точно какой-то волшебной силой из царства тьмы и неуютной зимы Кольцов был вдруг перенесен в волшебное царство весны.

На него, жителя юга, пахнуло чем-то далеким и милым. Он с наслаждением вдыхал в себя этот аромат весны, пока лакей снимал с него валенки, доху и сибирскую с ушами шапку.

Не успел он оправиться, как в дверях показались Бжезовский и его жена. Бжезовский, высокий, пожилой господин с окладистой бородой, худощавый, с безукоризненными манерами, приветливо, но с чувством собственного достоинства, поздоровался с Кольцовым, проговорив радушно:

— Добро пожаловать.

Жена Бжезовского, маленькая полная женщина лет сорока, с добрыми чистыми глазами, как у ребенка, ласково поздоровалась с Кольцовым и сейчас же засыпала его вопросами, не смерз ли он, не устал, не желает ли умыться, не хочет ли есть, чаю, и, когда Кольцов сказал, что чаю хочет, она весело ударила в ладоши и сказала, что они как раз пьют чай.

В большой столовой, за чайным столом, Ольга Андреевна (она была урожденная русская), пока наливала чай, несколько раз еще переспросила, не хочет ли Кольцов есть. Кольцов уверил наконец ее, что сыт. Тогда она перешла к подробным расспросам о жене и детях Кольцова.

— Какой вы недобрый, зачем же Анну Валериевну с собой не привезли?

Кольцов извинился, сказав, что приехал по делу.

— Ого, по делу! — рассмеялся Бжезовский.

В это время вошел плотный высокий господин, помощник Бжезовского, горный инженер Малинский.

— Василий Яковлевич к нам по делу,— обратился к нему Бжезовский.

— О! — произнес Малинский и сел возле налитого для него стакана.

Кольцов начал издалека. Он изложил в коротких словах предстоящую картину постройки, наплыв рабочих, возвышение цен на рабочие руки, на перевозочные средства, указал на затруднения, какие испытает завод от этого, коснулся неизбежных столкновений с подрядчиками и рядчиками.

— Ну, с этими-то господами нам не трудно будет справиться,— уверенно перебил его Малинский.— Один хороший паводок сразу приведет их в христианскую веру.

— Вещь обоюдоострая,— ответил сдержанно Кольцов.— Людей, имеющих в своем распоряжении несколько тысяч человек, не так легко запугать. Один неосторожно разведенный костер в ваших сосновых лесах наделает вам больше убытков, чем все ваши паводки. Этого, конечно, не будет, как и с вашей стороны не будет умышленного нарушения интересов подрядчиков.

— Конечно,— поспешил согласиться Бжезовский, видимо недовольный, что его пылкий помощник выболтал видимо обсуждавшиеся уже между ними соображения будущих отношений.

— Опасная сторона здесь та, что подрядчики станут пользоваться вашим населением для своих работ.

— Пусть пользуются,— ответил Малинский,— а мы им откажем в земле, лесе, дровах,— у них ничего ведь нет, они всё получают от нас при условии работать на заводе, а не хотят — мы им ничего не дадим.

— По-моему, этим вы их не испугаете,— ответил Кольцов.— Они отлично знают, что ваши заводы без них ничего не стоят и что вам ничего не останется делать, как вновь их принять, когда они явятся к вам.

Бжезовский все время молча слушал Кольцова. Малинский открыл было рот, но Кольцов перебил его:

— При таких условиях единственная возможность не отрывать местное население от заводских работ заключается в том, чтобы сам завод взял на себя подряд. Тогда заводу стоит только не принимать местный элемент на железнодорожную работу, и дело в шляпе.

Глаза Бжезовского сверкнули, но опять приняли спокойное, бесстрастное выражение. Он продолжал

молчать, как бы приглашая Кольцова говорить дальше.

— В денежном отношении,— продолжал, помолчав, Кольцов,— дело это тоже представляется крайне выгодным. Если подрядчик пришлый зарабатывает на таком деле крупные барыши, то местный контрагент, имеющий весь даровой материал, заработает, конечно, несравненно больше.

— Положим, этот материал мы можем выгодно продать пришлому контрагенту,— первый раз возразил Бжезовский.

— Не всегда,— ответил Кольцов.— В случае слишком дорогих цен дорога ограничится крайне необходимым, а остальное привезет по временному пути из мест более дешевых.

Бжезовского неприятно передернуло, но это было очень быстрое движение, и он молча поспешил кивнуть головой в знак согласия.

— Размеры подряда,— продолжал Кольцов,— настолько велики, что они стоят того, чтоб таким делом заняться. Ваш годовой оборот, если не ошибаюсь, достигает миллиона, двухлетний подряд даст оборот до двух с половиной миллионов. Барыш от него будет крупным подспорьем для завода, дав ему возможность не только легко перенести кризис, но и заработать на нем. Ввиду того, что дорога только раз строится, казалось бы, не следовало упускать такого удобного случая,— закончил Кольцов свою речь.

Наступило молчание.

Ольга Андреевна, Малинский и Кольцов смотрели на Бжезовского. Последний не торопился с ответом.

После долгой паузы он наконец спросил:

— А как велик может быть барыш?

— Как повести дело. Принимая во внимание ваши условия, я думаю — не менее двадцати пяти процентов со всей суммы.

— Какой оборотный капитал для этого нужен?

— Десять процентов от всего, то есть двести пятьдесят тысяч рублей,— отвечал Кольцов.

— Беда в том, что с этим делом мы мало знакомы,— заметил Бжезовский.

— Это я имел в виду. Вам необходимо пригласить в руководители опытное в этом деле лицо. Я могу

указать вам на такого. Это Яков Петрович Нельтон. Он тоже собирается принять участие в подрядах, но сам имеет слишком мало денег и ищет компаньонов. Он, между прочим, был представителем компании строителей на пятом участке смежной с вами дороги, которая только что закончилась, и дал своим компаньонам до семидесяти процентов на затраченный капитал. Точные сведения вы получите как от его компаньонов, так и от начальника работ.

— Надо подумать,— задумчиво проговорил Бжезовский.

Разговор перешел на текущую жизнь.

Кольцов рассказал о новых своих вариантах, о радиусе сто пятьдесят, о замене мостов тоннелем. Малинский пришел в ужас, что цена погонной сажени тоннели обойдется две тысячи рублей.

— Помилуйте, вся цена такой тоннели шестьсот рублей погонная сажень.

— А вот берите подряд,— улыбнулся Кольцов,— и гребите деньги.

— Но что же вы так дорого цените в тоннели?

— Я вам укажу только на тот факт, что дешевле двух тысяч рублей ни одна тоннель в мире не выстроена,— ответил Кольцов.

— Значит, дело неправильно поставлено,— ответил Малинский.

— Ну вот вам и случай поставить его правильно.

— Как вы работаете тоннель?

— Есть несколько способов, но все они сводятся к тому, что пробивается сперва небольшое отверстие, которое называется направляющей штольней, а затем разрабатывается все отверстие.

— А почему сразу не разрабатывается все отверстие?

— Невыгодно, как работа в цельной среде. Чем меньше направляющая штольня, тем это выгоднее.

— Конечно, так трудно возражать, но я познакомлюсь с вопросом и через месяц буду с вами спорить. Какое лучшее сочинение по тоннелям?

Кольцов не мог ответить.

— По-русски почти ничего нет, а за границей, наверно, есть.

— Я знаю сочинение Ржиха, но вышло, кажется, в Англии, недавно новое сочинение.

— Вы видали Ржиха? — спросил Малинский.

— Не видал,— ответил Кольцов.

— Если хотите, я вам покажу.

И Малинский повел Кольцова в свою комнату. Малинский был очень начитанный человек. Он обладал способностью применять начитанное к делу. В требнике завода и постановке рельсового дела он ввел массу нововведений,— между прочим, бессемеровский способ литья стали прямо из чугуна, но было и несколько промахов, неизбежных ни в каком деле.

Масса книг и журналов лежала на нескольких столах в комнате Малинского. Были тут и немецкие, и французские, и английские, и американские, меньше всех было русских.

Он снял с этажерки две громадные книги и тяжело бросил их на стол.

— Неужели это все об одних тоннелях? — спросил Кольцов.— У нас в институте о тоннелях читалось ровно две страницы. Только немец может столько написать,— говорил Кольцов, перелистывая книгу.

Малинского неприятно покоробили слова Кольцова.

— Обстоятельно,— нехотя ответил он.

— К сожалению, я не понимаю по-немецки,— сказал Кольцов, закрывая книгу,— а то бы попросил у вас почитать.

— Вы какие журналы выписываете по вашей специальности?

Кольцов покраснел.

— Кроме журнала нашего министерства,— никаких.

Наступило неловкое молчание.

— Наше дело так налажено,— заметил Кольцов,— что вряд ли что-нибудь новое узнаешь, да притом я только французским с грехом пополам владею.

Наступило неловкое молчание.

— Может быть, пойдем в столовую? — спросил Малинский.

— Знаете, что мне улыбается в вашем подряде, Василий Яковлевич?..— встретила Кольцова Ольга

Андреевна.— Я давно на лето мечтаю выстроить себе маленький домик, в котором бы я могла чувствовать, что и я существую; а то в этих громадных комнатах я чувствую себя такой маленькой. Если б муж взял подряд, ему пришлось бы выстроить себе какое-нибудь пристанище, вот и я бы к нему пристала бы.

И она, склонив голову на плечо, своими детскими ласковыми глазами посматривала на мужа.

Бжезовский ласково рассмеялся.

— Ну, уж если она охотится, то вы можете считать, что половину дела сделали,— обратился он к Кольцову.

— Эта сторона меня страшно радует.— И все лицо Бжезовской показывало искреннюю радость.— Если бы вы знали, как я хочу этой тихой простой жизни в маленьких уютных комнатках!.— И опять ее чистые глаза заискрились весельем ребенка.

Несмотря на видимый успех, расположение духа Кольцова было испорчено. Разговор с Малинским, необходимость, вынудившая его признаться в незнакомстве с теоретической стороной своего дела, неприятно мучила его. Он поспешил попрощаться с Бжезовским и, условившись свидеться с ним на днях у себя, уехал домой. Всю дорогу он не мог отделаться от тяжелого чувства. Он не мог не признать, что Малинский ловко попал в его слабое место. Кольцов никогда не любил теорию и, будучи еще студентом, принадлежал к партии так называемых «облыжных» студентов, то есть таких, для которых вся наука сводилась к экзаменам. Выдержал экзамен, и долой весь лишний хлам из головы. Первые годы практической деятельности отсутствие правильной теоретической подготовки мало чувствовалось,— во-первых, изучение практической стороны дела требовало немало времени, во-вторых, и роль была все больше исполнительная. Теперь, через двенадцать лет, Кольцову приходилось выступать уже в такой роли, где требовалось много инициативы, путь открывался для широкого творчества, и на каждом шагу он чувствовал все больше и больше свое слабое место — недостаточную теоретическую подготовку. Та масса новых, оригинальных идей, которые сидели в его голове и которые задачей своей жизни он поставил пропагандировать в

жизнь, требовали для надлежащей авторитетности того, чтобы облечь их в научную форму. Кольцов чувствовал, что без этого он никого не убедит, что все отнесутся к его идеям с обидным недоверием.

Он считал, что сегодняшний его разговор с Малинским подрывает его авторитет как человека науки не только в глазах самого Малинского, но и всего кружка горных инженеров, между которыми Малинский признавался авторитетом.

Унылым и подавленным приехал он домой.

— Неудача? — встревоженно встретила его жена.

— Нет, кажется, полная удача,— ответил Кольцов, входя в свой скромный кабинет и опускаясь в кресло.

Жена села возле него и пытливо заглядывала ему в глаза. Кольцов старался избегнуть встречи с ее глазами.

— Воздух спертый,— проговорил Кольцов.

— Квартира сырая, комнаты маленькие. Сегодня у Коки за кроватью на стене я нашла гриб. Меня так беспокоит, как бы эта сырость не отразилась на здоровье детей. Они так побледнели за зиму.

— Надо почаще вентилировать,— заметил Кольцов.

— Каждый день вентилируем,— ответила жена.— Когда б уж скорее весна начиналась, начну их по целым дням на воздухе держать.

Кольцов облокотился и задумался.

— Ты не в духе? — помолчав, спросила его жена.

— Так, немножко неприятно,— нехотя отвечал Кольцов, решив ничего не говорить жене.

Через полчаса, однако, он уже все ей рассказал.

— Что ж тут такого, что могло тебя так огорчить? — успокаивала его жена.— Во-первых, большая разница между ним и тобой: он ведет оседлую жизнь, дела у него сравнительно с тобой почти нет, он, наконец, любит теорию, ты любишь практику. Профессор, может быть, из тебя не выйдет, но ведь и не желаешь им быть. Ваш же министр и вовсе не инженер, а министр про то.

— Ну, это положим, не довод. Я не знаю, что нашего министра вывело в люди, но знаю, что чем даль-

ше, тем больше будут искать во мне таких причин, которые дали бы возможность моим противникам свести меня на нет, и моя слабая теоретическая подготовка будет мне в жизни громадной помехой.

— Но, если и так, что тебе мешает пополнить пробел — тебе тридцать пять лет — твое время не ушло.

— Вот именно я думал, что когда начнется постройка, время будет посвободнее. Я повторю всю теорию и займусь литературой. Ведь не то, чтоб я ее забыл, а так, забросил. Пристань ко мне с ножом к горлу, я и теперь сумею рассчитать любой мост.

— Миленький мой, я ни капли в этом не сомневаюсь,— ответила его жена, обнимая и целуя его.

Кольцов повеселел и начал рассказывать жене, как хорошо у Бжезовских, как у них пахнет весной, как ему вспомнился юг.

Анна Валериевна,— сама южанка,— понимала мужа, жалела, что не поехала с ним к Бжезовским.

— Ах, Вася, Вася, чего бы я ни дала, чтоб жить нам на юге,— страстно проговорила она.— Как бы расцвели там Дюся и Кока.

— Что делать! — вздохнул Кольцов. Он встал.

— Неужели заниматься? — спросила испуганно жена.

— Нужно бы, очень нужно, но устал, и мысли в разброде. Пойду только отдам распоряжение на завтра. Не знаешь, Татищев и Стражинский...

— Целый день занимались,— перебила его жена,— и теперь кажется, в конторе. Отпусти ты их или приходи с ними чай пить. Я буду вас ждать.

— Хорошо,— ответил Кольцов, уходя в контору.

Татищев и Стражинский приготовили Кольцову сюрприз. Он застал их усердно работавшими.

— Господа, вы меня стыдите,— проговорил Кольцов, весело с ними здороваясь.— Бросьте работу, ведь не каторжные же мы в самом деле.

— Скоро конец,— весело проговорил Татищев.— Ну, вот, смотрите, кончили мы то место, где вы хотите тоннель делать вместо мостов.

— Уж вычертили? — удивился и обрадовался Кольцов.

— Да надо же когда-нибудь кончать? — рассмеялся Татищев.

Кольцов растрогался и горячо пожимал руки Татищева и Стражинского. Он не утерпел, чтоб не прикинуть, как ляжет тоннель. Мало-помалу все трое так увлеклись, что и не заметили, как пробило два часа.

Анна Валериевна напрасно несколько раз звала их пить чай.

Горничная каждый раз приносила все тот же стереотипный ответ: «Сейчас». И Анна Валериевна снова посылала разогревать самовар, снова заваривала свежий чай, так как Кольцов не любил перестоявшийся. Горячие ватрушки давно уже простыли, поданный в пятый раз самовар опять стал совершенно холодным, Анна Валериевна с книгой в руках так и заснула на диване в ожидании, когда наконец Кольцов вошел в столовую. Он тихо подошел к жене и поцеловал ее.

— Миленький мой, как ты опоздал,— сказала она, просыпаясь.— А где же Стражинский и Татищев?

— Спать пошли — два часа.

— Два часа? — переспросила Анна Валериевна и замолчала.

Ей стало досадно, что и этот вечер ушел от нее.

— Вы мне ни одного вечера не подарили с тех пор, как я здесь,— тихо проговорила она, и слезы обиды закапали из ее глаз.

Кольцов горячо обнял ее и начал утешать.

— Скоро, скоро уж конец. Тогда опять все твои вечера.

Он рассказал ей, какой сюрприз ему устроили его товарищи, как незаметно они увлеклись проектировкой и как опомнились, когда уже было два часа.

Бжезовский приехал к Кольцову в назначенное время и изъявил свое согласие на участие в подряде. Нужно было торопиться ехать на торги. Кольцов давал ему всякие инструкции.

— Если бы даже мой вариант и не поспел к торгам, будет строиться все ж таки он, а не прежний, поэтому не спешите набирать большую администрацию, так как теперешняя линия на сорок процентов дешевле прежней.

Бжезовский уехал. Окончил и Кольцов свои варианты.

— Что бы вы сказали, Павел Михайлович, если бы я вас командировал с проектами? — спросил Татищева как-то Кольцов.

Татищев покраснел от удовольствия.

— Я с удовольствием,— ответил он.

— Стражинский наотрез отказался ехать в отпуск, а вы проситесь.

— Я с удовольствием,— повторил Татищев.

— А сумеете вы защитить нашу красавицу — новую линию?

— Она не нуждается в защите,— с несвойственной ему горячностью и уверенностью ответил Татищев.

— Очень рад,— ответил Кольцов.— Ваш ответ показывает убежденность, а когда человек убежден, он все сделает.

Татищев приехал в город за два дня до торгов.

Первым делом он явился к начальнику работ.

Его потребовали не в очередь.

В небольшом, скромно меблированном кабинете, из угла в угол ходил лет пятидесяти главный инженер Елецкий, среднего роста, хорошо сложенный, с сохранившимися красивыми чертами лица.

Татищев вошел и поклонился.

— Здравствуйте,— медленно проговорил Елецкий, протягивая руку Татищеву.— Что скажете хорошенького?

— Вариант привез,— весело-почтительно ответил Татищев.

Легкая улыбка сбежала с лица Елецкого. На лбу появились складки, и он раздраженным голосом переспросил:

— Вариант? Опять вариант? Да так же нельзя, господа!

Татищев потупился и не нашелся ничего ответить.

Елецкий несколько секунд постоял, сердито махнул рукой и заходил по комнате.

Несколько минут тянулось тяжелое для Татищева молчание. Елецкий забыл о Татищеве и весь погрузился в свои мысли. Татищев слегка кашлянул.

— Извините, пожалуйста,— спохватился Елецкий.— Присядьте.

И он опять зашагал по комнате.

— Все эти варианты — прекрасная вещь, но все в

свое время,— заговорил Елецкий успокоенным голосом.— Вы, господа, совершенно забыли о постройке; а мы два года уже делаем изыскания. Мне проходу нет в Петербурге, когда я наконец начну постройку, а я в ответ то и дело вожу все новые и новые варианты. «Последний?» — спрашивают.— «Последний»,— и через три месяца опять совершенно новая линия. Ведь наконец кончится тем, что нас всех прогонят,— остановился он перед Татищевым.

Татищев смущенно ерзал на стуле.

— Когда же конец будет? — наступал на него между тем Елецкий.— Через три месяца вы мне опять привезете новый вариант; когда же мы строить будем, что же я скажу в Петербурге, когда только что приехал оттуда, дав чуть ли не честное слово, что изыскания окончены. Два года идут изыскания, а линии нет,— помолчав, продолжал Елецкий.— Варианты, варианты, без конца варианты.

— Живое дело,— робко заметил Татищев,— одно хорошо, другое лучше.

— Но ведь так же без конца может продолжаться,— вспыхнул Елецкий.— Где же конец? Наши изыскания сумасшедших денег стоят.

— Но каждый лишний рубль, истраченный на изыскания, даст тысячные сбережения в деле,— заметил Татищев.

— Так ведь это мы с вами знаем, а подите вы расскажите это в Петербурге, что вам ответят? Ответят, что дороже наших изысканий еще не было.

— Но экономия...— начал было Татищев.

— Да что вы все о своей экономии. Не говорите о вещах, о которых понятия не имеете. Я тридцать лет строю и знаю эту экономию на изысканиях. Дешево, хорошо, пока не начали строить, а чуть началось — и пошла потеха,— там неожиданно оказалась скала вместо глины, там плывун, там приходится вместо простого котлована кессон опускать, смотришь — вместо экономии перерасход. Знаю я эту экономию.

Елецкий зашагал опять по комнате.

— Теперь вы мне за два дня до торгов привозите новый вариант. Мы вот уже месяц сломя голову подготовляем данные, и что ж — теперь опять всё сначала? Торги откладывать? Да попробуй я дать об этом

телеграмму в Петербург — завтра же меня не будет и никого из вас.

Опять наступило молчание.

— Во всяком случае и думать нечего рассматривать новый вариант до торгов,— закончил Елецкий, останавливаясь перед Татищевым.

Последний поднялся и начал откланиваться.

— До свидания. После торгов я дам знать.

У Татищева вертелось в голове сказать Елецкому, с какой целью Кольцов торопился поспеть до торгов с своим вариантом, но он подумал, что это бесполезно и только вызовет новую бурю.

Татищев вышел в приемную с чувством школьника, хотя и получившего незаслуженную головомойку, но утешенного тем, что пострадал не за себя, а за Кольцова. Мысль, что на три дня он совершенно свободен, привела его в веселое настроение.

Он через ряд комнат направился в техническое отделение проведать товарищей.

В чертежной он столкнулся с начальником технического отделения, пожилым уже инженером, с Иваном Осиповичем Залеским.

Залеский слыл за тонкого дипломата, но в сущности был добрый человек. Девиз его по службе был: «Моя хата с краю, ничего не знаю».

— Павел Михайлович,— радушно поздоровался Залеский с Татищевым.— Сколько лет, сколько зим... Что Кольцов?

— Ничего, вариант прислал, кланяется.

— Опять? — спросил Залеский и весело рассмеялся.

— Николай Павлович недоволен.

— А, вы уж виделись с ним?.. Недоволен? — встревоженно спросил Залеский и, не дожидаясь, сказал: — Да, знаете, у него много неприятностей по поводу изысканий. Дорого стоят.

— Но что же делать? — на этот раз смело спросил Татищев,— ведь это гроши по сравнению с той пользой, какую они приносят.

— Конечно,— согласился Залеский.— Ну, что, надолго к нам?

— В отпуск хочу.

— Может, жениться?

— Куда тут жениться,— махнул рукой Татищев и рассмеялся.

Залеский тоже рассмеялся и пошел в свой кабинет. А Татищев поворотил направо, прошел коридор и очутился в большой комнате.

Там сидело за отдельным столом три инженера.

— Павел Михайлович! — раздались приветствия на разные голоса.

Татищев поспешно здоровался, его широкое лицо сияло добродушием и весельем. Окончив, он сел на табурет и, ни к кому особенно не обращаясь, начал:

— Ну, и вздули меня. «Опять вариант! — говорил он, представляя Елецкого,— вы что же, хотите, чтоб нас совсем вон прогнали?» — и Татищев покатился со смеху. Припадок смеха, по обыкновению, продолжался у Татищева довольно долго. Он умолкал, потом опять начинал.

Бельский, Дубровин и Денисов сначала с недоумением смотрели на него, но кончили тем, что и сами начали смеяться.

— Да будет,— остановился наконец Бельский.— Говорите толком, в чем дело?

— Да вариант привез,— едва мог проговорить Татищев и залился новым смехом.

На этот раз дружный хохот четырех здоровых молодых голосов слился чуть ли не в рев.

Татищев кое-как наконец рассказал про вариант и про прием Елецкого.

— Большой вариант? — спросил Бельский.

— Тысяч шестьсот сбережения.

Бельский только свистнул.

— Молодец Кольцов,— горячо сказал Дубровин.

— Молодчина! — подтвердил Денисов.

Бельский, нервный и раздражительный, занимавший должность старшего инженера в техническом отделении, разразился ругательствами:

— А, скоты! Вариант в шестьсот тысяч, и чуть не с площадной бранью встречают. Подлая казенщина!

— Это, батюшка, еще цветочки,— сказал Дубровин.— Попомните меня, что кончат тем, что выгонят Кольцова.

— Ну, положим, не посмеют,— задорно ответил Бельский.

— Именно, что не посмеют,— расхохотался Дубровин.

— Понятно, не посмеют,— рассердился Бельский.— Общественное мнение не позволит.

— Ну, еще что? — насмешливо спросил Дубровин.

— Случись что-нибудь подобное, и никто из порядочных не захочет оставаться у них. Вы останетесь?

— Это другой вопрос, батюшка,— не в нас с вами сила. Мы уйдем, другие явятся.

— Не явятся, не то время.

— Да, испугаете вы их,— ответил Дубровин.

Денисов молча слушал и, когда спор кончился, спокойно проговорил:

— Конечно, уйдем, если б прогнали Кольцова, только этого не будет. Елька посердится и примет вариант.

— А я убежден, что не примет,— возразил Дубровин.

— Не примет,— согласился Татищев.

— Примет,— сказал Бельский,— Кольцов настоит. Вариант с вами?

Татищев принес вариант.

Компания начала внимательно его рассматривать. Каждый делал свои замечания, поднялся спор, который чуть было не кончился ссорой между Дубровиным и Бельским.

Помирил их Денисов, выругав обоих.

— Вы, господа, право, как мальчишки, привязываетесь к каждому слову друг к другу. В сущности, спор у вас из-за выеденного яйца и общего с вариантом ничего не имеет. Перед вами вариант Кольцова: одобряете его или нет?

— Конечно, одобряем,— ответил Бельский.

— И я одобряю,— с важной физиономией сказал Денисов,— а потому предлагаю послать Кольцову приветственную телеграмму. Согласны?

— Молодец, Васька,— весело сказал Бельский и взъерошил волосы Денисову.

— Без нахальства,— тем же тоном продолжал Денисов.— Я составляю телеграмму. Я беру карандаш, я беру бумагу. Дальше...

Началось совещание. Окончательная телеграмма получилась такого содержания:

«Поздравляем прекрасным вариантом. Да здравствуют даровитые честные инженеры. Желаем успеха и дальнейшего саморазвития».

На последнем слове настоял Дубровин.

— Он поймет,— говорил он,— на что ему намеки.

Кольцов очень обрадовался телеграмме и несколько раз перечитывал ее.

— Это насчет моей теории они, мошенники, намекают,— добродушно объяснял он своей жене.— Ну, зима пройдет, займусь и теорией.

Теперь Кольцов все вечера проводил дома. Жена его повеселела и оживилась.

Кольцов, охладевший было за время работ к детям, теперь опять привязался к ним и по целым часам рассказывал своему трехлетнему сыну все ту же сказку.

Любимым его занятием было отыскивать сходство между собой и сыном. Эти исследования приводили Кольцова не к одним и те же выводам. Сегодня Кока как две капли воды походил на отца, завтра только нос лопаточкой был в него, а остальное чужое.

— Ну, глаза еще твои,— обращался он к жене,— а остальное чужое.

— На кого ты похож? — спрашивала мать сына.

— На папу,— отвечал мальчик.

— Слышите, неблагодарный. Ваш сын знает больше вас.

— Отличное доказательство. Кока, кто умнее, папа или ты?

— Я.

— Кто умнее, папа или аргамак?

— Аргамак.

— Кого ты больше любишь, папу или аргамака?

— Арг...

— Кока,— перебила его мать,— кого ты больше любишь, аргамака или папу?

— Папу.

У мальчика была страсть к лошадям. Лошадь была для него недосягаемым идеалом, к которому он всеми силами стремился. Бежать, как лошадь, есть, как лошадь. Если он упадет, то стоило ему сказать,

что он упал, как лошадь, и несмотря на боль, а вскочит и весело побежит объявлять всем, что он упал, как лошадь.

— Папа, я упал, как лошадь! — кричит он еще из другой комнаты, усердно работая своими маленькими ножками.— Вот так! — и для примера еще раз падает на пол.

— Глупенький ты мой мальчик,— подхватывал его с полу Кольцов и высоко подымал вверх.

— Я не плакал,— лепетал между тем Кока.— Я мужчина.

Кольцов приходил в восторг и начинал теребить сына.

— Папа,— снисходительно говорил мальчик, стараясь вырваться из рук отца.

— Ну, говори про козла.

Мальчик принимал сосредоточенное выражение лица и начинал медленно, наставительным тоном декламировать:

— Смотрит козел в воду и говорит: «Какой я козельчик, какая у меня борода и престрашные рога. Если волк придет, я его убью». А волк слушает и говорит: «Что ты, Васька, говоришь?» А Васька говорит: «И-и, я ничего, ваше благородие».

Последнее время постоянный кашель изнурил и раздражил ребенка. Забегается ли слишком, начинается тяжелый приступ кашля. Мальчик кашляет, кашляет и вдруг тихо и горько заплачет. Столько бессильного страданья, столько горя слышалось в этом маленьком плаче, что жена Кольцова сама начинала плакать, а Кольцов готов был все на свете отдать, чтоб только облегчить его страдания.

— Уход плохой,— приставал Кольцов к своей жене.— Я не знаю, чего нельзя на свете сделать, если захочешь. Растирай его, парным молоком пой, давай малинку, пригласи еще из города доктора,— вот что надо делать, а не плакать.

Кольцов горячился, приставал к няньке и, по своему обыкновению, чем больше горячился, тем больше был неправ. Делалось все, что можно было делать, но средства были бессильны. Доктор, впрочем, успокаивал и говорил, что с весной все пройдет. Понятно, с каким нетерпением ожидалась весна в доме Кольцова.

Прошла неделя со дня получения телеграммы Бельского и товарищей. Кольцов поехал на линию проверить разбивки. Уже совсем стемнело, когда, уложив инструменты, он поехал домой. Дорога шла по реке. Зима подходила к концу, но лед был еще крепкий. Всплыла луна и мало-помалу залила своим волшебным светом округу. Силуэты оборванных скал сплошной стеной тянулись по обеим сторонам реки. Прежняя линия вследствие обманчивого света луны казалась где-то в недосягаемой высоте; новая, пользуясь естественными уступами, шла невдалеке саней. Кольцов с гордостью любовался делом своих рук.

«Та, прежняя,— думал он,— как старая ведьма, скачет там где-то в небе с утеса на утес. Я разыскал мою красавицу в этой бездне скал и утесов, вырвал ее у природы, как Руслан вырвал у Черномора свою Людмилу».

И фантазия перенесла Кольцова в далекое прошлое.

«Сюда приходили,— думал он,— наши предки искать себе славы. Только в таких местах, под впечатлением этой дикой природы, могли сложиться наши чудные сказки, только здесь могла проявиться та дикая, непреклонная воля, какою одарил народ своих героев. Здесь пролагали себе путь в панцирях и шлемах богатыри русской земли. Здесь прошли орлы Всеволода III, здесь Ермак нечеловеческими усилиями проложил себе путь к славе. Прошли века, и вот мы пришли докончить великое дело. Проведением дороги мы эти необъятные края сделаем реальным достоянием русской земли. Это будет второе завоевание этого края. И как Ермак некогда с ничтожными силами приобрел его, так и мы должны употребить все силы, чтоб уменьшить стоимость постройки дороги. Нельзя строить дорого, у нас нет средств на такие дороги, а нам они необходимы, как воздух, как вода. Восток гибнет оттого, что не имеет дорог. Общество право в своем раздражении на нас, инженеров. Оно не выяснило себе еще причины, ищет ее там, где ее нет, но история выяснит, именно причина в нашем неуменье дешево строить. Мы как заимствовали тридцать лет тому назад способ постройки у наших дорогих соседей, так при нем и остались. Разве наша бедная рус-

ская жизнь может сравниться с богатым Западом? Если бы русский изобрел железные дороги, а не Стефенсон, разве дошли бы мы до той роскоши, какая царит на наших дорогах? И что бы его могло вдохновить на бархат, зеркала, дворцы-будки, дворцы-вокзалы? — Наши перекладные? Наши бывшие почтовые станции? Наши нищие деревни? Наши грязные города с их гостиницами-клоповниками? Именно здесь, когда мы приступаем к этому великому пути, когда все окружающее здесь, вся история должны напомнить нам, что мы, русские, мы, инженеры, обязаны поставить на совершенно новую почву постройку дороги. Мы должны показать Западу, что мы, русские инженеры, способны не только воспринимать его великие идеи, но и культивировать их в условиях русской жизни. А это, в свою очередь, покажет на достаточную подготовку к самостоятельному творчеству. И, как некогда Ермак искупил свою и товарищей своих вину, так и мы, инженеры, дешевой постройкой должны искупить нашу невольную вину перед родиной».

Кольцову стало жарко. Он снял шапку и провел рукой по лбу. Его глаза горели и усиленно смотрели вдаль. Он точно видел себя лицом к лицу со всеми обитателями своей необъятной родины.

«Да, нет выше счастья, как работать на славу своей отчизны и сознавать, что работой этой приносишь не воображаемую, а действительную пользу. Это — жизнь, это — напряжение. Пусть проходит молодость с ее радостями любви, что жалеть о них, когда радости эти сменяются более высшими наслаждениями, сознанием делаемой пользы, сознанием, что заслужил право на жизнь».

Мысль, что заслуг инженера путей сообщения в обществе не признают, неприятным диссонансом пронеслась в его голове. Но по свойству своей оптимистической натуры Кольцов подавил в себе неприятное чувство, рассуждая, что заслуга останется заслугой, а как непризнанная она имеет двойную цену.

Да, если бы удалось провести в жизнь все задуманное. Но как провести? Где найти то ухо, которое захотело бы услышать истину. Одни погрязли в рутине, другие преследуют корыстные цели, третьи устарели, четвертые просто ничего не понимают. Что толку,

что Бельский, Дубровин, Денисов — сторонники взглядов Кольцова,— не в них пока сила. Как обратить внимание тех, от которых зависит решение вопроса?

«Время не ушло еще,— думал дальше Кольцов.— Я один ничего не сделаю. Вот разве в компании с Бельским, Дубровиным, Денисовым составить докладную записку на имя начальника работ о возможных сокращениях расходов при постройке нашей линии. Если эта записка опоздает для нашего участка, то время не ушло для других. Экая досада, что раньше не пришло в голову. Что делать? Лучше поздно, чем никогда. Надо будет разбить эти вопросы по главной расценочной ведомости. Я предложу каждому из них взять по две главы и разработать все и с практической и с теоретической стороны, а сам займусь составлением общей записки. Не примут — мы будем спокойны, что свое дело сделали, а если примут...»

И горячая фантазия Кольцова унесла его в такую заоблачную даль, что нам с вами, читатель, следовать за ним не стоит.

Дома Кольцова ожидал весьма неприятный сюрприз, который сразу спустил его на землю.

— Миленький мой,— встретила его жена.— Придется вам ваши мечты о славе на время отложить,— она точно подслушала Кольцова,— вот телеграмма Татищева. Вариант не принят.

Телеграмма была следующего содержания:

«Вариант окончательно забракован. О радиусе 150 и тоннели слушать даже не хотят».

Для Кольцова это было полным сюрпризом.

— А черт с ними,— проговорил он упавшим голосом.

Он сел в кресло и уныло замолчал.

— И Татищев тоже хорош. Телеграфирует, точно его зарезали. Пойдут теперь сплетни по заводу.

— Что ж делать? — утешала его жена.— Ты, что мог, сделал, там уж не твое...

— А черт с ними,— еще раз апатично проговорил Кольцов.

Он встал, несколько раз прошелся и, скороговоркой проговорив: «Я спать пойду»,— ушел в спальню.

На вопрос жены:

— А обедать?

Он, уходя, ответил нехотя:

— Нет.

Жена Кольцова знала натуру своего мужа. Всякое серьезное огорчение вызывало в нем полный упадок сил и потребность продолжительного сна.

Не знавший усталости Кольцов, раздеваясь, почувствовал себя таким усталым, таким разбитым, что едва мог стащить свои тяжелые сапоги. Он почти мгновенно заснул и едва слышал, как его жена, наклонившись над ним, поцеловала его, прошептав:

— Не огорчайся, мое счастье, все, бог даст, будет хорошо.

«Хорошо,— машинально пронеслось в его голове.— Действительно, хорошо»,— промелькнуло в последний раз в его засыпающем мозгу, и чувство сладкого успокоения разлилось по его членам. В то же мгновение крепкий, здоровый сон без сновидений сковал Кольцова. Он проснулся только на другой день, проспав четырнадцать часов.

Мысль о варианте только в первый момент неприятно кольнула его.

«Надо самому ехать»,— думал он, поспешно одеваясь.

Жена, услышав шум в спальне, вбежала с телеграммой в руках.

— От Елецкого,— проговорила она, целуя мужа.

Кольцов жадно схватил телеграмму:

«Из ваших вариантов останавливаюсь на линии прошлого лета. О радиусе и тоннели при теперешних условиях не может быть и речи».

Вежливый тон телеграммы успокоил Кольцова.

— Ну, вот это ответ. По крайней мере, никакой пищи нет досужим сплетникам. Ясно, что в одном и том же месте двух линий сразу нельзя выбрать, а так как обе мои, то ничего и обидного нет. За эту деликатность я ужасно люблю Елецкого,— говорил Кольцов повеселевшим тоном.

Жена Кольцова тоже просияла, увидев, какое действие произвела телеграмма на мужа.

За чаем Кольцов сказал ей, что решил сам ехать.

— Без разрешения? — спросила, испугавшись, жена.

Кольцов не ответил, так как и сам не знал, как быть. С одной стороны, нужно было торопиться, а разрешение затягивало отъезд, да и сомнительна была возможность его получения в данный момент, с другой — ехать без разрешения было невежливо и, пожалуй, рискованно.

— Могу испортить все дело. Он сам такой деликатный и терпеть не может неделикатности в других.

Решено было так. Кольцов телеграфировал Бельскому, чтоб тот действовал в смысле вызова его, Кольцова, для личных объяснений. Елецкому Кольцов послал телеграмму в двести пятьдесят слов. Тон телеграммы мало было бы назвать горячим. Страстные доводы Кольцов закончил следующими словами: «Прошу извинить за настойчивость, необходимость варианта настолько очевидна, что не может пройти незамеченным. Во избежание справедливых нареканий в будущем вынужден беспокоить вас просьбой разрешить лично приехать».

К вечеру Кольцов получил следующий ответ:

«Ваша телеграмма не переменила моего решения. Если считаете необходимым, приезжайте».

Кольцов выехал в ночь.

Оставлял он семью с тяжелым чувством. Кашель у Коки становился все сильнее. В самый момент выезда сильный припадок так ослабил мальчика, что он весь посинел и впал в легкий обморок. Такого припадка еще не было.

Тяжелое предчувствие недоброго конца этой болезни первый раз закралось в душу Кольцова. Всем существом рвануло его к сыну, он забыл все на свете, схватил его на руки, прильнул к его исхудалому личику, и горькие слёзы полились из глаз. Прощанье было подавляющее и тяжелое. Никогда еще Кольцов не оставлял свою семью угнетенным чувством тоски и сознания своего бессилия что-нибудь изменить из предназначенного судьбой. Первый раз после долгих лет рука его поднялась, чтоб осенить своего маленького сына крестом.

— Да хранит тебя господь! — с глубоким чувством проговорил он.

Кольцов остановился в квартире Бельского, Дубровина и Денисова.

Компания рассказала ему, что «Елька» страшно взбешен и против варианта. На торгах линия осталась за Бжезовским, и распорядителем работ был приглашен Делори. Делори тоже высказался против варианта, указывая на слабую его сторону — захват реки, и немало содействовал тому, что вариант Кольцова был забракован.

— Послушайте, Кольцов,— говорил ему Бельский на другой день, идя с ним в управление,— главное, не горячитесь. Помните, что с Елькой можно работать, он человек честный и действует по убеждению. Доказать ему всегда можно, но это надо сделать спокойно, рассудительно и толково. И вы это можете, если захотите. Смешно же, в самом деле, всю жизнь изображать из себя лошадь, которой чуть попадет вожжа под хвост —и пошла потеха. Вспомните только, что, двенадцать лет работая, вы еще ни одного дела не довели путно до конца. Начнете блистательно, потом по поводу выеденного яйца появляется на сцену вопрос о доверии, и — Кольцов за бортом. И кончается тем, что все сыграется в руку прохвостам. У вас дело правое и стойте за него до смерти,— пусть вас по суду гонят, если хотят, но с какой же благодати губить дело из-за личного самолюбия?

— Правда есть в ваших словах,— отвечал Кольцов.— Личного болезненного самолюбия у меня больше, чем надо, но я вам скажу одно. Четыре раза уже я бросал дело и уходил со скандалом. Временно мне были заперты все двери в нашем министерстве, но никогда я не жалел, что поступал так. При тех условиях не было другого выхода. Теперь иное дело. Во всяком случае я не буду горячиться, спасибо вам.

— Вас уже прозвали трубадуром, но если вы из теперешнего положения дела опять сделаете министерский вопрос, я буду называть вас бестолковым трубадуром.

— Не сделаю,— отвечал Кольцов.

В передней правления они расстались. Бельский прошел в техническое отделение налево, Кольцов — в кабинет начальника работ направо.

В ожидании приезда начальника работ Кольцов заглядывал во все комнаты правления, отыскивая знакомых. Все здоровались с ним радушно, но как-то обидно-снисходительно. Все знали про его неудачный вариант, и общее мнение было, что Кольцов, что называется, зарапортовался.

Выразителем общего мнения был Щеглов, правитель канцелярии.

— Что, батюшка, сорвалось? — встретил он Кольцова.— Ну, что ж делать? Не всякое лыко в строку. Надо вас и осадить немножко, а то этак вы через год и до министра доберетесь.

— Руки коротки для осадки,— строптиво возразил Кольцов.

— Будто коротки? — спросил Щеглов, добродушно подмигивая своему помощнику. И ласково прибавил: — Ну, ну, ладно, бог с вами. Где вы сегодня вечером?

Пришел швейцар и доложил, что начальник работ приехал и просит Кольцова.

Кольцов вскочил, застегнул пуговицу и, не прощаясь, быстро пошел за швейцаром.

— Будет баталия,— сказал Щеглов, закуривая папироску.— Надо послушать.

И он, собрав для подписи нужные бумаги, неспешной походкой направился к Елецкому.

Когда он вошел в рабочую комнату начальника работ, из кабинета донесся до Щеглова взбешенный, громкий голос Елецкого:

— Да что же это наконец такое? Слова нельзя сказать, как он свою отставку сует.

На этот возглас не замедлил взволнованный ответ Кольцова:

— Вариант необходим. Вопрос в том, что я, может быть, не сумел доказать вам его необходимость, вот почему я должен буду оставить свое место, чтобы уступить его более способному доказать это.

Щеглов постоял несколько мгновений нерешительно, махнул рукой и возвратился в свой кабинет.

Кольцов продолжал:

— Николай Павлович, поверьте мне, что я прекрасно знаю все те неприятности, которые вы испытываете, но чем же виновато дело, что во главе его сто-

ят люди, не понимающие его? И наконец то, что сегодня не ясно, будет как на ладони, когда дорога выстроится. Огорчения теперешние будут пустяком по сравнению с теми, которые мы с вами испытаем тогда. Вы говорите, что нас выгонят. Для вас уступка невежеству непринятием моего варианта, может быть, имеет полный смысл,— вы этим спасаете все дело, но где же утешение для меня? Все мое дело заключается в этом варианте, мое неумение провести его в жизнь — уже тяжелое сознание своего бессилия, и неужели же мне, сверх этого, в течение двух лет постройки еще мучиться изо дня в день при мысли, что я строю не то, что должно, и что строится это только благодаря моей неспособности доказать, что белое — белое, а черное — черное? Вот что побуждает меня заявить о своей отставке. Это не взбалмошное чувство оскорбленного самолюбия. Я отлично знаю, чтó я теряю, оставляя службу,— лучше поставленного дела я не видал еще, да и вряд ли где-нибудь найду.

Кольцов замолчал.

Елецкий мрачно ходил по комнате. Молчание длилось несколько минут.

— Кончится тем, что мне самому придется уйти,— проговорил Елецкий, махнув раздраженно рукой. И, обратившись к Кольцову, сердито спросил: — Где вариант?

Кольцов быстро развернул чертежи и взволнованно начал излагать идею нового варианта.

Через четыре часа Кольцов вышел из кабинета начальника работ, и по его счастливому лицу нетрудно было угадать, в чем дело.

Елецкий вышел немного спустя и прошел в кабинет своего помощника.

Инженер Стороженко, около пятидесяти лет, плотный, среднего роста, с гладко выбритым лицом, густыми усами, большими выразительными глазами, производил при первом взгляде впечатление человека слегка грубоватого, но добродушного и прямого. Но тем не менее это был дипломат в своем роде, как вообще все хохлы. Будучи безукоризненно честным, он строго держался правила: «Моя хата с краю, ничего не знаю». Личную инициативу он проявлял только в том направлении, о котором знал, что оно будет одобрено.

В вопросах сомнительных он хотя и выражался решительно, но так, что из его слов ничего нельзя было вывести.

Елецкий вошел и сел на диван.

— Что за молодец Кольцов! Трое-четверо таких инженеров — и можно хоть всю Сибирскую дорогу взяться строить.

— Он приехал?

— Только что от меня.— Елецкий помолчал.— Прекрасный вариант,— сказал он.— Только время упущено. Теперь в Петербурге опять пойдут разговоры.

Наступило молчание.

— Да,— неопределенно проговорил Стороженко.

— Семьсот тысяч экономии. Татищев напутал, совсем не так доложил, молодой. Возьму Кольцова с собой — пусть сам сделает доклад. Я там сам не был, ехать некогда, а на заседании могут подняться такие вопросы, на которые может ответить только работавший на месте.

— Конечно.

— Всю зиму работал в поле, Стражинского чуть не в чахотку вогнал.

Стороженко кивнул головой. В переводе это означало: «Так и запишем».

— Через неделю надо ехать,— сказал Елецкий, подымаясь.

После ухода Елецкого вошел Залеский.

— Ну что вариант Кольцова?

— Принят,— ответил Стороженко.

— Принят? — переспросил выжидательно Залеский.

— Семьсот тысяч сбережения. Прекрасный вариант. Татищев напутал: молодой.— И, помолчав, прибавил: — Дельный работник Кольцов.

— Ах, какая энергия,— подхватил Залеский.

— Стражинского, кажется, в чахотку вогнал.

— Огонь,— весело рассмеялся Залеский.

В такой редакции и по городу пошла новая волна. Блестящий вариант, неутомимый Кольцов, Татищев напутал, Стражинский в последнем градусе чахотки.

Инженер Косяковский в обществе дам доступным языком излагал положение дел:

— Кольцов сам дельный человек. Сделал, действительно, прекрасный вариант, но выказал полное неумение выбирать подходящих людей. Татищеву поручил делать доклад. Я понимаю — поручить ему организацию пикника.

Веселый хохот прервал оратора.

— Кольцов — это прелесть,— сказала Мария Павловна Звиницкая.— Я в прошлом году ехала с ним в поезде и, право, если бы еще несколько часов наша поездка продлилась, я за себя не поручилась бы.

Звиницкая покраснела при всеобщем смехе. Вечером Мария Павловна так резюмировала матери содержание разговора:

— Кольцов прекрасный работник в сфере, какую может обхватить один человек, но, как распорядитель большого дела, никуда не годится, так как не имеет никаких способностей выбирать людей.

А Кушелев, отец Марии Павловны, управляющий соседней дорогой, на другой день добродушно говорил Елецкому:

— Придется, Николай Павлович, вам самому подобрать помощников Кольцову, а то он окружит себя такими, как Татищев.

— Да, непременно,— убежденно отвечал Елецкий.

— Павла Николаевича надо к нему. Это человек, который сумеет позаботиться об остальном, когда Кольцов, по свойству своей натуры, чем-нибудь увлечется.

Павел Николаевич Звиницкий, муж Марьи Павловны, тоже инженер, был одним из кандидатов на должность начальника дистанции на предстоящую постройку.

Елецкий промолчал на слова Кушелева.

Выбор инженеров de jure[1] зависел от Временного управления, de facto[2] — от начальника работ. По традиции начальнику участка предоставлялось право выбора между имеющимися инженерами.

Павел Николаевич на другой день после описанного разговора был у Кольцова и выразил желание быть

---

[1] юридически (*лат.*).
[2] фактически (*лат.*).

у него начальником дистанции. Кольцов обещал, так как свободные места у него были. Штат Кольцова состоял из четырех начальников дистанций, одного помощника и одного техника. На роль помощника он имел в виду Татищева, на роль техника — Стражинского, на остальные места еще никого не имел в виду.

— Что, если я буду проситься к вам? — спросил его Бельский.

Кольцов с удивлением посмотрел.

— Неужели пойдете? — радостно спросил он.

— К вам пойду.

— Серьезно говорите?

— Конечно, серьезно.

— Я буду счастлив.

— А меня возьмете? — спросил Дубровин.

— И вы? С наслаждением. А вы? — обратился он к Денисову.

— Нет, я больной человек, на линию нельзя мне.

Стали строить планы близкого будущего. Выходило очень хорошо.

— Только Елька не пустит,— сказал вдруг Бельский упавшим голосом.

— Почему не пустит? — спросил Кольцов.

— Не пустит,— ответил Бельский.— Соединить нас втроем — что же это выйдет? Всё вверх ногами поставим — и его не пустим на участок.

— Да как он может не пустить,— возражал Кольцов.— Это мое право выбирать начальников дистанций.

Бельский в тот же день закинул удочку и рассказал свой план Залескому.

При докладе Залеский, между прочим, сказал Елецкому:

— Бельский и Дубровин хотят проситься к Кольцову.

— Дудки,— ответил добродушно Елецкий.— К этакому кипятку, как Кольцов, прибавить двух таких головорезов — они всю линию разнесут. Кольцову не пару подбавлять, а тормоза нужны.— И, помолчав, Елецкий прибавил: — Надо с этим кончить. Сегодня вечером приходите, составим списки на участки, а ночью надо их отпечатать. С конченным делом и разговоров не будет, а сегодня мне придется уж

дома заниматься, чтоб избавиться от этих просьб. Скажете, что я заболел.

Кольцову так и не удалось в тот день поговорить с Елецким о своем штате, а на другой день в управлении уже был отпечатан приказ начальника работ о назначениях.

Переговоры Кольцова с Елецким на эту тему оборвались на первой фразе Елецкого:

— Я завален просьбами о назначениях. Начальники участков почти все одних и тех же приглашают, остальных никто не желает. Начальники дистанций почти все к одному просятся, к остальным не желают. Чтобы избавиться от этих бесконечных просьб, я решил изменить на этот раз способ назначения и сам всех назначил. Так как ваш участок самый трудный, то вам и назначены лучшие силы: Звиницкий, Штомор, Мартино, Касович и ваши прежние Татищев и Стражинский.

— Я хотел было просить о Бельском и Дубровине.

— С кем же я останусь? — вспыхнул Елецкий.

Через неделю Елецкий и Кольцов выехали в Петербург.

Доклад сошел благополучно и, сверх ожидания, был встречен очень милостиво. Радиус сто пятьдесят, излюбленное детище Кольцова, пришелся как нельзя кстати.

В Петербурге в высших служебных сферах уже был возбужден вопрос об уменьшении радиуса.

На замечание председателя Временного управления, что жаль, что не употреблен при изысканиях радиус сто пятьдесят, Елецкий с достоинством ответил:

— Я привез вариант с радиусом сто пятьдесят.

Передавая Кольцову об этом, Елецкий сказал:

— Вот и толкуйте с ними. В прошлом году на заседании мое предложение насчет радиуса было единогласно отвергнуто, а в этом году они готовы меня же упрекнуть, зачем не ввел его.

И, помолчав, Елецкий пренебрежительно бросил:

— Флюгера!

<Во Временном управлении Кольцов узнал, что необходимость радиуса сто пятьдесят настолько сознана, что Временным управлением уже началась пе-

репроектировка существующей профили. Это дело было в заведовании товарища Кольцова — Никольского.

— Мы и до вас добрались,— сказал Никольский, разворачивая план прежде представленного Кольцовым варианта линии.— Объясните, пожалуйста, как нам быть. Возьмешь вашу профиль, начнешь откладывать на план— в воду залазишь. Начнешь по горизонталям откладывать, расстояния и углы не выходят.

— Ну? — спросил Кольцов.

— В чем тут дело? — не без ехидства переспросил Никольский.

— Очевидно, что в плане ошибка,— ответил Кольцов.

— Да, тогда, конечно, понятно,— колко согласился Никольский.

— Еще мы заметили,— начал Никольский, но замолчал и начал рыться в бумагах.

— Что еще? — переспросил Кольцов, волнуясь и чувствуя себя неловко.

Никольский достал профиль и проговорил:

— Вот. Тангенс 37.75, другой — 40.52, вставка 30 — сумма 78.97, а по пикетам длина линии 75.97.

— Опять ошибка,— покраснел Кольцов.

Никольский насмешливо улыбнулся и стал собирать бумаги. Несколько инженеров собралось и с любопытством смотрели на Кольцова.

— А еще в моем варианте вы ничего не заметили?

— Больше, кажется, ничего,— ответил Никольский тоном, говорившим, что и этого довольно.

— А экономии этого варианта против прежней линии на миллион сто тысяч рублей не заметили? — желчно спросил Кольцов.

Никольский удивленно посмотрел на Кольцова, но, встретив его налившиеся кровью глаза, быстро отвел свои и быстро стал собирать бумаги.

— И вам не совестно? — наступал на него Кольцов.— Этот план, эта профиль — это мое вам донесение, что сделано миллионное сбережение. Это донесение полководца, что выиграно блестящее сражение, а вы, совет десяти в Венеции, ищете грамматические ошибки в рапорте и, опуская содержание, готовы начать обвинение за грамматические ошибки. Стыдно. Если вы грамотные, то по профилям можете убедить-

ся, что места, где сделан вариант, сплошь состоят из разорванных скал, где немыслим математически точный промер: скалы, где два человека у меня вдребезги разбились, где каждое проложение цепи связано буквально с опасностью жизни. Вы ищете точности в три сажени на двадцативерстном расстоянии, когда от отсыревшей линейки и сухого помещения всегда может получиться такая ошибка.>

— Это не наше дело.

— Не ваше. А какое же ваше дело? Игнорировать, сводить на нет, садить в чернильницу?

— Да что вы с цепи сорвались? — окрысился Никольский.— Если вы будете так говорить, я должен буду прекратить наш разговор. Никто вас ни в чем не упрекает, показал вам ошибки, которым вы сами только и придаете значение. Всякий понимает, что требовать математической точности нельзя, но стремиться к ней необходимо. О чем же говорить? А все эти миллионы здесь ни при чем. Сберегли их, и слава вам, мне от этого ни тепло, ни холодно — мое дело просмотреть вашу профиль и сверить ее с планом. Сверил, нашел ошибку и докладываю вам как товарищу, показал и в благодарность получил ругань.

— Да я вовсе вас и не хотел трогать,— отвечал сконфуженно Кольцов.— Я только хотел указать на ту китайскую стену, где недосягаемо ютится вся мерзость казенного дела,— нанести удар может всякий, кто пожелает, а защититься от таких ударов никакими миллионными сбережениями нельзя.

— Ох, бедненький, беззащитный,— сказал Никольский.— Обидели,— обидишь вас, сам всякого обидит.

Окружающие инженеры рассмеялись. Кольцов тоже добродушно смеялся.

— Вы зачем в Петербург приехали? — спросил его Никольский.— Для того только, чтобы нам заявить, что вы миллион сократили?

— Для этого и кстати, чтоб сказать вам, что и другой миллион еще привез.

— Вариант?

— Вариант.

— Черт знает что — как блины печет он эти варианты. Да вы что сразу не сделаете как следует?

— Опять булазка. Опять полное незнакомство с тем, о чем говорите,— шутливо отвечал Кольцов.— Сразу, господин, ничего не делается. И прыщ сначала почешется, а потом уже выскочит.

— Какой он недотрога стал,— заметил Никольский.

— Недотрога, — вспыхнул Кольцов.— Пятнадцать лет тому назад за все свои варианты я получил бы тысяч триста премии, да поклон в ножки от хозяина-концессионера, который на всех перекрестках будет расхваливать меня, а теперь я чуть не Христа ради выпрашиваю как милостыню принять мои варианты и должен считать для себя как милость высоко снисходительные замечания вроде ваших: почему сразу не сделали. Да, черт меня побери, сколько надо было поломать голову, чтоб выдумать такое положение дел, чтобы всякий участник в деле не только не был бы заинтересован в успехе, но наоборот всю помощь свою невольно направлял к тому, чтобы с такой стороны осветить вопрос, чтоб сразу все дело свелось на нет.

— Эк его распирает, подумаешь, что он не с полюса, а с экватора приехал. Из мухи, батюшка, слона делаете — на все в увеличительное стекло смотрите. А вы смотрите проще — люди как люди. Что вы мне — брат, сват, чтобы я за вас радовался и на стену лез. Ну сделали и сделали, долг свой исполнили, чего вам еще? А где наврали, так и наврали. Что ж нам прикажете делать, для чего ж мы, по-вашему, здесь?

— Да, по-моему, вы совершенно бесполезный народ, если только для того и сидите, чтобы наши ошибки искать, так как таких инженеров из такого же теста, как вы, уже сидит сто человек.

— И все ж таки ошибки не досмотрели.

— А что толку, что вы досмотрели. И ошибка-то только вашим существованием вызвана. Для вас специально и тратим время на разрисовку этих картинок.

— Армия никогда не признает штаба, а без штаба все ж таки армия сброд баранов,— отвечал Никольский.— В данном случае вы, может быть, и правы, но есть миллион случаев, о которых, очевидно, вы не имеете и представления. Не было бы нашего Временного управления, например, с властью, большею, чем

у министра, все вопросы должны были бы проходить через Государственный совет, а для живого дела, вы понимаете, что значит? Идет у вас дело хорошо — мы молчим, а вдруг злоупотребление и нужно его прекратить в двадцать четыре секунды — вот мы тут как тут. Сдаются подряды, а цена сумасшедшая — готово veto [1]. Понимаете, господин?

— Если бы в России строилась целая сеть дорог, тогда я еще понял бы, но когда строится в год одна дорожка, то содержание штата, стоящего до миллиона, ложащегося бременем на одну дорогу, я не понимаю. За одним человеком уследить и так можно, а не хватает власти, то ввиду того, что это уже означает факт,— в чем же дело? Усильте министра и консула. А при таком положении, когда вас двести на одного, за неимением настоящего дела вы будете выдумывать себе его — это и дорого и ведет к деморализации. Нужно девать куда-нибудь избыток сил — нельзя направить на дело, на безделье можно. Результат — сплетни, интриги, сажание в чернильницу и прочие атрибуты людей, не занятых настоящим делом. Вдобавок так вы все здесь поставлены, что вы ничем не заинтересованы в успехе дела, а напротив, ваша заслуга найти пятно. И по службе выслужился, да и конкурента лишнего устранил. Пожалуйста, не возражайте, факт налицо: из всех ваших начальников работ кто ушел не с замаранным хвостом? А ведь были люди, заслуживающие высокого уважения, что ж вы с ними сделали,— одного прогнали, другого довели до самоубийства, третий с ума сошел. Что вы с Елецким наконец делаете? Ведь недели не проходит, чтобы вы ему какой-нибудь каверзы не придумали. Ну вот хоть сейчас. Десять человек занимаются под начальством Дубинина перепроектировкой профиля на радиус сто пятьдесят. Все это потихоньку, чтобы сюрпризом послать ему: вот, дескать, тебе,— за три тысячи верст сидим от линий, а лучше тебя видим, что нужно делать. А в прошлом году сами же отказали в этом Елецкому. Ведь гадость же. Ну вызвали бы его, предложили бы, а то тайком. Хорошо, что Елецкий маху не дал и на этот раз сам привез вам радиус сто

[1] запрет (*лат.*).

пятьдесят и, кстати, этим же показал, что такую работу необходимо делать на месте, а не в кабинете. Я смотрел эту перепроектировку, стыдно просто, поняли бы хоть одно, что раз новый радиус разрешен, то для него и новые места нужно выбрать, а они себе по тем же местам валяют. Сто тысяч, говорят, экономии, когда я с одного своего участка привез семьсот. В том-то и ваше горе, что вы или забыли живое дело, или не знаете. Иначе бы таких глупостей не делали. Вместо того, чтоб обставлять все дело так, что благодаря только чуду могут получаться сокращения,— поставьте дело рационально.

— Как же его, по-вашему, надо поставить?

— А вот как. Если я вам выложу на стол миллион и подарю с тем, чтобы из него вы мне отдали пятьдесят тысяч, то вы согласитесь на это, конечно. Концессионер-хозяин понимал эту логику, и самой выгодной статьей были у него изыскания. Для этого достаточно сравнить в прежних постройках предварительные и окончательные изыскания — разница в миллионах. Возьмите правительственные постройки — разницы между предварительными и окончательными почти никакой. Кому надо заботиться об сбережениях, тратить силы, здоровье, деньги, наконец, так как два рубля пятьдесят копеек суточных кому же хватит на жизнь в Петербурге? А у кого денег нет лишних? А у кого охоты нет переносить одни обиды, так на долю изыскателей только это и выпадает? Ведь это нарочно надо придумать такие не обеспечивающие дело условия. Жаль пяти процентов и не жаль девяноста.

— Казна в данном случае смотрит так: премия — деморализация. Ты гражданин, ты обязан исполнять свой долг, и надо полагать, что и без премий ты сделаешь все, что можешь.

— Это довод или мошенника, или дурака. И вот почему. Оттого, что казна смотрит на человека, как на идеальное существо, человек не переменится и останется тем же, чем был — пострадает одна казна. Что это за утешение, что он должен? Но он не делает. Можете вы его проверить? Нет, конечно. Вот вам факт налицо. Уже четвертый мой вариант вы мне утверждаете. Уже два с половиной миллиона вы бы

заплатили, а может быть и теперь вы в других местах платите. Вы ведь этого не знаете, для того чтобы это знать, нужно горизонталями снять всю страну, работа, стоящая дороже самой линии! Где у вас гарантия, что человек приложил все свои силы и сидит действительно достойный, а не бабушкин внучек? Ваша гарантия в том, что вы наполовину уменьшили содержание, уничтожили премии, игнорируете, на нет сводите заслуги и при всем том остаетесь в сладком убеждении, что всякий должен исполнять свой долг. И это в коммерческом деле, когда рядом тысячи коммерческих дел, где людей считают за людей и умеют ценить их. В результате все опытное, все знающее, все способное ушло. Осталась посредственность, подлая посредственность, которой каждое напоминание об ее ограниченности колет и режет глаза. Выиграла ли от этого казна? Один убыток как в нравственном, так материальном отношении. В нравственном понятно, а в материальном еще понятнее: наши изыскания ведутся уже два с половиной года и стоят дороже любых концессионных,— то, что опытный сделал бы сразу, неопытный сделает в несколько раз, я не беру во внимание ленивых, неспособных. Количество начальников тоже несравненно больше. Все это еще яснее в постройке. В концессионном способе была одна администрация и затем система мелких рядчиков. У нас контроль, вы, мы, линейные инженеры в количестве большем против концессии и, наконец, участковые подрядчики с администрацией, не уступающей нашей. Смело можно сказать, что на одного прежнего приходится теперь трое служащих, из которых подрядчик продолжает преисправно в большем против прежнего количестве получать содержание и премии. Несостоятельность казны очевидна: очутившись благодаря бумажным сбережениям со штатом, не годным для работы, она вынуждена взять подрядчика и за пятнадцать процентов бумажной экономии отдать сто процентов подрядчику. Это факт. Посмотрите любую смету подрядчика: на администрацию, ее премии, проценты на капитал и заработок себе он кладет тридцать пять процентов от всей суммы. Сумма прежних премий (пять процентов) составляет пятнадцать процентов от этой суммы. Кто может так действовать?

Или человек, не знающий того дела, за которое берется, или дурак, который не умеет доказать государству, в чем истина, и этим позволяющий грабить это государство, или подлец, умышленно заинтересованный в таком положении дел. А с виду выходит очень хорошо: никому не обидно из чиновников — всем жалованья убавили — не те-де времена. Общество успокоено, что период хищений кончен. Вам угодно родине служить, полезным быть отечеству — вот вам грош, а вы хотите казну грабить — вот вам миллион. Умненько придумано.





ИСТОРИЯ ОДНОЙ ШКОЛЫ

Набросок с натуры

На заводе произошло событие: прежний владелец продал завод, и новый хозяин назначил новую администрацию. Перемена касалась, собственно, высших сфер завода; что до мелких служащих, то они остались на своих местах, и каждый по-своему относились к происшедшей перемене.

Учитель надеялся, что дело примет более благоприятный оборот для школы и для него.

Школа помещалась в старом деревянном флигеле, в котором дуло и поддувало так, что вода зимой замерзала, а учитель не выходил из тулупчика, ежась от холода в своей конурке с окном на задний двор.

Надежды учителя не сбылись: не понравились управителю ни школа, ни учитель,— общий тон школы был слишком фамильярный и даже распущенный, идеалист учитель действовал неприятно на нервы положительного управителя.

Неудача не смутила учителя. Он привык к ним. Он решил объясниться с управителем. «Управитель неглупый человек и поймет все дело, когда это дело учитель выяснит ему. Дело на виду. Невозможное здание школы; дует, и даже свет с улицы виден. Пусть сам убедится, если не верит. Пусть приложит руку к любому подоконнику!» Учитель наудачу подходил и прикладывал руку: из подоконника вылетала струя свежего, морозного воздуха. Ясно, что жить в таком доме нельзя. Ясно, что такая школа только развод всяких болезней. Не менее ясно было, что школа должна быть школой,— в ней должны быть по крайней мере книги, тетради, карандаши. Отказывать ребенку в бумаге, карандаше, даже и для заба-

вы его,— значит отбивать охоту, значит отказывать в возможности делать как следует то дело, для которого идет он в эту школу. Какой при таких условиях может быть успех?! И к кому же ему обращаться, как не к управителю?! Не о себе же идет он хлопотать?!

Учитель усмехнулся.

О себе! Он и так половину своего жалованья тратит на детей. Управитель может сомневаться в нем,— пусть спросит у кого хочет: кто он, что он, любит ли свое дело, занимается ли? И когда убедится, что он никаких личных целей не преследует, что ничего ему, кроме дела, не надо, то он, конечно, и отнесется к нему лучше, чем в первый раз. Он расскажет ему свой взгляд на школьное дело, какие цели он преследует. Он имеет что сказать. Управитель и не ждет встретить в его лице человека, для которого это дело дороже его жизни, который на школу вовсе не смотрит только как на ремесло обучения грамоте: школа — это закваска будущего человека, и не пустое место должна она оставить после себя, и пример должен быть он — учитель; его любовь к ученикам, его любовь к делу, привычка уважать себя — все это должно вызвать в детях стремление к сознательной, осмысленной жизни. Если старые люди, попадая в какую-нибудь секту, извращенную, ложную, тем не менее молодеют, оживают духом, то что может сделать школа с молодой душой, чуткой на все доброе и хорошее. Какой ею интерес можно вызвать к жизни?! Он твердо уверен, что из его школы незачем будет идти ни в секту, ни в раскол, никто не сделается ни вором, ни конокрадом. Это было бы личным позором для него — личным стыдом: точно он сам бы украл. Учитель обвел своим мягким вдумчивым взглядом грязные стены своей школы.

«Надо идти»,— подумал он. Он оделся и пошел к управителю.

Управитель был недоволен распущенностью завода. В делах был беспорядок: на заводе процветало тайное воровство железа, по ночам шлялись ватаги пьяных рабочих, так что даже небезопасно было ходить по улицам, попытка поднять таксу на лес вызвала резкий протест со стороны заводского населения.

Управитель сидел сосредоточенный за письменным столом в своем кабинете и разбирал бумаги. Он угрюмо поздоровался с учителем и показал на стул.

Учитель взволнованно пожал протянутую руку, на мгновенье остановился на недовольном, загадочном лице управителя и проговорил, неловко садясь:

— Я, Николай Евграфович, к вам по поводу школы пришел объясниться. Я видел, что на вас она произвела неудовлетворительное впечатление. Смею вас уверить, что это только первое впечатление. Школа очень хорошо поставлена...

Управитель посмотрел пренебрежительно в сторону.

— Я вам подробно расскажу, какие цели я преследую...

Управитель сделал нетерпеливое движение.

— Мне некогда,— избегая взгляда, проговорил управитель.

— Я, собственно, только хотел сказать, что цели...

Управитель сделал резкое движенье и круто повернулся к учителю.

— Я вас прошу оставить меня... цели, цели... точно речь об университете идет. Не Бисмарков готовите: готовите крестьянина, простого крестьянина, и должны дать ему дисциплину... все, что требуется... и не даете... Ларивонов при вас кончил?

— При мне.

— По-вашему, его аттестация какая?

— Это талантливый человек.

Управитель покраснел, сжал зубы, так что они скрипнули, помолчал и медленно, нехотя ответил:

— Сегодня этот талантливый человек отправлен мною в тюрьму за подстрекательство против заводской администрации. Это сам завод на свои средства себе же приготовил...

— Я этого не знал еще, он всегда был увлекающийся... Школа здесь ни при чем... Это уж свойство его темперамента... Школа не может переделать темперамента.

— А не может, нечего и браться... таково мое мнение...

— По-моему, задача школы дать производительного, честного работника... дать ему тот подъем ду-

ха, при котором явится у него сознательный интерес к производительной работе...

— Явится у него стремление все вверх ногами поставить... Я сегодня же пишу владельцу, что нахожу вашу деятельность вредной.

— Я не знаю чем... поверьте же, Николай Евграфович, что все это одно недоразумение...

— Ну, извините, пожалуйста, мне некогда,— резко перебил Николай Евграфович. Он быстро сунул учителю руку и отвернулся к своим бумагам.

Учитель наскоро поклонился и не заметил, как вышел на улицу. Он быстро шел, растерянно оглядываясь, точно потерял что-то. Слезы подступали к горлу. Ах, если бы мог он где-нибудь, как-нибудь сказать так, чтоб выслушали все всю заветную его думу: ведь это все так хорошо... всё, всё бы приняли. Но теперь уж совсем некому говорить.

И в своей тоске он еще сильнее проникался необходимостью своей идеи, еще более любил ее и сильнее было жаль ее теперь, обижаемую, так жаль, как будто это была не отвлеченная идея, а реальное любимое существо, которому вдруг грубо и несправедливо нанесено незаслуженное оскорбление. Ах, было одно только ясно: он еще сильнее любил, точно хотел усиленной любовью возместить обиду и сжечь ее горечь в разгоревшемся пламени этой любви.

«Я сегодня же напишу владельцу...»

«И я напишу»,— мелькнуло в голове учителя.

Он пришел домой и сейчас же сел за письмо. Он писал до тех пор, пока весь керосин не догорел в лампе. Тогда, так как больше керосину не было, он наколол лучин и при свете их докончил свое длинное послание.

Воспрявший духом, свежий и бодрый, съев кусок хлеба, он улегся на свою жесткую кровать, сверх одеяла покрылся своим тулупчиком и сладко, ежась от холода и усталости, заснул здоровым беззаботным сном.

На другой день, веселый, полный энергии, он весь отдался своей обычной жизни и потонул в ее непередаваемых, только ему уловимых переливах. И жизнь закипела. Счастливый сознанием удовлетворения этой жизни, он среди чумазой толпы своих учеников с

обычным чутким интересом прислушивался к новым и новым стрункам своих возбужденных, удовлетворенных питомцев.

Когда занятия кончились, он вместе с детьми вышел на улицу, где бегали его пока еще слишком юные для учения кандидаты.

Как самый искусный вербовщик, он наметил жертву и пошел к ней.

Это был толстый, красный от мороза бутуз с точно раздвоенными глазами, маленьким узким лбом, бутуз, который то и дело усердно подтягивал носом и надоедливо сдвигал назад большую тятькину шапку, мешавшую ему отдаваться удовольствию наблюдать высыпавшую толпу ребятишек.

Учитель прошел мимо своей жертвы, не смотря на нее, круто повернул и взял мальчика за руку.

— Пусти...— испуганно рванулся мальчик.

— Тебя как звать?

— Пусти...

— Его звать Ванька Каин,— шепеляво и вытягивая слова отозвался другой, с мягкими большими умными глазами мальчик.

— А тебя как звать?

— Амплий,— спокойно ответил мальчик.

Ванька, превратившийся было весь в слух, опять строго проговорил:

— Пусти...

— А — хочешь посмотреть картинку?

Учитель вынул маленькую книжку с рисунками раскрашенных зверей.

— Смотри, какой страшный... видишь зубы, а хвост-то какой... он как прыгнет на человека...

Ванька впился в картинку.

Амплий доверчиво через руку учителя тоже смотрел на нее.

Учитель показал другого зверя, третьего.

— Тятька мой как тлеснет тебя...— проговорил Ванька.

— Как треснет?

Ванька тут посмотрел на учителя и вдруг со всего размаху ударил его кулаком по ногам.

— Вот как тлеснет,— сказал он и быстро отбежал.

Но, видя, что учитель его не преследует, остановился и спросил:

— Что, будешь?

— А тятька кого треснул?

— Мамку тлеснул.

— Больно треснул?

— Бо-о-ольно... Кровь пошла.

— Тебе жаль мамку?

Ванька не ответил, повел глазами и, увидев садившуюся на землю ворону, весело показал на нее пальцем учителю.

Ворона, степенно покачиваясь, пошла прямо на Ваньку, остановилась около его ног, боком покосилась на них и, клюнув валенку Ваньки, пошла дальше. Ванька, вытянув шею, замер, не сводя восторженных глаз с учителя.

— Она любит тебя,— проговорил учитель. Ванька сверкнул на ворону глазами, покраснел от напряжения и с визгом: — и-и-и! — расставив руки, бросился к вороне.

Результат письма учителя был тот, что приехал владелец, выслушал учителя, и дело приняло такой оборот, какой не снился учителю: решено было выстроить новую школу. Проект ее был составлен в Петербурге и обстоятельно обсуждался специалистами. О нем даже заговорили в печати, и по адресу владельца было сказано много лестного.

В газетах писали: «Лучшее здание в Англии принадлежит школе,— путешественник видит его, пока еще остальное селение скрывается в тени этого здания. Счастливые жители завода, приобревшие в лице нового владельца человека, стоящего на таком высоком уровне современных требований жизни».

Радости учителя не было пределов. В школе предполагалось, кроме обучения, завести ремесла. Строился целый дворец. Было чему порадоваться и чем поделиться с детьми.

Фигура учителя выросла в глазах заводских жителей. Была и личная радость: возможность обзавестись семьей.

В новом здании было место для жены.

Мысль о жене, правда, отравлялась немного сознанием, что ему уже тридцать пять лет, но он был так молод душой, что как-то совсем не чувствовал своих лет, и ему все казалось, что он по-прежнему только что начинающий жить молодой человек.

— Это несчастие иметь дело с людьми, не знающими жизнь,— говорил управитель владельцу соседнего имения.— И умный, и добрый, и хороший, а дал себя сбить просто, можно сказать, сумасшедшему человеку.

— Вы про владельца?

— Положительно, хоть отказывайся. Я хочу сделать последнюю попытку образумить и, если не удастся, оставлю место. Из Петербурга все хорошо, а тут что ж прикажете делать, если каждый по-своему начнет.

— Я еду в Петербург: попробую помочь вам.

— Не мне— ему помочь. Сам же спасибо скажет...

Судьба была за управителя. Пока велись переговоры, учитель простудился и умер от тифа, бредя своей школой.

В холодный зимний день отнесли его на кладбище. Торопливо, озабоченно шагали за гробом покинутые дети.

Там, на могиле, их глаза с тоскливым недоумением смотрели, как забрасывали мерзлой, холодной землей их учителя.

Завтра они уж не найдут того, кому они, маленькие оборвыши, были дороги.

О, дети отлично понимали этот удовлетворенный, веселый, тревожно-ревнивый взгляд, с каким встречали их в старой покосившейся школе. Понимали и жили беспечной, счастливой жизнью детей, тех счастливых детей, которых любят.

Даже и для большого завода это была слишком блестящая школа: громадные высокие комнаты, зеркальные окна-двери. Солнце весело играло на паркетных полах, на блестящих полированных скамьях, на

сверкающих шкафах большой ученической библиотеки. За учебными комнатами шли залы с мастерскими для девочек и мальчиков.

Тонкая, с вытянутой шеей десятилетняя Варюша в длинном, плохо сшитом ситцевом платье, в валенках, с прямым разделом гладко причесанных, сведенных в одну косичку волос, с повязанным поверх них туго накрахмаленным ситцевым платком, подтягивала носом, робко жалась к знакомым ребятишкам Ваньке и Амплию и в толпе остальных осматривала новое помещение.

Дети возвратились назад в классную, и учитель, остановившись у дверей своей квартиры, проговорил им:

— Ну, дальше вам нечего смотреть, ступайте домой. Завтра аккуратно в восемь часов приходите. Кто опоздает, жалуйся на себя.

Новый учитель, высокий, худой, провожал своими маленькими глазами детей.

В прихожей стоял сторож.

— Ты смотри мне,— прикрикнул он, засунув руки в рукава своего отставного мундира и перегнувшись вперед, Ваньке Каину, мазнувшему пальцем по гладкой масляной стене.

Ванька весело покосился и бросился к выходу, надавливая на толпу.

— Цыц ты,— прикрикнул на него сторож и сделал движение к Ваньке.

Ванька стремительно выбежал на улицу и, довольный, забыл думать и о стороже, и об учителе, и о школе.

Дела пошли своим чередом. Выбор нового учителя был предоставлен усмотрению управителя.

На том же стуле, на котором когда-то сидел прежний учитель, теперь сидел новый и, удовлетворенный, делился своими впечатлениями с управителем.

Управитель снисходительно слушал, сознавая необходимым поощрить полезно направленную энергию нового педагога.

— У меня, Николай Евграфович, длинных разговоров нет: урок задан, объяснен, спрошен — и с богом: лишние проводы, лишние слезы.

Николай Евграфович молча кивнул головой.

— Порядок для всех один: хочешь? — милости просим, нет — вот бог, а вот порог. Если с каждым заводить свои порядки, так ведь, помилуйте, скружат... Хоть про покойников и не следовало бы худо говорить, а уж, сказать по правде, и развел же делов мой коллега, не тем будь помянут. Это просто умора: дневник его я читаю. И чего-чего ни напишет! И выдающийся, и талантливый, и такой, и сякой... и все у него выдаются...— Учитель рассмеялся сухим смехом. Николай Евграфович снисходительно улыбнулся.— А ведь извольте вот... ему-то хорошо теперь лежать там: никто не придет, а ты тут распутывай, да наладь, да обратай лошадку: норовистого-то конька ой-ой как исправлять... Я, Николай Евграфович, не знаю, как вы, а по-моему, зачем простолюдину таланты его разыскивать? Его талант какой: если ты землю пашешь — и паши, не ленись, люби жену свою, будь добрый хозяин; на заводе ты — работай правильно, без облыжки, не кради. Время есть, научился грамоте, почитай разумную книжку в праздник, чем в кабак-то идти да по ночам по улицам шляться. Какой еще талант? Чего ему с ним делать? Не знаю, может, я и ошибаюсь...

— Нет, я разделяю ваш взгляд. Там, через двести лет, что будет, те и будут разговаривать... а наше дело — простое, несложное дело, и, не мудрствуя лукаво, надо и делать его.

Близ заводских порогов однажды весною разбило барку.

И старый, и малый, и весь завод спешили на берег.

Для Ваньки Каина было истинным мучением в такой день идти в школу.

Он стоял на углу тех улиц, из которых одна шла к школе, а другая к реке, мучительно крутил свои пальцы и упрямо смотрел своими маленькими, раздвинутыми глазами пред собою. От напряжения его толстое, широкое лицо кривилось, и маленький узкий лоб то и дело сдвигался в морщинки. На зов мимо шедших товарищей, спешивших в школу, он только сердито поводил плечом и продолжал упрямо смотреть перед собой.

В классе ученики толклись у дверей учительской квартиры и, убежденные, что нелегкая понесет-таки Ваньку на берег, громко, так, чтобы слышал учитель, говорили:

— Ваньке влетит.

Урок уже начался, когда дверь отворилась и неожиданно вошел Ванька. Вошел довольный собой, с расплывшейся довольной улыбкой на лице.

— Стань к доске,— проговорил учитель, не глядя на Ваньку.

Ванька пошел к доске. Там он стоял, широкий, маленький, злой и раздраженный, поздно сожалея, что не убежал на берег.

Урок шел своим чередом.

— Амплий, повтори!

Встал Амплий, и голова его едва виднелась из-за скамьи. Большие мягкие глаза его смотрели на учителя сознательно, не по-детски умно, он топтался и точно собирался с силами, чтобы начать:

— К примеру, если...

— Не надо «к примеру»,— перебил учитель.

Амплий замолчал, собрался с силами, открыл рот, опять открыл и опять ничего не сказал.

— Не могу,— рассмеялся ласково-просительно Амплий.

Амплий был любимец учителя.

— Ну, не можешь, в уме скажи «к примеру», а громко прямо начинай.

Амплий поднял глаза к потолку, прошевелил губами: «к примеру», и начал:

— К примеру, если человек украл там что-нибудь, так это худо, а хуже еще того оговорить человека.

— Хорошо, только зачем ты опять сказал «к примеру»?

— Так уж...— развел руками Амплий.

— Ты напиши вот, что сказал, вычеркни «к примеру», а остальное выучи и скажешь мне.

— Слушаю,— ответил весело Амплий.

Учитель продолжал:

— Вещь украл, поймают и накажут,— ученика выгонят из школы,— большого в тюрьму посадят. Ну, погубил себя, да только себя, а ославил другого, доброе имя украл его — и чужую душу загубил.

Ванька напряженно смотрел, и мысль о береге прожигала его.

— Ванька, повтори.

Ванька злыми глазами впился в учителя.

— Не хочу,— ответил он.

— Не хочешь? — кивнул головой учитель, подходя к Ваньке.— Ах ты, язва маленькая, так не хочешь?

Учитель напряженно смотрел в глаза Ваньки и, вдруг успокоившись, равнодушно проговорил:

— Ну, когда захочешь, скажи, а до тех пор домой не пойдешь.

Ваньке ясно было, что если он не пойдет домой, то и на берег не попадет. Ясно было и то, что и на берег ему до смерти хотелось. Но совершенно неясно было, отчего ему не хотелось, хоть режь его пополам, повторить слова учителя.

Урок кончился, началась рекреация[1], и Ванька ходил, весь поглощенный одной мыслью попасть на берег.

«Если ученик украл, его прогонят»,— запало в Ванькину голову.

Он осторожно пробрался на кухню учителя. На столе стояла кастрюля, и в кухне никого не было. Ванька схватил обеими руками эту кастрюлю и понес ее так осторожно, как будто нес какое-нибудь сокровище.

Ученики удивленно встретили Ваньку с его оригинальною ношею.

— Ты куда волокешь? — спросил Амплий.

— Украл... на базар продавать.

Хохот учеников еще больше возбудил Ваньку.

— У-у! украл, украл! — весело-напряженно повторял Ванька и пустился бежать. Ученики повалили за Ванькой в переднюю. И в передней сторожа не было. Ванька оделся, схватил кастрюлю и выскочил на улицу.

Интересное кончилось, и толпа детей побежала за его продолжением.

— Ванька украл кастрюлю,— толпились они у дверей учителя.

---

[1] перемена (*от лат. recreatio*).

— И на базар понес продавать...

Ваньку поймали уже на базаре и в тот же день выгнали из школы.

О Ваньке поговорили-поговорили и забыли, как забывали и о всех тех, которых от поры до времени выбрасывал за борт последовательный учитель.

Но Ванька не забыл о себе. Не нужный учителю, его оценили другие.

В двадцать лет Ванька был первый конокрад, первый мастер по сбыту краденого железа.

— Просто, братец мой, цены парню нет,— хвалили товарищи,— куда хошь, только оглаживай, знай, его...

— А без этого хоть брось...

Амплий кончил школу, кончила и Варюша.

Амплий поступил надсмотрщиком на завод, а Варюша горничной в семью управителя.

Судьба опять свела Ваньку и Амплия. Ванька работал на заводе, а Амплий надсматривал. Вечером Ванька с другим таскал с завода припасенное днем железо, а Амплий расставлял сторожей так, чтоб не видать Ваньку.

Амплий хорошо знал, что крадут железо: да что он тут мог поделать? Сегодня поймает, а завтра самого найдут где-нибудь мертвого под забором. В заводе жизнь особенная, налаженная десятками, а на других и сотнями лет. Амплий понимал, что ничего он тут не поделает, а себя погубит. Амплия уважали за это, называли умным парнем, носили ему когда и гостинец. Любило Амплия и начальство, и все смотрели на молодого парня, как на человека, у которого хорошо обеспеченная будущность. Амплий ходил в щегольских высоких сапогах, в синей тонкого сукна поддевке, по воскресеньям ходил в церковь, а после церкви, пообедав, сидел на завалинке, грыз семечки и беспечно глазел по сторонам.

— Девка красная... ты... идешь, что ль?

И веселая ватага парней останавливалась перед Амплием и, подмигивая, ждала ответа.

— Не пойду,— мотнув головой, отвечал Амплий.

— Бабник,— говорили пренебрежительно парни,— пойдет теперь лясы девкам точить...

Амплий действительно любил девичье общество.

Ванька Каин, наоборот, был равнодушен к «женскому сословию», и только спокойная, уравновешенная Варюша производила на него неотразимое впечатление. Варюша гнала энергично Ваньку, и хоть минутами и тянуло что-то в ней к нему, но воли она себе не давала.

Да и партия была не равна. А Варюша была девушка с расчетом: аккуратная, строгая, умная, хозяйственная. Одних платьев до десяти было. Самое большое удовольствие Варюши было прийти, бывало, домой и начать раскладывать свое богатство. Пересмотрит все, сложит назад в сундук и пойдет на барский двор, удовлетворенная осмотром.

Случай помог Ваньке. Загорелась изба Варюшиной матери. Варюша опрометью прибежала с барского двора.

— Сундук, сундук! — кричала она и, сморщившись, испуганно смотрела в горевшие окна.

— Поздно, Варюша,— ласково проговорил Амплий.

Так и села Варюша на землю: «сомлела», по народному выражению. Разгорелось сердце Ванькино.

— Лей воды! Брандебай! Вытащу.

Нашли воды, направили на него струю, и Ванька бросился в сени, каким-то чудом удалось ему не сгореть и появиться через несколько томительных мгновений с сундуком в руках.

Одно лишнее промедление — и пропал бы Ванька. С обгорелыми волосами, лицом и руками подтащил он к Варюше сундук и сказал:

— Бери!

Так сказал, что и про сундук Варюша забыла. Подарила Ваньку в первый раз настоящим взглядом. Ванька был не промах, повел дело искусно, и Варюша стала сдаваться. Даже мысль о худой славе перестала страшить Варюшу. О ком не толкуют? не пойман, значит, не вор.

Дело испортилось нежданно и негаданно. Ванька попался в конокрадстве, и его посадили в тюрьму. Дело приняло другой оборот с Варюшей. Через шесть месяцев, когда Ваньку выпустили, Варюша уже была объявлена невестой Амплия.

Ванька, как услыхал об этом, не поверил. Он побежал на барский двор.

— Врешь, не вырвешься! — шептал он.— Матрешка, подь сюда,— поманил он в барских воротах маленькую девочку, дочку судомойки.

— Чего тебе?

— Ходь сюда.

Когда девочка подошла к воротам, Ванька как-то сконфуженно сказал ей: «Скричи на час Варюшу,— и так как Матрена нерешительно раздумывала, то он повторил просительно: — Скричи... гостинца дам».

Девочка повернулась и пошла к барскому дому. Разыскав Варюшу в передней, она проговорила, не вынимая изо рта пальца:

— Слышь, Ванька кличет тебя.

Варюша быстро прошла в коридор и проговорила оттуда изменившимся голосом:

— Не пойду...

— Нейдет,— лениво крикнула девочка, выйдя во двор.

Ванька сконфуженно оглянулся. «Матреша, подь сюда...— для чего-то понижая, прикипевшим голосом позвал Ванька.— Ходь, дурочка, на вот тебе деньги».

Матреша нерешительно опять подошла и взяла протянутый ей дрожащей рукой пятак.

— Ты скажи Варюше, что мне больно нужно ее видеть.

— Ладно.

— Больно, мол, просит,— крикнул вдогонку девочке Ванька. Он стоял, точно прирос к земле, и весь назойливо впился глазами в подъезд заднего крыльца, точно пронизать его хотел, чтобы самому увидеть, что там делает Варюша. А сердце, как пойманная птица, так и билось в груди. С открытым пересохшим ртом Ванька все стоял и смотрел.

Вышла Матреша. Упало у Ваньки сердце.

— Нейдет,— грустно проговорила девочка, подойдя к нему.

— О-о! Что нейдет?..— тихо, испуганно спросил Ванька.

— Бат, не забыл он здесь ничего, и я не забыла у него.

— Так и сказала?

— Так и сказала.

— Ой, Матреша, что ж это она со мной сделала?! — жалобно, почувствовав какую-то боль, проговорил Ванька. Он сел на скамью, закрыл лицо руками и тихо, пискливо, как ребенок, заплакал. Матреша смущенно, в упор смотрела на него. Ванька плакал, раскачивая из стороны в сторону головой.

Какая-то не то жалость, не то злость разобрала Матрешу. Она заговорила быстро, глотая слова:

— Он ей все гостинцы носит, на базар ходили, себе кушак красный купил... надел, идет...

Так и встал перед Ванькой нарядный, довольный Амплий... Не его больше Варюша!

— Э-э! — рявкнул он нечеловеческим голосом и зарыдал. Изо рта его вылетали пузыри, лицо надулось и покраснело, ему было больно, что Варюша не его, что тюрьма сгубила его, что все опостылело ему.

К Ваньке подошел товарищ его Андрей.

— Не робь, парень,— тихо проговорил он, подсаживаясь к Ваньке,— дай срок, Егоркина мерина слижем, так закутим, люли малина!

Точно ножом по сердцу резнуло Ваньку.

— Постылая жизнь,— вскипел он, так и замер.— Красть да по тюрьмам валяться?! А они здесь миловаться за его здоровье станут, чай-сахар распивать... Врешь, не будет!!.— заревел он диким голосом, и все закипело в нем и загорелось, и, вскочив, вытянув шею, он уставился налившимися глазами в подъезд.

На другой день утром весть разнеслась по заводу: на одном из дворов завода нашли уже застывшее тело Амплия. На перекладине своих дверей висел Ванька Каин, синий, с широко раскрытыми, выпяченными глазами, точно вдруг увидел что-то страшное, да так и застыл...

— Берегись, девка, — пропела Офросиньюшка, ключница, Варюше.— Парень-то письмо оставил.

Екнуло сердце Варюши: долго ли подлецу погубить девушку. Шутка сказать, висельник помянет в записке.

— Еще что? — ответила скрепя сердце Варюша.— Кто что делать надумает, а на человека валят?

— Никто не валит, говорю только.

— Айда, письмо Ванькино принесли!

И вся дворня побежала к конторе. Только Варюша не пошла.

— Оправдалась,— разочарованно крикнула ключница Варюше, возвращаясь с остальными.— Только и написал, что погубил свою да Амплиеву душу... Напугалась?

— Как не напугаться,— вздохнула стряпка,— долго ли на девку конфуз положить.

— Храни господь,— ответила равнодушно ключница.

«Храни господь,— а сама первая»,— подумала Варюша, неся барыне воду.

Точно камень с души свалился у Варюши. То было ругала Ваньку, а тут жаль стало: перекрестилась, вздохнула и прошептала: «Прости, господи, несчастную душу!»

В школе все говорили о Ванькиной и Амплия смерти. Так же играло солнце, такое же утро было, как некогда, когда Ваньку поставили к доске, только вместо Ваньки у доски стоял Пимка, да учитель точно высох и еще длиннее стали его ноги.

— Такой же будешь,— проговорил учитель, ставя Пимку к доске,— как и Ванька.

Попал в цель учитель. Пимка сразу притих и потянулся тоскливо глазами за золотыми нитями ярких лучей, так весело, так беззаботно игравших в полированной поверхности шкафа.

Новые события скоро заставили забыть на заводе и о Ваньке и об Амплии. Владелец завода назначил комиссию для выяснения интересного вопроса: почему производства его завода почти перестали давать доход?

Комиссия работала долго и много и потрудилась недаром.

Открылись очень интересные вещи...

Ох, уж эти статистики! Недаром сердце Николая Евграфовича, всегда такого невозмутимого, так неприятно замирало каждый раз, когда он проходил чрез комнаты, где они усердно занимались. И что только ни собирали эти статистики, и откуда только ни вылавливали, что им надо было. Тайную продажу железа и ту раскопали. И не только раскопали, но и высчитали с точностью до пуда, сколько каждый год кралось этого железа, и все это вырисовали в графиках. Красивы были эти графики. График железа краденого, график разбоев, убийств, график конокрадства, график пьянства и много всяких других. Что-то чуялось в воздухе. Смутный говор шел по заводу.

Варюша со страхом заглянула в таинственные графики, оставленные на столе: посмотрела на красные, черные черточки, на кривые черточки, то вниз идущие, то вверх опять,— всё выше да выше...

— Очень, очень интересно,— любопытствовал сосед-помещик.— Ну и как же, например, вы определили количество ворованного железа?

— Затрата труда на пуд определена, цены взяты существовавшие,— разность, следовательно, действительной стоимости и того, во что обходится заводу, и будет цена краденого железа. Деля на стоимость пуда, получим количество пудов украденного железа.

— И кресчендо идет?

— Все графики кресчендо, кроме графика доходности. Лет пятнадцать тому назад началось было некоторое понижение, но потом опять пошло кверху. Одно воровство железа на двадцать восемь процентов увеличилось.

— К каким же мерам думает прийти комиссия для подъема доходности?

— Да, изволите ли видеть, хоть взять воровство железа. Здесь производительная деятельность возможна только с помощью все того же местного населения: не стражу же нанимать. Следовательно, ясно, что прежде всего необходим нравственный подъем этого населения. Школа, не та, конечно, которую организовал усердный Николай Евграфович. Не школа,

думающая о том, как бы отвратить вред, угадав и выдернув негодяя вовремя,— это дело полиции,— а школа творческая, созидательная, думающая о том, что без умных, талантливых работников — дело станет... Как оно и стало,— закончил статистик.

— Ну, возлагать все упования на школу,— усмехнулся помещик,— тоже, кажется, вряд ли будет основательным.

— Если школа и приведет к большим требованиям рабочего, то и даст он больше. А теперь никаких требований, правда, нет, зато ничего и не дает завод. Следовательно, крах уже есть, а нравственное растление является еще премией за систему.





КАРАНДАШОМ С НАТУРЫ

По Западной Сибири

ГЛАВА I

Между Пермью и Тюменью.— Тобольская Обь.— Коренные сибиряки.— Рассказы Ивана Владимировича.— Остяки.— Томск

Тому уж несколько лет. Едем по Уральской дороге, и из окна вагона видны знаменитые демидовские заводы. Было время, когда люди сотнями здесь пропадали с лица земли, о том повествуют летописи, знают бездонные погреба и кладбища. И те и другие — места последнего прибежища и жертв и палачей. Сбыт фальшивой монеты шел здесь открыто. На упрек Екатерины II Демидов добродушно ответил:

— И, матушка, о чем толковать! Все мы твои и с потрохами!

Смотришь на эти чистенькие и беленькие постройки, крытые железом зеленые крыши,— на весь этот уютный и манящий к себе вид в майской веселой обстановке, и невольно рисуются в контраст захлебывавшиеся когда-то в погребах, исковерканные ужасом и мукою лица... Дальше...

Вот и грязная Тюмень со своими «нуждающимися» переселенцами, река Тура, маленькая, узкая. Пароход то за дно задевает, то за берег.

По сторонам поля, поля и поля. Изредка деревушка на берегу. Навозу масса, и берег весь завален,— значит, в поле не возят.

В Иртыш вошли. Все та же пустынная равнина.

— Какая же это Сибирь? — говорит, недовольно морщась, один из пассажиров, инженер с собакой.— И что тут покорил Ермак, когда и теперь никого нет?

— Это, батюшка, все от настроения зависит,— отвечает мрачный контролер.— У меня был знакомый, и, знаете, его послали на Кавказ от пьянства лечиться. Ну, водки, конечно, ни-ни. Так что бы вы думали: озлился. Встречаю его, спрашиваю: «Ну, что́ Кавказ, как?» — «Какой Кавказ? говорит, никакого Кавказа нет». — «Ну, как же, говорю все-таки — виды...» — «Какие виды? никаких видов нет».— «Горы...» — «И гор никаких нет...» Вот до чего можно дойти.

Тобольск. Мостовые из досок, музей, памятник Ермаку. Музей небольшой, привлекающий своей простотой и запахом Сибири: эскимосы, самоеды, олени, медведи, упряжь, одежда, оружие, латы; но тут же поломанный нивелир фабрики Герлаха. И он, конечно, выстоится и в свое время тоже стариной станет. По стенам портреты Ермака. Пять их, и сходства между ними никакого.

На обратном пути из города к пароходу встретили партию арестантов. Идут, звенят кандалами; торчат рыжие голенища; серые халаты, на спинах по два бубновых туза; наполовину обритые головы по продольному направлению. Арестанты на нас, мы на них смотрим, ищем следов злобы, отчаяния, преступления, но глаз утомляется на общих масках тупого равнодушия, апатии, и только изредка ловишь злорадный, звериный взгляд тоски и горя. И все то же общее впечатление строго арестантского цвета: серого неба, серой реки и всей серой, однообразной природы, той Сибири, которую мы до сих пор видели.

Приехали на пароход. До отхода еще полчаса. Пьют пиво, разговаривают о городе, рассматривают покупки и угадывают цены. На пристани праздного народа масса. Стоят и смотрят. Молодой человек, в легком костюме, довольно грязном, больше, очевидно, думающий о материях высших, чем о том, что у него под ногами, споткнувшись на кем-то положенную пал-

ку, чуть было не растянулся на полу, но оправился и сел возле меня.

— Далеко-с?

— В Томск.

— Из Петербурга?

— Да.

— А я, позвольте представиться, здешний репортер. Может, слыхали о нашей газете? Не слыхали, конечно; двести пятнадцать экземпляров расходится. Сто восемьдесят платных, тридцать пять даровых. При начале издания так и рассчитывали: городскими только ошиблись — считали восемьдесят, а набралось девяносто.

— Что ж вы не продаете отдельными нумерами? Вот бы и мы купили.

— Не разрешают.

— Как же? Ведь это мера наказания.

— Ну, и редактор то же говорит, а местная власть говорит, что она права не имеет на розничную продажу, ну, и не продает... Конечно, если бы чрез министра — можно бы добиться; но ведь тогда совсем зарез будет: вроде войны выйдет,— тогда и все бросай. Теперь и то уж... Дама одна... тут благотворительный спектакль нам расстроила. Ну и описали так слегка в газете, а муж ее, доктор, ведь редактору и залепил затрещину. Да еще как залепил,— сзади! А! Ну, хотели огласку дать,— не разрешили.

— Дуэль была?

— Какая там дуэль... Так и пропало! А вы никакого материала не дадите нам?

— К сожалению, не имею... Да ведь у вас много же матерьялу должно быть и здесь.

— Да его-то много, да не любит наш цензор, вычеркивает. Пишите, говорит, о чем хотите,— ну, о других губерниях; что вам непременно далась здешняя: забудьте о ней. Ну, о чем же писать? Кто его знает, как у других, свою знаешь...

— А можно бы было написать, если б позволили?

Молодой человек только рукой махнул.

— Пиво-то на пароходе у вас лучше нашего, сибирского? У нас вроде как будто не настоящее.

— Еще бы в Сибири захотели настоящего,— вмешался один из пассажиров, Иван Владимирович.—

В Сибири уж такое положение... все исполняющие должность,— ну, и пиво тоже вроде того, что должность исполняет.

Рассмеялись. Репортер заглянул мне в глаза и тоже вдруг рассмеялся. Добрые голубые глаза, голая шея, порыжелые сапоги, желтое лицо.

Опять поехали. Берег все уходил, река шире да шире.

Проснулись как-то: Обь. Куда глаз ни хватит, все вода да вода, а по ней, точно плавучие кусты, целые острова — голые, лишайные, с тонкими прутьями тальника, еле распустившегося. Чтобы сказать величественно было, поражало, подавляло — нет. Скучно просто...

— Чего смотреть? Идем в каюты. Там пиво, хоть выпить можно, а здесь на ветру...

И, не договорив, контролер молча стал спускаться с трапа.

Инженер с собакой еще постоял, скрючившись от «дыханья Ледовитого океана», или, говоря проще, от северного ветра; оглянул серую безжизненную гладь, пустую палубу и тоже ушел.

Поскрипывает пароход, иногда порядком покачивается от расходившихся на просторе волн; сверкают мрачные свинцовые тучи; ветер воет; оголенные деревья, когда к ним подойдешь поближе, свистят свою унылую осеннюю песенку. Кто бы узнал здесь, в этом костюме веселый месяц май во второй его половине?

В рубке все уютно сидят, все выползли из своих кают: кто играет, кто обедает, кто чай пьет. Никто не читает только. Дамы с работой чувствуют себя хорошо, уютно, не прочь от беседы,— умные слова, умные речи — товар лицом показывается. Только двое — контролер и инженер скучными, усталыми глазами обводят по временам общество и еще усерднее после того стараются забыть за картами все окружающее.

Иван Владимирович, толстый старик со вставными зубами, коренной сибиряк, как он сам себя аттестует, сидит на диване и рассказывает о сибирских

делах и порядках. Рассказывает о том, как в Томске один полицеймейстер из беглых сидел несколько лет и ушел по доброй воле, а не уйди — и теперь бы, вероятно, сидел, о том, как один сибиряк пропал за то, что дневник вел.

— И ничего в этом дневнике, знаете, не было, кроме одной фразы, что вот, мол, какие бывают прекрасные люди. Ну, и рассказ при этом.

— Да за что ж тут пропадать? — окрысился инженер.

— А вот пропал же,— с злорадным торжеством проговорил Иван Владимирович и начал нюхать из табакерки табак.

— Да...— начал было инженер, вероятно желая возразить, но посмотрел на рассказчика, на публику и пренебрежительно переглянулся с контролером, получил поддержку и молча уткнулся в карты.

— Вот и да...— тихо, самодовольно пробурчал Иван Владимирович,— вот и да... Надо сибирскую жизнь знать, понимать надо... вот тогда и будет да.

И опять новые рассказы про горного исправника. Иван Владимирович искусно обрисовал тип пройдохи-негодяя, которого тридцать раз прогоняли за воровство, но в критические минуты снова принимали на службу за распорядительность.

— Действительно, я вам доложу,— говорил Иван Владимирович, сидя степенно, опираясь одной рукой о сиденье дивана, а другой, в которой была тавлинка с табаком и платок с красным обводом, плавно проводя по временам по воздуху,— бывают такие случаи в приисковом деле, что хоть бери, а дело делай. А то ведь неопытный да нераспорядительный совсем зарежет. Да вот я вам скажу... Приняли одного... Ну, действительно, честный,— ни-ни... Ну, хорошо... Приезжает на прииск... Речь рабочим говорит... объясняет им, что он взяток брать не будет и все у него будет по закону... Хорошо... Едет на второй прииск — и там то же... на третий... Объехал всех, воротился в свою резиденцию и руки потирает от удовольствия, какой он честный человек. Вдруг — трах! — Бунт на приисках, бунт на приисках, в одном, другом, третьем... Сразу раскусили, что за гусь... Туда, сюда... Да хорошо, что еще вовремя догадались убрать, а то на-

делал бы таких делов... Круть-верть: опять этого прощелыгу вернули... через месяц все тихо, спокойно. А так не видно: вор, вор, а вот как прогнали, вот тогда и оказалось... Ну, а вор действительно... грабитель просто...

— А в чем же польза от него? — спросил инженер.

— Ну, как в чем? Надо знать приисковое дело, тогда и польза понятна будет. Брал, вот и польза. Убился, задавило рабочего, сломало руку, ногу; норовят уйти рабочие — воротить их назад, обходиться без слова «бунт» — вот и польза. Где деньги добывают, там уж денег не жаль — бери, сколько хочешь, да дело делай.

Кто-то заметил, что теперь уж не те времена.

— Оно, конечно, не те, да и я ведь не про царя Гороха говорю.

— Выведут эти порядки...

— Конечно, выведут...

Иван Владимирович самодовольно посмотрел в окно.

— Я человек старый, мне ничего не надо... Я прямо говорю...

Иван Владимирович чувствовал в себе прилив хорошего гражданского мужества и так смотрел, что ясно было, что он готов хоть сейчас положить свои кости за правое дело.

— Вот как на своей шее почувствуете: я да я, да ничего знать не хочу,— вот тогда и загложет тоска... Точно вот целая этакая, можно сказать, огромная страна ему в наследство досталась... лежала, лежала,— видите ли, дожидалась охотничка на своем горбу ум его испытывать. А ведь каждый-то с каким умом приезжает: он один все видит, все знает, все понимает... он один все рассмотрел, а там до него, как, что — все ерунда, все потемки, один он принес свет, он знает... А суньтесь к нему,— что, мол, как же, господин честной, мы для тебя или ты для нас? Ежели мы для тебя, ну — так та́к, а если ты для нас, так хоть послушай нашего глупого слова,— вот он вам и покажет тогда кузькину мать — тогда и узнаете, что такое эта самая Сибирь...

Ивану Владимировичу не мешали, и по стариковской болтливости он не думал себя удерживать.

— В городах, по трактам везде казенное клеймо, на каждом шагу. Вы чувствуете: если казенный вы человек — вам место, не казенный — вы так себе, терпеть вас только можно... вот вы кто... Это по казенному аршину... Это на первом плане. За казенной Сибирью идет коренная Сибирь: торговый народ и простой. Это опять особенная жизнь, особенный строй, которого никто не знает, всякий по-своему прицеливается, но никто колупнуть не может, и не понимает, да и не дорос... Это уж не в обиду... За этой Сибирью опять идет целая Сибирь: вольная, бродячая Сибирь. Это опять целое царство: тут опять надвое делится: бродячие народы, на законном основании — переселенцы и коренные бродяжки... Вот тут и разбирайся... Каждая жизнь свое ядро имеет и не сливается с другим, а только соприкасается. Вот в этих местах, где она прикоснулась, там и видна она, а ядро-то самое, что там в нем — это ни один из ваших писак никогда не видел, а видел, так не понял. Потому что, чтоб понять, мало родиться в Сибири, а от деда к внуку это пониманье идет.

— Ну, чем же у вас занимается, например, торговое сословие в Сибири? — спросил едко инженер.

— Как чем? Торговлей... Золото, чай, пушной товар...

— Ну, вот про прииски мы слыхали... для чего вот вам воровство исправника нужно, а про пушное дело, водку и прочее расскажите нам; расскажите, кто развратил всех этих остяков, бурят и прочих?

Иван Владимирович тяжело встал.

— Стар я, отец мой, чтобы шутки надо мной шутить,— проговорил он и с чувством собственного достоинства ушел в каюту.

— Гусь,— пустил ему вдогонку инженер,— коренной гусь...

— Какой он коренной,— пренебрежительно проговорил один из пассажиров,— это бывший управитель казенного завода, при Муравьеве в отставку вышел или должен был выйти... Ну, родился действительно в Сибири, но и отец был чиновником. Он лезет только в коренные... Вот видели, вместе с ним ушел старик, бритый, молчит все да слушает,— вот этот из коренников... У этого вот десятка два миллионов на-

берется; ну так он и разговаривать не будет, а это только так... бесструнная балалайка, и говорит он, чтоб больше заслужить пред вот этим бритым.

В это время на палубу поднялся тот, о ком говорили,— бритый господин, и все смолкли.

С широким плоским лицом, плотный, бритый господин смахивал скорее на типичного актера-трагика, чем на коренной Сибири миллионера. Его поношенное пальто, скромный вид, скромная манера совсем не импонировали публике. Он подошел поодаль к играющим и заглядывал в карты. Он приятно улыбался ошибке игрока и напоминал собой скрягу, ищущего дешевых развлечений. За обедом ел только то, что было в карточке обеда, два раза чай пил и недоверчиво косился на тех, кто внимательно, сосредоточенно старался проникнуть в глубь этих безразличных скромных глаз.

А на палубе по-прежнему холодно — дует ветер, ходят по небу тучи, сердито скалится река своими белыми гребнями, то и дело появляющимися на волнах, уныло машут своими оголенными вершинами деревья, и только чайки среди этой всеобщей тоски сохраняют свой обычный бодрый, веселый вид.

Иногда мелькнет на берегу затопленная деревушка — иногда две-три избы, наполовину в воде — летнее пристанище остяков.

Иногда пароход пристает за дровами и провизией к такой деревушке, затопленной водой, где единственное сухое место — узкая полоса берега.

С одной стороны этой полосы необъятная Обь, а с другой — непроходимый лес. В этих деревнях население смешанное — русское и остяки. Собственно из русских две-три семьи: лавочник, содержатель кабака да поставщики живья на пароходы.

Остяки — низкорослый народ, на коротких ножках, которыми ступают неповоротливо, неуклюже, как водяная птица. Мы прошли в юрту одного такого остяка. Хозяин ее лет пятидесяти пяти, с длинными с проседью волосами, с бритым, на финна похожим, лицом. Он жил на даче, то есть в юрте, рядом с избой. Эта юрта, сделанная из березовой коры, искусно между собой сшитой, помещалась в нескольких саженях от постоянного его жилья, маленькой курной избенки.

Кругом юрты и избы валялись кучи навоза; было грязно, сыро; воздух пропитан тяжелыми испарениями нечистот.

Хозяин сидел в юрте, по обычаю восточных народов, поджав под себя ноги, курил и ничего не делал. Рядом с ним в таких же позах сидели две женщины — маленькие уродливые создания. Одна вдобавок с провалившимся носом. Сифилис страшно развит у остяков, и, вероятно, он да безбожная эксплуатация покончат вконец с этой народностью.

На наш вопрос о позволении войти остяк-хозяин апатичным говором чухны ответил:

— Иди...

Мы вошли, и так как стоять было затруднительно, то сели на корточки. Мы сидели перед чем-то вроде ковра или скатерти, разостланной на полу. Перед нами висел на пол-аршина от пола образ; по бокам его расставлен был разный хозяйственный скарб: горшки, посуда и проч.

— Православный?

— Конечно, православный,— проговорил апатично-брюзгливо хозяин.— Русский шеловек может ли быть не православный? Православный, конечно... В бога верим... русский шеловек...

Русский «шеловек» сплюнул, сделав кислую мину, и уставился мимо нас в пространство.

— Это что ж, дача у тебя?

— Конечно, дача.

— Зимой в избе живешь?

— Конечно, в избе.

— А что делаешь?

— Всё делаем.

Старик говорил как-то раздельно, по-детски, мягким однообразным голосом.

— Рыбу ловим, зверя бьем, медведя бьем, белку бьем, орех собираем.

— Хорошо живешь?

— Хорошо живем.

— Водку пьешь?

— Водку пьем.

Вышли из юрты. На дереве развешаны вещи: полушубки, теплые шапки, засаленное, в пятнах, трикотажное женское пальто, женские ботинки.

— Молодая жена?

— Молодая жена.

— Молодая обновку любит?

— Известно, что любит.

У дерева вертелись привязанные две среднего роста собачонки, по виду совершенно смахивавшие на волка.

— Хорошие собаки?

— Хорошие собаки.

— На охоту ходишь с ними?

— На охоту ходим.

— Медведя умеет искать?

— Медведя умеет искать.

— Порядочный автомат,— проговорил один пассажир.

— Знамо, порядочный,— так же флегматично ответил остяк.

Перед избой лежали нагруженные друг на друга сани на высоких полозьях, узкие для одного, и напоминали собой зимнюю работу остяка. В своем меховом коротком костюме, в своем меховом капюшоне едет он, затерявшись в необъятной тайге, на этих санках. Прижавшись, сгорбившись, бегут по сторонам его собаки; привычная лошадь равномерно ступает по знакомой только ей тропинке; заносит их снегом, вверху пурга вертит, и свистят там и шумят, как море, высокие вершины деревьев. А на сотни верст ни жилья, ни стану, никакого намека на человека. Встретится берлога мишки, разбудит остяк хозяина берлоги — и пойдет неровный бой: кто чью шкуру сдерет, кто за чей счет пообедает сегодня. Бой с медведем у остяков оригинальный. Остяк говорит: «Медведь, который встал на дыбы — мой!» Такому поднявшемуся медведю остяк бросается прямо под ноги и, пока медведь старается содрать кожу с ног остяка, тот, вонзив ему нож в живот, спешит, подвигаясь назад, добраться до сердца медведя. Кто первый успеет сделать свое дело — тот и победитель. Защищает остяка сплошная кожа, из которой сшиты его сандалии, штаны и куртка. Но беда, если медведь опытный и не хочет вставать на дыбы, а напротив, бешено носится вокруг, стараясь сбить с ног остя-

ка. Напрасно будет ждать своего хозяина молодая жена.

Ближе к Томску расплывшаяся на десятки верст Обь начинает понемногу собираться. Появляются возвышенные берега, и мало-помалу теряется впечатление какой-то несформированности, впечатление страны какого-то будущего геологического периода.

И май месяц начинает входить в свои права. Деревья распустились, чувствуется запах черемухи, слышно изредка пение и чириканье птиц. И ночи потеплели.

Собственно ночей здесь почти нет. Читать все время можно. На полчаса слегка потемнеет, и уже опять горит восток. Это самый эффектный момент. Переливы цветов на воде: розовый, нежно-малиновый, у берега реки голубой, и на всем этом мягкие, нежные тоны непередаваемых красок. Природа, как человек, начало знакомства — никакого впечатления, узнаешь, ознакомишься — и уже другое впечатление. Присмотрелся я — и здесь явилась красота переливов, и оригинальность тонов, и яркость красок, и проч.

Вот начало восхода. Мы плывем точно в саду, сквозь редкие деревья словно задымилась вода, слегка розовая, прозрачная, вот-вот готовая вспыхнуть пожаром восхода. Стадо белых лебедей вспорхнуло в этом розовом фоне рассвета, среди аромата черемухи. Лебеди медленно потянулись низко над водой и потонули в пурпуре утра, в огне выплываемого из-за далекого леса красного большого ярко-золотого шара. Этот шар еще не дает света; по другую от нас сторону реки резкой чертой оттеняется неосвещенная даль, вся слившаяся в один темно-сизый с фиолетовым отливом цвет, и вода и небо; только лесной берег как поясок разделяет воду от земли. Здесь, по эту сторону парохода — разнообразие красок, поразительный эффект; там — однообразный сплошной колорит, мрачный и сильный. Но выше поднялось солнце, отразилось в воде и, слившись с своим отражением в общий сплошной ослепительный цилиндр, загорелось и осветило все округи.

Дико и величественно.

А вот и город Томск и гостиница, его сибирское подворье, где остановился я. Типичная казарма: бе-

лые низкие коридоры, висячие замки на номерах, запах махорки, запах чего-то старого, доніколаевского. В окно номера глядит кусочек серого неба, пустой косогор, ряд серых заборов, домики с нахохленными крышами, маленькими окнами и низенькими комнатами — это город Томск. В девять часов вечера на улицах уже ни души, спускают собак. Ни театра, никаких развлечений. В каких-то укромных углах свои люди — чиновники, купцы — играют в карты, сплетничают, задают тон... Провинция глухая, скучная провинция, колесо жизни которой перемололо все содержание этой жизни в скучное, неинтересное и невкусное мелево. Арестанты, ссылка, каторга — вот о чем говорит этот город, этот вход с дантовской надписью: «Lasciate ogni speranza voi ch'entrate» [1].

ГЛАВА II

Уголок Сибири между Обью и Томью.— Из Томска в Талы.— Ямщик Иван

Я не хочу ничего дурного сказать про русского крестьянина; но пальму первенства по развитию, незабитости, большей интеллигентности, открытости и доверию, по чистой совести, должен отдать сибиряку. В одном они схожи: у обоих никаких потребностей: сыт — и ладно. Заботливости об улучшении своего положения, о возможности эксплуатации сил природы — никакой. Что она сама, так сказать, добровольно дает — то и ладно. К тому и приспосабливаются, так и складывают свою жизнь. Между Обью и Томью [2] крестьяне живут земледелием. Земля родит хорошо, ее вдоволь, и кто сколько хочет, тот столько и сеет. Система посевов залежная: три, четыре, пять хлебов,— и земля бросается на пять-шесть лет, пока кто-нибудь не подымет ее снова, найдя, что она вылежалась и уросла. Постоянного посева на одной и той

[1] Оставьте надежду, входящие сюда *(итал.)*.

[2] Я говорю о треугольнике, вершина которого Томск, а база — село Кривощеково на реке Оби (где назначен железнодорожный мост через Обь) и село Талы на реке Томи (железнодорожный мост через реку Томь). *(Прим. авт.)*

же земле нет, четвертый и пятый хлеб уже давит такая трава, о какой в России и понятия не имеют. Страшные здесь травы: чуть немного потное место — почти закрывают они человека. Спасение от них: выжигать их весной, «палы пускать». Это же спасает землю и от прорастания лесом. Крестьяне говорят, что если не пускать по пашне палов, то первую же весну березняк всходит, как сеянный. Такой же факт я наблюдал в Самарской губернии: там я бросил поле — пошел березняк, и теперь это прекрасная, как будто насаженная роща.

Но понятно, как палы губят лес. Нет никакого сомнения, что здесь, в местах, доступных хлебопашеству, весь лес обречен на гибель. Массу пахотей теперешних занимала прежде сплошная тайга. Остатки ее, переход от тайги к пашне, составляет колодник,— это поле, сплошь усеянное громадными, полусгнившими, лежащими на земле гигантами (сосна, кедр, ель).

Земля родит отлично в полосе между Обью и Томью, но хлеб больше соломистый, и надо обязательно парить и под яр и под озимь, иначе хлеб не выспевает. Все-таки с хозяйственной десятины (две тысячи пятьсот квадратных сажен) средний урожай сто пудов, а в Самарской губернии с десятины в четыре тысячи квадратных сажен средний — семьдесят пудов. Сеют понемногу, каждый обрабатывает, что ему под силу, наемного труда почти нет; этим и урожайностью и обусловливаются малые посевы. С землей обращаются небрежно: сплошь и рядом вспашет, а потом раздумает сеять,— так она и пойдет невороненная под сенокос. А такое поле, представляя из себя застой для воды, при сырых здешних местах легко превращается в болотистое место.

Своеобразная особенность местности между Обью и Томью: вся она изрыта громадными глубокими оврагами, которые называются здесь логами (падями); пространства между этими логами, возвышенные, удобные для пашни места, называются гривами. В логах лес растет; на гривах (каждая представляет из себя довольно ограниченное пространство в пять-шесть десятин) ведется хозяйство (грива Власьевых, Елисеевых и проч.). Крестьяне здесь живут неказисто,

но и не нуждаются: пьют кирпичный чай, масло, яйца, молоко в каждодневном употреблении. Во всякой избе вам сварят хорошие щи, хороший суп, сжарят хорошо жаркое,— все это с уменьем и с привычкой обращаться с провизией. Попробуйте в России заказать в избе обед — наварят такого, что в рот не возьмешь.

Сейчас же за Томью, вне описываемого треугольника, далее на восток, характер местности и населения совершенно уже другой. Здесь уже лес, и главный доход населения — лес, извоз и охотничий промысел. Лес возят в город в виде, главным образом, дров на плотах по Томи. На этих плотах и хлеб идет. Извоз в Иркутск; редкий крестьянин не побывает там.

— Извозное дело — затяжное, как хозяйство: завел тройку — думаешь о пяти, пять завел — десятку норовишь; с десятки на тридцать кучишься; добился тридцати — нет ничего, все разошлось, опять начинай сначала.

— Отчего же?

— Так... подобьется извоз, корм вздорожает, туда-сюда, и не видал, как в такие долги влезешь, что и не развяжешься.

Еще дальше на восток (верст тридцать от Томи) — уже сплошная тайга верст на сто, и исключительный промысел — зверной: медведь, колонок, лисица, волк.

Ближе к городу Томску население живет исключительно городом: огород, масло, мясо, яйца, дрова, но живут неважно.

— Деньга не держится, водку любят, на город надеются...

Около самого Томска масса деревушек: десять — пятнадцать изб. Нужда, бедность поразительная: лачуги без крыш, одним словом,— самый нищенский вид.

— Так изо дня в день живут, только и знают, что в город всё волочат, что попадет.

Мужичонка зануженный, с жадными ищущими глазами, усердно косит кослую болотную траву.

— На что она ему? Ее ведь лошади не едят.

— В город. В городе все съедят.

Как и везде, более зажиточные те, которые умеют высасывать сок, то есть кулаки.

В хлебородной полосе они занимаются скупкой хлеба, а ближе к городу они являются крупными поставщиками дров; они посредники между населением и городом — раздают деньги в зимнее время под работу: сам за дрова в городе берет 2 рубля 50 копеек, а сдает по 1 рублю 80 копеек. Торгуют скотиной.

За выпас 1000 голов, после снятия хлеба, с тем, чтобы скотина ходила везде, общество берет с них 30 рублей. Так быстро богатеют, и они, эти прасолы, всегда больше из российских.

— По этой части они умно живут и во всем толк понимают.

Я уже месяц верчусь по всевозможным направлениям этого треугольника между Обью и Томью, разыскивая и намечая будущую железнодорожную линию Сибирской дороги.

Магистраль назначил; очередь за варьянтами, то есть частичными изменениями.

Еду сегодня для такого варьянта из Томска в село Талы (на Томи, в девяноста верстах от города). Из Башурина[1] повез меня мой старый знакомый Иван.

И он и я рады тому, что опять свиделись.

На дворе начало июля.

— Вот и еще раз господь привел свидеться,— говорит Иван, выезжая со двора и приветливо оборачиваясь ко мне.

— Ну что у вас, все благополучно?

— Все, слава богу.

Едем по берегу Томи. Татарская деревушка раскинулась на самом берегу. Гуси, скотина гуляют по зеленой лужайке. Обитатели всё бритые татары; сегодня у них праздник какой-то, и они праздничной

[1] Башурино — село в двадцати пяти верстах от Томска. *(Прим. авт.)*

кучей сидят на берегу, сонно смотрят на нас в своих бархатных тюбетейках.

— Чем занимаются?

— Извозом.

— Хорошо живут?

— Мало же... Больше в нужде.

— Рыболовством занимаются?

— Нет, по Томи мало рыбы. Прежде, говорят, было... воды большие пошли, доставать неудобно стало.

Навстречу едет, в широкой шляпе, широкоплечий, притиснутый мещанин в франтоватой притиснутой тележке. Рядом толстая, как бочка, нарядная баба. Мещанин степенно снял шляпу, я тоже.

— Это кто?

— А вот мельницу видел? Пять домиков? Это старший брат. Те, про коих сказывают, что от фальшивых денег жить пошли.

Я вспомнил о фальшивых деньгах, убийствах, о всех слухах, связанных с пятью домиками, и с любопытством оглянулся.

Я увидел только широкую спину старшего брата и курчавые русые волосы.

— Отличный мужик, дай бог ему здоровья,— все спасибо говорят. Если бы не он, наша бы деревня совсем пропала в эти два года; хлеб дорогой, весной где деньгу зашибать? а он, спасибо ему, хлебом всю деревню кормил.

— Даром?

— Где даром?.. Так ведь и в долг кто даст? Он, конечно, может, две-три гривны и дороже возьмет, да ведь даст народу помощь.

Иван сидит вполоборота, и, видимо, ему хочется продолжать разговор со мной.

— Это чья земля? — спрашиваю я.

— Отсюда к Томску пошла губернская, а к Кузнецку — кабинетская.

— Это что за губернская? казенная?

— Казенная, мы государственные крестьяне.

— И у вас, как у кабинетских, земля неделеная?

— То же самое. Кто где знает, там пашет и косит.

— А если одно и то же место двое захотят в одно время?

— Этого не бывает. Кто-нибудь да упредит.

— И ничего вы за это не платите?

— Ничего. Подать только, конечно. На кабинет платят дань по шести рублей с души, а у нас нет.

— А если с другого общества соберутся к вам косить?

— Этого нельзя. Вся земля поделена между обществами.

— Ну, а есть такие, которые из года в год сидят на тех же землях?

— А как же? Кого сила берет да земля удобная, от отца к сыну идет, а ослабели — другой примет за себя.

— А лес?

— Лес весь казенный, а если кто облюбует рощу, к примеру, для пасеки, станет беречь ее от палов, чистить, ну, того и роща считается.

— И рубить ее можно?

— Для домашней потребности сколько хочешь руби. На кабинетской, там на душу положение, а у нас сколько хочешь, только в город не вези на продажу; у нас, впрочем, слабо насчет этого. Так, для примеру, возьмешь билет на сажень кубическую, рубль шестьдесят копеек отдашь и вози по нем целый год.

А на кабинетской строго, там уж на лошадях не увезешь — поймают; надо билет брать, а брать билет, так уж расчету больше на плотах возить, так и возят. Кабинетские на плотах, а мы на лошадях, потому что нам вольготно.

— А совсем не брать билета можно?

— Если поодиночке али семейно — можно: дашь полесовому тридцать или сорок копеек, а артелью не пропустит и денег не возьмет,— свидетелей, значит, опасается.

Разговор оборвался. Мы едем по лугам, заливаемым Томью; мелкий березняк, тальник по бокам; Томь то здесь, то там сверкает.

Хотя июль, но холодно, как осенью. Солнце то выглянет, то прячется за тучи. Кругом яркая зелень. Летают чайки, мартышки.

В Яру перевоз через Томь. Паром на той стороне. Звали, звали, стрелял я два раза,— наконец, услышали, зашевелились, стали запрягать лошадей, и

скоро воздух огласился шумом лопастей о воду. Здесь паромы приводят в движение помощью лошадей. Лошади вертятся в кругу, устроенном в конце парома; колеса приходят в движение, и паром едет. На Томи две лошади, на Оби три.

В ожидании я хожу по живописному берегу Томи и ищу интересных камешков. Я хожу в сущности по золоту. В Сибири нет реки, где в песке не было бы золота; вопрос в его количестве, а следовательно в выгодности его добычи. Я нашел кусок кварца с блестящей золотой точкой. Неужели действительно золото? Я оглянулся к Ивану, но он куда-то ушел. Сидел только мой спутник, Михаил Осипович.

— Золото,— показал я ему.

Михаил Осипович посмотрел, отодвинул от глаз подальше и авторитетно проговорил:

— Нет.

Я не стал спорить, потому что знаю, что Михаил Осипович никакого представления о добыче золота не имеет.

Пришел Иван.

— Золото добывал? — спрашиваю.

— Бог миловал от греха. А вот какое золото добывал.

Иван вынул из пазухи кучу кедровых шишек.

— Где ты их достал?

— А вот, в поскотине.

Поскотиной называется отгороженное вокруг деревни поле и лес для пастьбы скота. Так как здесь весной палов не пускают, чтоб не сжечь самих себя, то лес в поскотине всегда густой, красивый и рослый. Настоящая роща кедров с массой орехов. Эти орехи составляют целый промысел и требуют большого искусства для их сбивания. Надо влезть на самую верхушку дерева. Один будет сбивать целый день одно дерево, а другой пять таких деревьев успеет опустошить. Отсюда плата искусному работнику доходит до пяти рублей в день. Сбивают орехи между 15 августа и 1 сентября. В июле уже есть орехи, но они еще серные, липкие, и хотя сердцевина и вкусная, но добраться до нее можно не иначе, как обуглив на огне шишку: смолистые части выгорят и тогда не будут приставать к рукам и рту.

— А можно разве в чужой поскотине рвать?

— А пошто нельзя? их бог садил на потребу всем, все одно, как траву, лес.

Вот страна, которая ближе всех подходит к мечтам о том, что когда-то будет и было.

Мы разговорились.

— Хорошо здесь у вас,— говорю Ивану,— умирать не надо.

— И у нас худое же есть. Три зла у нас: первое мороз, второе гнус, третье грех.

— Какой грех?

— Какой? А зачем в Сибирь ссылают? Вот от этих самых бродяжек и грех.

— А разве они донимают?

— Всякие бывают. Плохо положишь — позаботятся... Да не в том сила: сейчас содержи его, да отвечай, да подвода — замают. Хуже вот всех здешний же; они, к примеру, и не бродяжки,— только паспорта нет,— всё вот и шляется. Придет в Томск и объявится, что без паспорта; ну, его сейчас в тюрьму, одежду арестантскую и назад в Каинск или куда там. Сидит себе на подводе, а солдат пешком должен идти. Он развалится себе, как барин, а ты вези...

— Какой же ему интерес?

— А такой интерес, что арестантскую одежу получит, потому что, как его доставят в Каинск, что ль,— окажется, что он тамошний,— его и выпустят. А закон такой, чтоб выпускать с одежей. Ну, сапоги, одежа восемнадцать рублей стоят, сейчас ему и найдено. В Томске побывал, одежу справили, привезли, да еще и с солдатом, чего ж ему? Посидит — айда назад в Томск. Вот эти и донимают; самый отчаянный народ. А те, что с каторги тянутся, те никого не тронут, потому что опасаются, как бы не схватили; он так и пробирается осторожно до России, ну, там, действительно, ему не опасно.

— Отчего ж там не опасно?

— Да там поймают, первое — не бьют, потому что бьют только того, кого на месте, пока в Сибири еще,

значит, поймали. Второе — опасно, как бы не признали, а в России — объявился бродягой, и концы в воду,— на поселение марш, а ему и найдено. Уж его тогда никто тронуть не может, будь он хоть сам каторжный.

— И много их, бродяжек?

— Тьмы кишат. Здесь им у нас, как в саду; первое — жалеют, подают; второе — работа. Так в настоящие работники его брать не приходится, а поденно поработал, получи и марш. Их ведь было порешили совсем прикончить, как у немцев; там ведь их нет: камень на шею и в воду; ну, вы сами знаете, пограмотней моего, а у нас царь воспротивел: пущай, говорит, бегают до времени,— из моей палестины никуда не уйдут, царь их жалеет. Оно, конечно,— несчастная душа; с каждым может прилучиться. Как говорится — от тюрьмы да от сумы не зарекайся.

Иван замолчал и задумался.

— Со мной вот какой был раз случай. Еду я обратным из Варюхиной. Только выехал на поскотину,— выходит человек из лесу. «Свези меня, говорит, в Яр». Я гляжу: что такое, чего едет человек? ни при нем вроде того что ни вещей, нет ничего. Я и говорю ему: «Как же это вы, господин, так едете в дорогу?» Так чего-то он сказал — не разобрал; я посадил его, да дорогой и пристал к нему: кто он, да кто. Ну, он было туда, сюда и признайся, что убежал из Варюхиной от солдата, пошел будто себе на задний двор, да и лататы. Ну, думаю себе, дело нехорошее. Молчок. Только уж как приехали в Яр, остановил я посреди деревни лошадей и крикнул: «Люди православные, ловите его, это арестант, убег из Варюхиной, да ко мне и пристал». Ну, тут его и схватили.

— Тебе не жаль его было?

— А как же он подводил солдата. Ведь солдат за него пошел бы туда же. Никак невозможно! Пропал бы солдат. И бил же его солдат, как привели назад. Ну действительно было отчаялся совсем. Уж тут так выходило: либо тому, либо другому пропадать,— друг дружку будто не жалеют.

Мы выехали на большую дорогу. То и дело тянутся обозы переселенцев.

— Много их?
— Конца света нет. Одни туда, другие назад шляются, угла не сыщут себе. Всё больше свои, сибирские же, из Тобольской больше губернии. А чего шляется? Чтоб повинностей не платить; он ищет место до смерти, а мир плати за него. Непутящий народ, нигде не уживаются.
— Куда же они едут?
— Да так, свет за очи. Всё больше за Бирск к белотурке... и у нас которые садятся, да не живут же,— всё туда норовят: там белотурка родит.
— Ну, а у вас они могут, если захотят, осесть?
— Могут. Общество их не примет, а губернское правление отписывает, чтоб принять,— помимо, значит, схода. Вот в прошлом годе было такое дело. Пришли двое и просятся. Мир говорит: нам и самим тесно, мы вас не примем. Можете по другому закону сесть — садитесь, а от нас вам воли нет. Ну, они действительно отправились в город. Тут бумага из правления: принять таких-то, и не принять, значит, а прямо зачислить без мира, значит нельзя отказывать: иди кто хочет.
— И что ж, поселились?
— Живут.
— Что ж мир?
— Так что же мир? Как разрешили, так и живите с богом; взяли с них повинности, — паши, где хочешь, сей, где хочешь, как, одним словом, всё прочее.
— И не обиделся мир?
— Какая же тут обида, когда закон такой.
Иван замолчал, повернулся к лошадям и погнал.
В Сибири особенная езда: едет, едет, вдруг гикнет, взмахнет кнутом, и помчались лошади во весь дух — верста-две и опять ровненько. Этот марш-марш такая прелесть, какой не передать никакими словами: тройка, как одна, подхватит и мчится так, что дух захватывает, чувствуется сила, для которой нет препятствия. На гору тоже влетают в карьер, какая бы она крутая ни была. Понятно, что для лошадей это зарез, и только вольные кормы да выносливость сибирских лошадей делают то, что с них это сходит, как с гуся вода.

Когда опять поехали ровно, Иван стал вполоборота и ждал, чтоб я снова заговорил с ним.

Иван толковый парень, услужливый; он уже ездил со мной целый месяц и, несмотря ни на какие дебри, ни перед чем не останавливался,— смело лезет, куда угодно.

Его молодое красивое лицо опушено маленькой бородкой. Воротник бумажной рубахи высокий и плотно облегает шею; вся его фигура сильная, красивая, с той грацией молодого тела, которая присуща двадцати — двадцати пяти годам.

Он старший заправила в доме; отец, кроме пасеки, ни во что не вмешивается. Практичность его и деловитость чувствуется и проглядывает во всякой мелочи. К нему все относятся серьезно, то есть с уважением.

— Серьезный парень, умственный мужик, всякое дело понять может.

Жена ему под стать, и, несмотря на ласковые улыбки, чувствуется в ней практичная баба, хорошо познавшая суть жизни.

Я люблю говорить в дороге. Я вспомнил о распространенном здесь поверии о змеях.

— А скажи мне, Иван, змеи залазят в рот человеку?

— Залазят,— ответил Иван и повернулся.

— У вас в деревне залазила к кому?

— У нас нет, а в прочих залазила. Много примеров. В прошлом годе в Пучанове одному залезла. Вынули. Может, приметили мельницу на Сосновке,— вот там невдалече и живет знахарка, которая их вытаскивает наговором ли, как ли, я уж не знаю. Этот, которому залезла, чего-чего не делал, к доктору даже ездил. Доктор говорит: «Может ли это быть, чтоб живу человеку змея могла в горло влезть? Никогда этому поверить не могу».— «Верно, говорит, ваше благородие, действительно залезла».— «Ты сам видел?» — «Никак нет, говорит, я спал на траве, а только сон мне приснился, будто я пиво студеное пил, ну, а уж это завсегда, когда она влазит, такое пригрезится».— «Не могу поверить, говорит, свидетелей представь». Ну действительно сродственники, кои привезли его, удостоверяют, что действительно, значит,

верно. «Сами, говорит, видели, как влазила?» — «Ну, действительно сами то есть не видали».— «Так я поэтому не могу»,— говорит доктор. Туда-сюда, ну и выискался такой, который видел, значит. Привезли его к доктору, а то и лечить ведь не хочет. «Видел?» — говорит. «Видел, ваше благородие, своими глазами!» — «Как же она влезла?» — «А вот этак, говорит, только хвостиком мотнула»,— и показал, значит, пальцем, как мотнула. «Доказывай, говорит, крепко доказывай».— «Так точно, говорит, доказываю».— «Сам видел?» — «Так точно, говорит, видел».— «И под присягой пойдешь?» — «Пойду». Ну, действительно, если, значит, видел, так ему и присяга не страшна. «Ну хорошо, говорит, значит, тому, к которому змея заползла,— должен ты нам теперь расписку дать, что согласен, чтоб мы тебе змею вынули, а мы тебя натомить станем, потрошить, значит».

Ну действительно не согласился он и от лечения отстал и поехал к этой самой знахарке. Знахарка вникла и баит: «Ох, паря, нехорошее дело. Испытать надо». Дала ему порошков таких, чтобы уснул он маленько. «Мне, говорит, допрежь того увидать ее надо. Уж если она есть, не может она, значит, против меня, беспременно должна показать голову». Ну действительно только он это заснул, чего уж она сделала, вдруг рот у этого человека раскрывается, и показывается она самая. Высунулась и вот этак головой повиливает на все стороны. «Тебя, говорит, нам и надо». Разбудила мужика: «Есть, говорит. Теперь она, говорит, от меня никуда не уйдет, потому должна мне повиноваться. Теперь настояще уж стану лечить».

Истопила это она печку жарко-нажарко, дала ему еще порошка, положила его вплоть к себе, а сама голову, значит, обзанавесила, чтобы не видно змее, значит, было. Вот только он это уснул, сейчас опять рот раскрывается, и вылазит она. Раньше только голову показала, а теперь четверти на полторы вылезла. А сама уж кровяная, красная, как огонь, толстая, действительно, кровью уж упилась. Как она это вылезла, а знахарка ее за шею, да в печку, в самый жар. Тут она и свернулась в кольцо; свернулась и за-

кипела. Закипела, закипела и стала черная да узкая... да вот, как вот этот кнут, этакая стала. Разбудила она тогда мужика: «Вставай, говорит, молись богу — вот твой мучитель»,— и кажет ему. Ну, действительно к доктору посылали эту самую змею.

— Что ж доктор?

— Что ж, уж ему деться некуда: змея, так змея и есть.

— А зачем она его не разбудила, как только вынула?

— А нельзя. В то самое время никак невозможно никому, кроме знахарки, видеть ее. Сила в ей такая, значит, что должен тот погибнуть, кто ее увидит, кому ж надо?

— А знахарка не погибает?

— Действительно не погибает, потому слово такое противное знает. Много ведь случаев. В прошлом году старик в соседней деревне здоровый такой был из себя, соснул тоже так, на гриве, а с того дня стал сохнуть, сохнуть, через год помер. Ну, так и смекают, что не иначе, что влезла к нему. Вредная ведь она: прямо к сердцу присосется и пьет из него кровь; пьет, пьет, пока всю не выпьет, ну, и должен человек помирать от этого. А то еще ощенится, детенышей разведет штук двенадцать, да они примутся тоже сосать, вытерпи-ка тут, когда тринадцать ртов к сердцу присосутся. Не дай бог никому, врагу, не то что...

— Неправда все это...

— Непра-а-вда? — озабоченно протянул Иван и повернулся ко мне всем лицом.— Нет, господин, правда,— проговорил он убежденно, и нотка сожаления к моему невежеству послышалась в его голосе.— Неправда? Весь народ в один голос говорит,— значит, правда. Да вот со мной какой случай был. Подростком я еще был; отец отлучился, а я и вздремнул — пахали мы. Только вот точно кто меня толкнул. Открыл глаза, а она вот этак возле моего локтя свернулась, подняла голову и смотрит на меня, высматривает, значит. Так холод этак меня схватил — не могу ни рукой, ни ногой пошевельнуть, лежу и гляжу, а она на меня глядит. После спустила головку и поползла прочь; уж как ушла в траву,— я как вскочу да крикну! Отец прибежал: что, что такое, а я кричу,

а сказать ничего не могу. Это уж верно,— хочешь верь, хочешь не верь. Доктор, он, конечно, по-своему толкует, спит себе, к примеру, на постели, так действительно не влезет, а поспи-ка на траве: даром что доктор,— в лучшем виде залезет, потому что, значит, дозволено ей. И станет залезать, и ничего не поделает,— предел ее такой. В ней тоже ведь своей воли нет же. Доктор тоже ведь...

Вот и станция Варюхина.

— Отчего деревни у вас грязные такие? В избах хорошо, цветы у всех, а на улице грязь?

— Действительно против российских у нас погрязнее будто, ну, а жить можно.

Нашел чистоту!

Село, как все здешние. Издали это потемневший склад всякого лесного хлама: тес сквозит, сруб без крыши, покосившиеся избы, иная совсем запрокинулась, а внутри чисто, цветы, пол обязательно устлан местной работы ковром.

ГЛАВА III

Вариант по берегу Томи.— Встречи.— Пахом Степанович

Вечером приехали и в Талы. Переночевали и с утра с партией на работу. К вечеру кончу и назад в Башурино. Работа то в поле, то в лесу, по берегу Томи. Запах полевых васильков, июльское солнце. Вчера была осень, сегодня — настоящее лето. Нежится земля; трава лениво качается; деревья сонно шумят, убаюкивая негою лета. Иван уехал, вместо него Степан Павлович. Громадная русская телега, громадная лошадь, громадный хозяин Степан Павлович, лет шестидесяти, рыхлый, пухлый, добродушный и мягкий. Со смекалкой, хорошо, толково объяснил, что мне надо было. Любопытный, но спрашивает очень осторожно и, видно, много думает, прежде чем спросить. Рабочие новые, но, по наслышке, пошли охотно. Ненадолго: всего один день. Кстати, воскресенье: заработают на гулянках.

Все парни в красных рубахах, в высоких сапогах, веселые, беззаботные и праздничные. Грызут орехи

кедровые, острят втихомолку и хихикают. Работают споро, вообще держат ухо востро. Очень заботливо отнеслись к вопросу о воде, так как в степи взять негде. Взяли два лагуна,— будет из чего чаю напиться. Тянемся шаг за шагом по косогору. Попали в лесок; солнце морит, ветер шумит где-то по деревьям, а книзу мало доходит; аромат спелой травы приятно щекочет ноздри. Пасека внизу косогора: тихо в ней, не шелохнет; благовест несется с противоположной стороны Томи; пахнет медом; дед в чистой рубахе. Везде праздник. В небе ни тучки, и ветер подувает так, точно делает праздничную добровольную работу. Все располагает к неге, к ничегонеделанию. Тяжелые сухие сапоги, теплая куртка кажутся еще тяжелее; ноги горят, жарко, а снять нельзя: заест гнус. Все он отравляет, хуже всего сознание, что никуда не уйдешь от него, убьешь одного — их тысячи новых. Здесь так и говорят: до Ильина дня убьешь одного — решето прибавится, а после Ильина убьешь одного — решето убавится. Жарко, и в порядке мучений теперь овод и слепень наслаждаются; комару, напротив, тяжело, жарко — «он изопреет».

— А чему преть-то,— презрительно замечает рассказчик.

Вылетела целая семья тетеревей; молодые еще, плохо летают.

— Лови, лови! бей, бей!

Замахали руками, бросились за ними. Один прямо на меня: я — тетрадью... Мимо, конечно... Тетрадь подняли, а карандаша нет. Все-таки нашли, хотя провозились с четверть часа. Трофей есть — одну тетерьку убили.

Как заманчиво синеет Томь! Мартышки белые летают взад и вперед. Красивая будет дорога! Немного поля, и опять лес, мелкий березняк, комар, слепень... К вечеру мошка подымется; ночью клопы и блохи есть будут.

Заяц выскочил.

— Лови! бей!

Нет, не работается... Ничего не хочется,— лег бы и лежал; глядел бы в голубое небо, прислушивался к ветру и ничего не думал бы. Морит солнце: все точно

разваренные; дышишь не воздухом, а прямо горячими лучами раскаленного ядра. Даже в лесу трава — могучая, сильная, сочная — как-то свяла. Ну и контраст: градусов сорок жары, а вчера осень была.

— Змея!

— Вот эта вот самая и залазит человеку в рот.

Змея, узкая, короткая, черная, как смоль, лежит, свернувшись клубочком. Прижали ее топорищем.

— Я те отучу лазить,— говорит парень.

Вынул трубку, собрал оттуда, какой был, сок на палочку, придавил ногою ей шею и, когда она открыла рот, сунул ей содержимое далеко в горло. Змея мотнулась, вытянувшись, околела.

— Готово! сдохла!

Никотин действует на змей мгновенно.

Нет, не работается: все интересно, кроме работы.

Наткнулись на ягоды и рассыпались, забыв про линию; главное начальство, я — во главе. Чтобы замаскировать скандал, приказал привал делать и завтракать.

Нет, я русский человек. Много работы — летит она, час за день идет; а станет убавляться,— все тише да тише. Такова уж натура русского человека: навалился и пооcлаб; пооcлаб, силы набрался,— опять навалился.

Рабочие мои все из одной деревни — Басалаевки. Особенность этой деревни та, что все носят одну фамилию Басалаева. Вся она пошла от солдата екатерининских времен. В ней изб пятьдесят.

— И еще наш род все от того же старика пошел в других местах. Прежде ведь много таких было. Поселится, а теперь целая деревня стала.

Коснулись значения будущей дороги.

— Российские говорят: где пройдет она, там урожаю меньше будет.

— А наши которые старухи толкуют, что как пройдет она, так и свету конец.

— А которы бают, что в ней дьявол сидит.

— С иконами ежли против нее выйти,— она не устоит.

— Ну, а все-таки хуже же станет после нее, коней хоть ешь тогда.

Лениво, но добросовестно ввожу их в курс дела. Слушают, по обыкновению, с охотой и понимают.

— Глупый ведь мы народ. Тут как-то один на двух колесах (велосипеде) проехал, — так которые со страху на землю попадали: антихрист, дескать, едет.

— А что, ваше благородие, ты тоже из чиновников же будешь?

— Какой я чиновник!

— И мы-то тоже баим: неужели чиновник станет день-деньской на своих ногах ходить! Из наших же, поди: подучили маненько и пустили, а чиновнику где уже!

Рассказчик пытливо смотрит на меня, но, видя, что я улыбаюсь, говорит сомнительно:

— Известно, темный народ; чего мы знаем. Не было того примеру, ну, всяк в свою дудку и задул.

Мой старик подводчик поел хлебца, перекрестился, испил водицы. Остальные лениво жуют. Я сижу на громадной телеге; старик зевает во всю свою богатырскую мощь и крестит рот.

— А поедешь в Варюхину? — обращается он ко мне.

— Поеду.

— Нынче мы же свезем, пожалуй.

— Ладно.

— Наша деревня Тальская — охотники возить, на тракту живем — завсегды заработок. А вот Поломошная, к примеру, всего в пяти верстах, а за рекой, негде взять копейку: колотятся. А мы, слава тебе, господи,— нельзя гневить бога: кто с умом да с толком — можно жить ладно.

Подошли двое.

— На перепутье! — так здесь здороваются.

— Мир вам.

Молчат, и мы молчим, смотрим друг на друга.

— Планируете? Лению, значит, наводите?

— Планируем.

— Резев, поди, большой будет?

— Нет, не очень.

— Когда не больно большой,— бойко, убежденно проговорил разбитной парень,— я ведь это дело хоро-

шо знаю. Пойдут это будки, станции,— очень даже большой.

Я не стал возражать этому специалисту.

— Ты кто? — спросил я лениво.

— Мы так...— сухо, с достоинством ответила мне неопределенная личность.

Помолчали и разошлись.

Еще трое. Эти типичные. Средний — громадный мужик с неимоверно большим лицом. Мягкие, толстые губы сложились в такую гримасу, какую часто встретишь в окнах, где висят разные комичные маски с исполинскими ртами. Широкий нос мясисто и тяжело уселся над верхней губой; нижняя челюсть выдвинулась, широкие карие глаза смотрят как-то остро и напряженно. Всклокоченная борода, курчавые черные волосы,— все массивно, крупно и с запахом. Лет ему за пятьдесят. Товарищ его среднего роста, полный, самодовольный, с бегающими глазками, средних лет. Третий — бесцветный, белобрысый, с белой бородой, все время молчал.

Говорят двое.

— На перепутье!

— Мир вам!

Маска смотрит так, как будто вот-вот ухватит меня за горло с воплем: «Держи его!» Так большая мохнатая собака свирепо бежит, и думаешь: вот разорвет. Но что-то доверчивое в ней останавливает руку, взявшуюся за камень. Собака без страха подходит и оказывается глупой доверчивой собакой и вместе с тем симпатичной.

Вот такое же впечатление производит и маска Пахома Степаныча.

— Всё ли живеньки-здоровеньки? — проговорил мужик с бегающими глазками, обращаясь к моему старику.

— Живем, поколь господь грехам терпит.

— Ну, и слава богу,— пропел в ответ крестьянин.— Счастье вам, Тальцам, как погляжу,— проговорил он,— всё ямщина — лопатой гребете деньгу.

Он подмигнул на меня и посмотрел вбок.

— Хоть бы нам этакое счастье. Мы ведь, ваше благородие, все здешние места с завязанными глазами знаем.

Ввиду почти всякого отсутствия карт потребность в опытных руководителях никогда не прекращается.

— Так что ж, послужи, если охота.

— С нашим мы удовольствием, со всей охотой.

Маска с завистью посмотрела на пристроившегося товарища.

— Ну, для начала скажи: заливает Томь вон эту лужайку?

— Какую? Вон энтую? Редко же; так сказать, в сорок лет раз, никак не больше.

— Пошто? — выпалила маска.

— Так будто, Пахом Степаныч,— мягко проговорил он.

— Пошто? — опять выпалил Пахом Степаныч.— Бабка Нечаиха коли умерла?

— Ну коли?

— Коли? А телку-то, эвона, бурую-то у меня коли увели?

— Я что-то не припомню.

— Не припомнить? А Никитка, хоть он тебе и дядя, будь он проклят, мое сено коли уволок?

— Ну, и уволок уж!

— Не уволок? Я в тюрьме сижу? Слышь ты, твое благородие,— эвона какое дело вышло, ты только послушай, и тут тебе такие дела откроются. Ну, вот хоть тебя взять,— ты как считаешь: можно человека без вины, без причины валить на землю да нещадно драть розгами?

Пахом Степаныч не то что громко говорил, а прямо кричал.

— Да ты что его благородию шумишь-то?

— Постой,— досадливо перебил его Пахом.— Ты послушай только, господин, какие у нас дела творятся. Рассказать, поди, так не поверишь. А все право. Вот хоть, к примеру, он. Ну что, нешто не били меня?

— Мало били,— шутливо ответил крестьянин.

— Не валили, как быка, на землю? ну?

— Ну что ж? Валили.

— Валили? — с горечью переспросил Пахом.— А по закону это?

— Стало, по закону.

— По закону? Человека обесславили,— я вор, что ли?

— Кто же говорит?

— Так за что ж меня били?! — вскипел вдруг Пахом.

— Да отстань ты, ну тебя... я тебя, что ли, бил? Мировой назначил.

— Мировишка ваш такой же, как и вы все. А за что, ваше благородие, спроси. Банишка паршивая сгорела; она, значит, не сгорела, а хотели за нее деньги получить, будто сгорела, так, ветхая... пять рублей. Назначили меня в осмотрщики. Гляжу я: что такое, где она горелая, когда она вся тут?

— А тебе надо долго было мешаться? свои деньги платили, что ли?

— Постой! — сделал страшную гримасу Пахом, открыв свою бегемотовскую пасть,— не за свое дело стоял, за мирское.

— Ну, вот тебе и мирское,— ехидно хихикнул крестьянин.

— Постой... Ладно. Что ж я худого сказал, твое благородие! Только и всего, что старшине, как он свой приговор постановил, так что баня сгорела, ну действительно сказал, что все вы — одна сволочь — и верно!

— Ну, вот тебе и вышло верно.

— Па-а-стой!.. Ну вот, призывают меня после того в правление и без суда и спроса, так и так, пятнадцать розог. Не желаю. «Вали его!» Дай, говорю, месячный срок обжаловать. Дай двухнедельный, дай недельный, дай три дня!

Голос Пахома перешел в какой-то воющий рев.

— Навалилось десять человек народу, что я поделать могу?! Один хватает за руки, другой ноги, третий рубаху рвет...

Пахом Степанович замолчал на мгновение.

— Уперся я,— начал он снова, — в первый раз тихо этак рванул: раз-другой,— ну, сила, можешь видеть,— посыпались кто куда... Опять насели... опять таскали-таскали — брякнули на скамейку ребром, так и сейчас вышибленное. Ну, уж там дальше, как

в тумане. Повалили, уселись на само на ребро, били-били,— я уж не помню. Ну, отлили, отошел. Я в ту же минуту прямо в город. Пришел к губернатору и прямо ему так и говорю: «Ваше высокопревосходительство, глядите», да и поднял рубаху; поднял рубаху, а там все тело так и запеклось. Взял его пальчик да и вожу по ребру, а ребро-то: трик-трик. «Это что ж такое?» — говорю. Ну, меня сейчас в госпиталь на излечение. Следствие...

— Ну?

— Ну и ничего: кому надо?

— Да не слушайте вы его, ваше благородие, утомит он вас, а толков никаких ведь не добьетесь... пятнадцать лет вот мотает и себя и мир,— уж его и на высидку присуждали — совсем супротивный человек стал.

— Супротивный? — Пахом плюнул и быстро ушел. Отойдя, он остановился, как будто рассматривая что-то, а сам слушал.

— Вина не в старшине тут была, а в мировом. Вышел приказ, старшина взял да и выпорол. А мировой-то смекнул, что дело неладно, и водил его все это время,— ну, а теперь действительно ушел, и дело открылось. Так ведь сколько лет же ушло. Да и дело он свое сам же испортил. «Не стану, говорит, подати платить, когда так». Совсем отбился,— до сих пор и не платит. Ну, нынче велено продавать у него сено и дрова.

— И не буду платить! — гаркнул издали Пахом,— по какому такому закону меня калекой сделали? Кто бил, тот и плати.

— Совсем пустой мужичонка. Жил хорошо; все смотал, все бросил, все перевел на кляузу,— ничего не стало; вся изба завалена — все черновиками да прошениями,— сосут с него, конечно, а он всё собирает их. Чуть что и сейчас: «а черновик?», а что такое черновик, и не расскажет, поди. И так уж он иссутяжничался, что чуть что кто, сейчас тянуться. Семена ему тут богатый мужик продал, так ведь что выдумал? «Не всхожи»,— баит. И ведь суд затеял на пятьдесят рублей. Мужик-то богатый, взял да и вынес ему пятьдесят рублей. «На вот тебе, говорит, я такой же

человек и останусь, а ты все такой же прохвост будешь». Право, так и сказал, так и отрезал. Пустяшный человек, разговоров не стоит. А теперь, прямо сказать, умом тронулся,— хихикнул крестьянин, заглядывая мне в глаза.— В город опять идет: прослышал, князь какой-то едет. Кто едет — он сейчас же торбу на плечи, айда пошел...

— Сволочь! — плюнул Пахом Степанович.— До смерти буду ходить, а правду-матку найду. Из-под земли ее вырою!..

Так и запечатлелась эта громадная, тоскующая, точно в кошмаре каком, фигура с своими черными курчавыми волосами, которые, как змеи, обвивались вокруг громадной его головы.





КОРОТЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Посвящается дорогому моему сыну Сереже

Наше знакомство только что началось, и я, как это, вероятно, со всеми бывает, незаметно напрягал свое внимание, чтобы поскорее уяснить себе нравственный облик нового знакомого. В таких случаях иногда бывает то же, что и с новой книгой, с содержанием которой хочешь бегло ознакомиться, чтобы выяснить вопрос: стоит ли тратить на нее время.

Местом нашего знакомства была деревня. Обстановка — помещичий дом с следами некогда довольно богатого прошлого. Теперь все это носит уже на себе следы времени и отсутствия интереса со стороны хозяев к восстановлению былого. Впрочем, в широких с потертой материей креслах сидеть удобно и приятно.

Владелец — одинокий старик, худой, высокий, сутуловатый, бреется, носит военные усы и с виду составляет одно целое со всей своей обстановкой. От всей его фигуры в первое мгновение веет немного холодом. Это сухой, строгий, представительный старик, если можно так выразиться, с капризными манерами избалованного когда-то светского человека; но в серых строгих или, вернее, внимательных глазах холода нет. Чувствуется мгновениями в хозяине какая-то рассеянность, и тогда он точно забывает вдруг все окружающее, и взгляд его, блуждая, вероятно, в далеком прошлом, делается ласковым, но каким-то далеким и чужим вам. Это — ласкающая задумчивость красивого осеннего пейзажа, мимо которого при последних лучах солнца проносится ваш поезд, это, конечно, чужое вам, и вы забудете о нем, но в данное мгновение этот вид ласкает ваш взгляд и будит что-

то. Переход опять к действительности, возвращение в обстановку, окружающую его — медленно, и следы неохоты оторваться от своих мыслей явно обозначаются на его лице. Мы провели уже несколько часов вместе, пообедали и теперь в его кабинете пьем чай.

Я чувствую удовлетворение и возрастающий интерес и не жалею, что потерял день из моей кочевой жизни, чтобы лично повидаться, а не с помощью переписки переговорить о случившемся у нас с Александром Дмитриевичем С. деле.

Разговор о деле давно кончился, и я, предполагая сперва было уехать, принял приглашение хозяина ночевать у него. Принял потому, что чувствовал какую-то душевную уютность, да мне и просто хотелось отдохнуть в этой по моим нервам пришедшейся обстановке.

Очевидно, и хозяин чувствовал это мое удовлетворение, и это еще быстрее создавало между нами близость, которая, впрочем, никакими внешними признаками не обнаруживалась.

— Если вы не передумали, то мы, пожалуй, и пойдем,— обратился ко мне после чаю Александр Дмитриевич.

Он звал меня в основанную им школу, о которой я и раньше уже слышал и сам просил хозяина показать мне ее.

Александр Дмитриевич приподнялся с своего кресла с некоторой неохотой, какую испытывает, например, молодой автор, когда хочется ему прочесть написанное и в то же время от мысли, что теперь читаться это будет уже в иной обстановке, чем когда писалось и чувствовалось,— людям, которые, может быть, находятся в совершенно ином расположении духа,— его вдруг охватывает тоска, и хотел бы уж он быть в этот момент за сотни верст от своего чтения, от этого общества, которое кажется ему вдруг враждебным и сухим и не расположенным заранее ко всему, о чем бы ни вздумал говорить с ним автор.

Разница, впрочем, между таким молодым автором и моим новым знакомым была и заключалась в том, что вся спокойная без рисовки сгорбленная фигура его как бы говорила: «Ты себе, конечно, как знаешь, так и смотри на вещи, а каждому человеку жить на-

до, и живет он как может. Худо ли, хорошо, но жить надо, и нужен воздух и для души».

Я шел за ним по коридору и в душе признавал все его права на такую постановку вопроса. Раз и для души нужен воздух, то это ведь главное. «Жива душа», а остальное жизнь сделает. Да и какое имею я право относиться иначе? Входя в дом англичанина, его согражданин не станет диктовать ему, как ему надо жить, но напротив всецело признает за ним право жить и думать так, как только это будет ему угодно.

Признаюсь откровенно, меня никогда не шокирует никакое мнение, не согласное со мной. Я только буду прислушиваться к тому, насколько оно искренне и одухотворенно. И если это только не животное и не переодевание в индейца из оперетки «Периколы», то я с большим удовольствием буду с таким человеком всегда и спорить, и дружбу водить, и делить с ним хлеб-соль.

Отделение, назначенное для школы, занимало добрую половину большого барского дома и в контраст с помещением владельца было отделано изысканно, красиво и светло. Полировка, лак, паркет, резного дерева потолки, резная дубовая мебель, стены, раскрашенные прекрасными картинами.

С громадным удивлением я читал под ними имя одного из самых выдающихся наших художников, прекрасно выполненные картины которого из народной жизни на выставке умеют привлекать к себе толпу зрителей и покупателей, платящих за них сотни и тысячи рублей.

Все остальное в школе было в тон этой роскоши. Громадные комнаты, масса воздуха, комнаты для музея, комнаты для ремесел.

— Это вот их образцовые поля и огороды,— показал хозяин в окно.

Из больших зеркальных окон открывался вид на поля, реку и пруд. Была осень, мелкий дождик только что перестал, и темные осенние поля с помятой жнивой, теперь намокшие и продрогшие, смотрели холодно и неуютно. Виднелись оросительные канавки,

а туда, дальше, флигелек и ряд хозяйственных построек. У флигеля несколько маленьких крестьянских детей возились над чем-то.

Мы прошли еще несколько комнат и вошли в маленькую нарядную комнатку с камином, в котором ярко горели теперь дрова, с мягкой кабинетной мебелью, обитой темным сафьяном, с полом, устланным хорошими коврами, и со стенами, увешанными картинами. Сухое лицо хозяина, эта обычная маска его, оживилось, и неуверенным смущенным голосом он сказал:

— Это мое святилище.

У дверей стоял сторож, руками которого, очевидно, был растоплен этот камин и все содержалось в таком порядке. Ласково, с тем видом, когда в доме все делается не за страх только, а и за совесть, он спросил:

— Чаю?

— Дай,— сухо ответил хозяин и, опустившись в кресло, спросил: — Вы против камина ничего не имеете?

— Я люблю камин. В такой сырой мозглый день он греет и светит, как солнце, и придает этой прекрасной комнате самый уютный и жилой вид.

— Ну, очень рад, что вам здесь нравится.

— И здесь и везде, во всем помещении вашей... и не знаю как и назвать... вашей прекрасной школы.

— Да...— рассеянно проговорил хозяин,— прежде...

Он остановился. У него была какая-то особенная выразительность в манере говорить. Очевидно, он или говорил то, о чем думал, или молчал. И когда говорил, он точно видел то, к чему была прикована его мысль, и, отдаваясь ей, умел интонацией голоса, взглядом, движением дать почувствовать и слушателю то, что и сам испытывал. В то же время с виду он оставался все таким же сдержанным и сухим. Он не спеша продолжал с расстановкой:

— Прежде мы хвалились охотой, лошадьми... Времена переменчивы...

Он опять замолчал, лицо его приняло характерное отлетевшее выражение, он смотрел в огонь камина и в этих перебегающих струйках точно следил за чем-

то, изредка вдруг наклоняя низко голову и подымая брови, словно спрашивал. Я сидел, охваченный обстановкой, и тоже молчал.

— Ну-с, вот вам и школа,— отрываясь от своих мыслей с обычным оттенком неудовольствия, сказал он.

— Да,— вздохнул я,— прекрасная школа... слишком прекрасная, если можно так сказать... Меня особенно поразили эти картины. Они, конечно, великолепны, полны смысла, но... ведь это должно стоить громадных денег.

Если моего хозяина можно было сравнить с очень чутким капризным инструментом, струны которого вдруг иногда точно просыпались и будили мелодично слух, то я в это мгновение походил на очень плохого артиста, не освоившегося с этим инструментом.

Получился звук резкий и неприятный.

— Нет...

Затем наступило молчание, которое я не решался больше нарушать. Я поздно упрекал себя в этой слабости нашего века все переводить на деньги. Понадобилось, очевидно, известное время, чтобы инструмент опять настроился. И тогда С. заговорил простым задушевным тоном. Если до этого он производил впечатление, может быть немного избалованного обстановкой жизни родовитого дворянина, то теперь это исчезло. Тон был простой, живо хватающий за душу своей грустью и искренностью.

Он начал, и голос его ясно говорил о том, что он подумал перед тем, как начать: рассказывать ли ему мне, или нет?

— Вы могли ко мне и не приехать... Если в такую пору года вы тем не менее не поленились заглянуть к старику, то мой долг, как хозяина, обязывает меня занять вас, как умею. Если хотите, я расскажу вам историю возникновения этой школы, и тогда вам легче будет судить... вот по поводу того, что вы сказали.

Я человек увлекающийся, и в эту минуту, чтобы узнать эту какую-то таинственную историю, готов был не то что слушать двумя ушами, но и многое отдать за это.

Я поспешил, как умел, выразить свою готовность слушать и уставился глазами в хозяина.

Глаза хозяина немного раскрылись, скользнули по мне, и с выражением удовлетворения избалованного ребенка он начал... иначе слова не подберу, как — начал жить. Старики любят рассказывать и умеют рассказывать о том, что болит или болело когда-то. Такие пересказы всегда чувствуются и выражаются тем, что слушатель не замечает, как идет время, и не отвлекается никакими посторонними мыслями и соображениями.

— Эта школа имеет очень странное начало... по-стариковски, я начну с него... Была у меня собака — Дюк. Я купил ее за щенка из породы французских понтеров. Говорили, что она была действительно породиста, но дело в том, что я моего пса не обучил охоте, потому что сам не охотник, и вырос он у меня болван болваном. Даже его достоинства и те пошли на зло: свою способность искать дичь он проявлял тем, что душил домашнюю птицу; свою любовь к охоте выражал тем, что, куда бы я ни ехал, он обязательно сопровождал экипаж. Набаловал и остальных собак. Штук двадцать несется, бывало, их за экипажем. При этом радость свою выражают и он и остальные лаем и не то, чтобы вначале, а так-таки всю дорогу. Остановишься, чтобы прогнать, отбежат и смотрят, и во главе все тот же Дюк. Доведет до полного исступления... Было бы ружье, так и пустил бы в него заряд. И при этом страсть прыгать лошадям к морде. Раз так хватил за ноздрю коренника, что лошади чуть не разнесли экипажа. Набалован был ужасно. И шло все это crescendo. Щенком привык валяться по диванам: с грязными лапами и после прямо на диван. С блюд стал, наконец, таскать: прямо подскочит и схватит. И умный при этом — набедокурит и скроется,— выждет время, когда гнев пройдет, опять покажется. Несколько раз я уже серьезно задумывался над тем, не прикончить ли его? да все жаль как-то, да и упрек к тому же, что в сущности я сам и виноват в том, что из него вышел негодяй. В других руках, может быть, получилась бы знаменитость в своем роде, а у меня дрянью вышел. Как-то раз одно к одному все подошло. На самую пасху вместе с гостями ворвался в столовую, лапы на стол и хвать самую лучшую колбасу. Мало этого: в тот же день сына укусил.

Ну, тут уж так меня атаковал, что я сдался и приказал его пристрелить. Повар, как наиболее страдавший от его нахальства, и взялся с удовольствием за исполнение приговора. Так нет же, понял, как человек, и сбежал. Пропадал до глубокой осени. Наконец, возвратился... но в ужасном виде. Прежде это был белый с пятнами, лоснящийся, задорно-уверенный пес, глава всей дворовой псарни. Теперь это была самая паршивая грязная собака. Он, очевидно, понимал, какая метаморфоза произошла с ним. Он уже не лез в комнаты, отказался от всякого главенства над остальными псами, и те грызли его теперь беспощадно. Ко всему он еще чихал и кашлял, и из ноздрей его сочилась какая-то дрянь. Одним словом, пропал пес: угрюмый, с поджатым хвостом свернувшись где-нибудь у забора, он все дни лежал до тех пор, пока место его не приходилось по вкусу какому-нибудь другому псу. Тогда Дюк покорно подымался и, выгибая кольцом вверх свою острую спину, тоскливо брел куда-нибудь дальше. Прежде, бывало, при моем появлении он всегда развязно бросался ко мне на грудь, но теперь разве издали вильнет хвостом и взвизгнет. Все свои нахальные повадки он бросил, и даже повар, непримиримый враг его, оставил мысль о том, чтобы пристрелить его. Как-то зимой, в декабре, я в маленьких санках, по обыкновению объездив хутора, заглянув на мельницу, возвращался домой. Были уже сумерки. Я подъехал к подъезду и в ожидании, пока кто-нибудь возьмет лошадь, смотрел в окно столовой, где горела уже лампа, как приготовляли чай, как жена сидела у стола и что-то читала. Во дворе как раз никого не было, и я, оглядываясь, кому передать бы лошадь, вдруг вспомнил, что не побывал сегодня в лесу, где шла у меня в то время расчистка родников. Я всегда ко всему горячо относился, и тогда это был разгар моих сельскохозяйственных затей... Из этого всего, впрочем, ничего не вышло, и все мои затеи дали один большой убыток... потому что я, да и многие из нас, хозяев, в сущности тоже Дюки в нашем деле... Нет знанья, нет порядков, а без этого у такой капризной барышни, как природа, ничего не получишь. Да, да, мы сами себя наказываем: в сравнении с тем, что у меня было,— теперь осталась капля... Ну так вот, я

и решил тогда, пока что съездить в лес, благо близко было,— ну версты полторы-две. У ворот при выезде мелькнула какая-то тень, и я, узнав Дюка, вдруг окликнул его. Он уже давно оставил повадку бегать за мной, но одного оклика было довольно, чтобы Дюк, как и прежде, бывало, побежал за мной. Он попробовал даже было забежать вперед и, как прежде, грациозно подпрыгнуть перед мордой лошади, но прыжок вышел неудачный, тяжелый, он попал под копыто, затискался в снег и, визжа, уже сзади поплелся за санями. Я, впрочем, забыл о нем: и без него было хорошо. Мороз был градусов тридцать и охватывал, как освежающая ванна. В воздухе не шелохнулось. Небо вызвездилось, и морозные яркие звезды точно замерли и тонули там, в бархатной прозрачной синеве неба. Лошадь отчетливо быстро бежала, и под визг полозьев я задумался и замечтался... вероятно, сколько я вспоминаю, о разных барышах с своего хозяйства... Удивительная это способность нашего брата мечтать об этих барышах: по целым дням и зиму и лето ходишь и считаешь — на счетах, на бумажке,— ошалеешь совсем, точно дурману объешься... а какая-нибудь полезная умная книга так и пролежит всю зиму нетронутая... И не видишь, куда время идет... Газет не читаешь! Жена разве выручит и как-нибудь утром в кровати или за обедом урывком расскажет, что делается на свете. Убыток явный уж в виду: нет, еще тешишь себя. Собрал хлеб, наконец, обманываться нельзя больше. Тогда прыжок, и все надежды уже там, в будущем году — озимь, пашня под яровое, семена, как бы побольше посеять, да как бы год хороший. Вот на это и тратит часто свое время наш брат.

Ну, опять увлекся... приехал я в лес, бросил вожжи, лошадь смирная, и пошел к родникам. Чистка родников заключалась в том, что рылись ямы аршина в два с половиной и запускался в них сруб. Около одной из таких ям без сруба я, рассматривая, слишком близко подошел к краю и по свежей грязи не удержался и съехал в яму. Ну, съехал, что за беда: не колодезь — голова уровень с краями. Это было первое ощущение. Но когда я принялся выкарабкиваться, оказалось, что беда и большая беда: не могу выбраться. Смешно, вижу глазами землю, лес, про-

тянуть руку только, чтобы ухватиться... Но ухватиться-то и не за что: кругом скользкая грязь, и лезет она вместе с рукою назад. Одного усилия руками и ногой достаточно бы, но рука и нога скользят. Какое бы нибудь дерево поближе: дразнят там, а здесь ни одного. В шубе — устал. Побился, побился, остановился и думаю: что же мне делать теперь?

Тишина мертвая в лесу, только ветки где-то трещат от мороза. Крикнуть? Кто услышит? Хоть бы лошадь ушла домой, но и лошадь такая, что хоть до утра будет ждать. Если и дома хватятся: где искать? Проехал так, что никто и не видал. А внизу вода. Чувствую, что она начинает просачиваться сквозь валенки... Плохо. Думаю: ведь это смерть подходит. Шутка сказать! А до утра никто не заглянет. Кажется мне, что я уже зябну, и чувствую, что нервная дрожь добирается и до зубов. Хоть бы воришка какой-нибудь в лес заглянул: озолотил бы. Страшно, как подумаю, что смерть подходит, так все и забьется во мне, и готов и выть, и метаться, и опять сознание своего бессилия как ледяной водой окатит... вспотел весь... вспотел и стыну. Серьезно говорю, что никогда в жизни и притом в такой комичной обстановке я не был так близок от смерти. И если бы не Дюк — я замерз бы. Сперва я на него и внимания не обращал, но вдруг привлек меня его громадный ошейник, прежний ошейник, который теперь болтался на худой шее и резал глаза контрастом. С помощью этого ошейника я и решился спастись. Новая беда: зову я Дюка, а он не идет. Бегает, визжит, хвостом машет, а не идет: не верит мне — отвык. Каких-каких самых нежных названий я не надавал ему. Как мягко ласково уговаривал. Да, пришлось-таки повозиться, пока опять восстановились наши прежние отношения, и он, наконец, подошел настолько близко, что я мог хватить его за ошейник. Он поздно было рванулся, но это мне и надо было: держась двумя руками за ошейник, опираясь ногой в стену ямы, я начал выбираться. И по мере того как я выбирался, Дюк, пятясь от меня, тем самым тащил... тащил жалкий, худой,— меня — громадную тушу, особенно в шубе. Я вылез, и можете себе представить, он понял свою услугу. Надо было его видеть. Его восторг не имел границ. Он бросался

мне на грудь, лаял и визжал, и опять бросался, и лизнул-таки своей грязной мордой прямо в губы меня... Через десять минут я уже опять был у окна своей освещенной столовой. Когда я сидел там в яме, мне все представлялась эта мирная картина ожидания меня: долго пришлось бы ждать. Тревога уже поднялась: дворня была на ногах, ведь было семь часов, я два часа пробыл в лесу. Дюк, как только отворилась дверь, первый влетел в комнату, вихрем пронесся в кабинет прямо на кушетку. Пока я, щелкая зубами, рассказывал жене о том, что случилось со мной, он лежал на кушетке, высоко подняв голову, и отбивал своим хвостом такт: очевидно, он вторично переживал удовольствие и сознание, что теперь его не прогонят с кушетки. Этот вечер он там и провел, я кормил его отборными кусками... Скоро пришлось мне со всей семьей уехать из деревни, и возвратились мы только весной.

Без нас Дюк сдох. Говорили, что он опять убегал и нашли уже его где-то во рву. Я узнал потом; просто не кормили, и бедняга сдох от голоду... Жалко было бедную собаку: так пропала... и я часто вспоминал ее... Сыну тогда восьмой год уж пошел и уже принялись за его обученье; но ученье на первых порах не спорилось. Мальчик был очень способный, но небрежно смотрел на дело. Однажды вот в этой самой комнате я решил подтянуть франта. У меня в моей системе воспитания не только наказаний, но и резких слов не было. Все основано было прежде всего на любви, а затем на работе его головы, на рассуждении, на логике, на доводах... Ну вот, как довод, я ему и привел этого самого Дюка,— как доказательство того, что и с задатками можно ни за грош пропасть. Мальчик слушал меня рассеянно, вертел все время мой палец и, когда я кончил, с какой-то своеобразной детской логикой сделал свой вывод:

— Папа!

Это папа он всегда говорил напряженно и звонко.

— Папа! А Ломоносов тоже был из мужиков?

— Отчего ты вспомнил о Ломоносове? — спросил я.

Он рассеянно ответил:

— Так...

И опять сосредоточившись на своей мысли, озабоченно, сильнее крутя мой палец, проговорил:

— Папа! Петька говорит, что если бы была школа, он тоже бы учился.

Как это там в его головке скомбинировался Дюк, Ломоносов, его обучение и невежество Петьки, я не знаю, но на меня, человека впечатлительного и нервного, этот вывод его, без преувеличенья скажу вам, произвел потрясающее впечатление. Я часто и раньше думал о школе, может быть, при сыне же и говорил об ней, но неудачи, то, другое — так все и откладывалось. Старая, знакомая мысль, но как-то вдруг осветилась она передо мной так ярко и выпукло... В самом деле: совесть мучит за пса, а за всех этих Ломоносовых, всех этих гениев ума в стомиллионной массе, в каждом поколении имеющихся несомненно и гибнущих или извращающих свои дары — не болит сердце и не думаешь даже.

И точно дело делаешь: ходишь да ворчишь еще — таланты перевелись...

— Скажи своему Петьке, что осенью у нас будет школа.

Мой сын скользнул глазами в окно и снисходительно ответил:

— Ну хорошо, я скажу ему.

Но помолчав, он спросил:

— Папа, отчего осенью?

— Так... я давно решил...

Не говорить же мне было ему, что он, Дюк и Петька были виновниками моего решения.

Он еще подумал и недоверчиво проговорил:

— Папа! ты не забудешь?

— Ну, напоминай мне.

Это понравилось, и он опять милостиво ответил мне:

— Ну хорошо, я напомню.

Этим и кончился мой первый и последний выговор моему сыну: жена там с ним справлялась, тоже, конечно, без всяких мер наказания. Осенью был обычный убыток от хозяйства (я вспоминаю всегда, говоря об убытках, слова моего соседа. Он говорил: «На будущий год будет хуже... Запишите»), но я взял себя в руки и, отделив часть дома, решил не откла-

дывать дело школы. А чтобы не мучить себя мыслью о лишних расходах, я решил, что я сам себя обложил налогом в пользу образования. И по-моему, каждый, получивший это образование, может и должен — и только такой и должен — нести этот налог... Так просто отбирать подписку: хочешь сам образоваться — не грех и возвратить государству затрату, тем более что и живут-то люди с своего образования. И получивши его, надо думать и о тех, кто не получил... в интересах родины. Это самый божеский, самый справедливый налог.

— Я совершенно с вами согласен,— согласился я возбужденно.

— Правда ведь? вот таким налогом и обложил я себя. В первый год и сын до поступления в корпус учился в этой школе.

— И Петька? — спросил я.

— И Петька... Вот они все три основателя,— хозяин показал на небольшую картинку, висевшую с боку камина. Я быстро поднялся и стал рассматривать ее. Были нарисованы мальчик в матроске, деревенский мальчик и между ними легавая собака с беспечным, нахальным и добродушным в то же время взглядом. Она смотрела, как бы спрашивая: «Ну, ты чего еще здесь?» Так смотрела она, очевидно, в первый период своей жизни.

Мальчик в матроске — сын хозяина, худенький, с маленьким личиком, смотрел своими черными глазками рассеянно, напряженно, как-то поверх всего окружающего и, казалось, думал о чем-то. Крестьянский мальчик, раскинув руки, стоял в типичной позе крестьянского ребенка. Широкое лицо его было спокойно, добродушно, а голубые глаза точно выжидали чего-то равнодушно и терпеливо.

— Вот этот самый Петька и есть... Его и работа эта картинка. Как и все эти картины этой школы,— помолчав, произнес хозяин.— Каждое лето ко мне ездит и рисует.

Я быстро пригнулся к фигуре маленького Петьки. Этот вот... перед картинами которого я стоял, бывало, на выставке и считал бы за счастье когда-нибудь увидеть их автора. Я долго смотрел, и, когда взволнованный сел, хозяин проговорил:

— Есть у меня и поэты.

Он достал с полки книжечку и прочел задушевные стихи.

— Студент еще... Для начала недурно. У меня и ученые, и механики, и изобретатели даже есть. Есть и пахари — у каждого своя доля.

— А ваш сын где? — спросил я.

Я опять дернул грубо за больную струну.

— Бог не дал моему сыну жизни,— ответил хозяин и опустил голову.

Он помолчал и нехотя прибавил:

— Он скоро и умер после открытия школы...

Кровь горячей струей ударила меня по сердцу.

Как! этого худенького, симпатичного, роющегося в своей головке мальчика уже нет на свете?!

Много детей умирает, я хоронил и своих, но, откровенно говорю, такой жгучей боли по умершем, и притом давно умершем, я, кажется, никогда не испытывал.

—Я даже не знаю его могилы... Он утонул... в корпусе, спасая товарища... безрассудно...

Я смотрел на картинку. Так и кажется, что он вот-вот вскрикнет своим звонким голоском: «Папа!»

— Спас? —спросил я, не поворачиваясь.

— Нет: было, я думаю, и ему очевидно, что не спасет он... но бросились другие за ним и спасли того... другого... но его не удалось спасти.

Старик задумался.

— Отчего вы спросили: спас? Разве это меняет значение его поступка?

— Конечно, меняет: мальчик вдвойне герой.

— Да,— вздохнул рассеянно хозяин,— и вот все, что осталось мне от него... он один и был у нас... я вот перенес, а жена не перенесла... я и ей памятника не сделал... их обоих могила для меня здесь, в этой комнате... в этой школе...

Я молча отошел от картины: какая оригинальная мысль, какая оригинальная могила! Сколько оригинальных, сильных мыслей говорит мне этот старый с разбитой жизнью человек! Могила?! Я их много видел на разных кладбищах и богатых, очень богатых памятников — целые дома, целые города мертвых! И когда ходил около них, мое сердце сжималось хо-

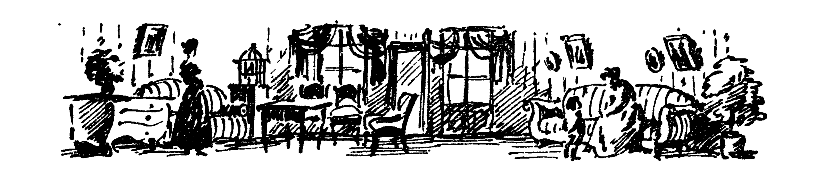
лодной тоской смерти, и казалось мне, что эти памятники еще тяжелее давят грудь покойников. Но здесь, в этой комнате могил, ничто не говорило о смерти. Мальчик стоял живой передо мной. Несмотря на серый закат тучами заволоченного осеннего дня, казалось, солнце заливало своим светом эту комнату, и громкий веселый говор в школе собиравшихся на вечерние занятия учеников, как веселое щебетанье птиц, говорил о весне, о счастье и радости жизни.

Чудная могила!

Я смотрел на этого отлетевшего в иную жизнь мальчика и, казалось, слышал оттуда его энергичный, как звон — не похоронный, а радостный, зовущий к жизни призыв:

«Папа! Моя коротенькая жизнь сделает и твою длинную жизнь — прекрасной, полной глубокого смысла для твоего стомиллионного народа».





В УСАДЬБЕ ПОМЕЩИЦЫ ЯРЫЩЕВОЙ

I

Воскресный летний день собирался быть особенно жарким. Солнце как-то сразу показалось на безоблачном небе и скучно, без предрассветной прохлады, уставилось в оголенные берега большой извилистой речки. Там, выше речки, раскинулось большое торговое село, грязное и серое, под цвет остальной округи.

У базарных лавок сидели и стояли толпы жнецов из татар в ожидании найма.

Это был первый базар и первая наемка на жнитво в это лето. Урожай был хороший, и цены на работы ожидались высокие. На площади показался, приседая и смешно оглядываясь, словно за ним гнались, Кирилл Архипович, приказчик одной маленькой экономии барыни Наталии Ивановны Ярыщевой. Опросил цены на жнитво и, услышав про пятнадцать рублей, убежал без оглядки. Татары-жнецы проводили его с базара свистками, улюлюканьем и смехом. Кирилл Архипович, с мягкой курчавой бородой, с громадной лысой головой и мелкими чертами лица, прибежал сам не свой на двор, куда заехал было, и обратился к хозяину, хлопнув руками:

— Беда! Пятнадцать рублей.

Хозяин двора катил в это время бадью по двору и, остановившись, равнодушно ответил:

— Вот как хлещут!

— Чего ж теперь делать? — спросил приказчик.

— И не знаю.

— Ехать надо домой,— вздохнул приказчик.

Крестьянин покатил бадью дальше под навес.

— Аль раздумали брать?

— Да как брать-то? — Кирилл Архипович почесал затылок.— И не соображусь теперь... Жать двадцать десятин, а всех денег сто двадцать рублей всего-то у нас: половину не сожнешь на эти деньги.

— Не сожнешь поэтому.

— А ведь поколь жнешь, да когда еще молотить там, да в город продавать, а их рассчитывать надо: ждать не станут.

— Не станут.

— Ах ты, грех! Ехать надо посоветоваться... Думал, пораньше выбегу на базар, поколь цена не разыгралась, а вот...

— Дешевле не будет нынче...

— Ехать надо...

Кирилл Архипович еще поохал и стал запрягать. Запряг, рассчитался, попрощался, сказав с каким-то придыханием: «Ах, ну до увиданья», сделал с обычным приседанием еще для чего-то круг возле своей плетушки, уселся и тронул.

Он уже проехал почти всю улицу, все смотря куда-то в сторону, как вдруг воскликнул, освобождаясь от задумчивости:

— Ах, кулек-то!

Он внимательно осмотрел сиденье, заглянул под козлы, приподнял тонкий слой находившегося в плетушке сена, но кулька нигде не оказалось. Кирилл Архипович еще нерешительнее несколько раз оглянулся, вероятно, в надежде, не догадается ли сам кулек прибежать к нему, но, не дождавшись, вдруг засуетился и поворотил назад.

Хозяин квартиры, увидев его, отворил ворота, и Кирилл Архипович въехал опять во двор.

— Здравствуйте опять,— сказал он растерянно, сойдя с плетушки.

— Здравствуйте и вы,— ответил равнодушно крестьянин.

Кирилл Архипович снова поздоровался с ним, а также с вышедшей хозяйкой. На мгновение он замер в сладостной истоме и сообщил:

— А я ведь кулек-то забыл. Гляжу, где он? Ах, назад ехать надо!

— Недалеко пахнулись еще...

— Недалеко... вот тут на углу — против лавки... Как его?

— Аксенова?

— Она... Гляжу: нет кулька... Ах ты, грех! — Кирилл Архипович постоял еще, подумал, покачал головой и, приседая, пошел в избу за кульком.

— А я тоже гляжу на кулек,— провожала его хозяйка,— думаю, что он, мол, оставил его? Мне бы скричать, а я, вишь, не смекнула тоже...

— И я тоже не догадался... Ну, до увиданья еще раз.

И, еще раз попрощавшись с хозяйкой, Кирилл Архипович с кульком в руках вышел из избы во двор.

— Ах... не надо бы заезжать было во двор,— спохватился он.

— Поэтому не надо бы,— согласился и хозяин,— я гляжу, едете, ну отворил ворота.

— Я ведь только вот за кульком...

— Известно, не оставлять же...

— Как же теперь? Не поворотишься ведь... выпрягать?

— Не знаю... Так, что ль, попробовать? Айдате так попробуем. Я лошадь заводить стану, а вы задок-то относите.

Общими усилиями дело обошлось без перепряжки, и, повернув лошадь, приказчик барыни Ярыщевой покатил, наконец, с базара, сопровождаемый напутствием хозяина: «Ну, с богом!»

Кирилл Архипович, склонившись набок, ехал и ломал голову, как ему быть. По пятнадцати рублей — двадцать десятин обойдутся триста рублей. Ста восьмидесяти не хватит. Главное то, что сам же он и подбил свою барыню усилиться посевом на эти лишние двадцать десятин. Обыкновенный порядок в имении был таков, что в экономии сеялось столько, сколько можно было урвать, так сказать, не в счет, без денег. Сдается, например, крестьянину десятина земли под посев; цена — как у людей, а один рабочий день выговаривается не в счет. Одну десятину взял — пеший рабочий, две — с лошадью. Часть земли снимала своя деревня и не в счет убирала пять десятин.

Конечно, это было немного, но и деревня барыни только и жила тем, что занималась нищенством. Так

и в земской статистике в рубрике промыслов она значилась: «занимается нищенством». Как дадут повестку, чтобы подать взносили, и разбредется деревня. Насобирает и взнесет. И всегда исправно. За эту исправность и заботливость и местное начальство уважало деревню и задолго обыкновенно до сбора ее первую извещало: готовьтесь, дескать.

— Что ж! и умно,— говорила про крестьян своей деревни старая барыня,— сами видят свою слабость и спасаются... А другой ведь только и догадается, что в кабак последнее снести.

Но зато когда ее крестьяне попробовали было поторговаться с ней насчет дарового посева, она ответила:

— Ну уж, батюшки, кому другому, а уж вам-то не грех и потрудиться на меня, старуху: за вас люди подать-то платят...

— Нынче где уж? — говорили крестьяне.— Действительно, значит, когда цена живет на хлеб, так будто и ладно, а теперь ничего не стоит, хоть и наше дело: день-деньской маешься, плечи от тяготы оборвешь, хлеб собираючи, а продай его, и гривенника не выручишь за день.

В нынешнем урожайном году промысел крестьян барыни Ярыщевой действительно был не из очень доходных.

Крестьяне других деревень, видя, как трудятся нищие, только лукаво подмигивали на них и говорили:

— Обижаются же... в убыток работа приходит.

Жалела и барыня Ярыщева крестьян своей деревни.

— Нынче, уж конечно, не ваш год,— говорила она,— ну так ведь надо же и людям.

— Известно,— вздыхали покорно нищие.

В общем дарового посева у барыни Ярыщевой набиралось десятин до тридцати. Сенокос ли продавался, лес ли, во всем было установлено правило выряжить не в счет известное количество работников. Конечно, крестьяне-арендаторы торговались, но старушка помещица добродушно уговаривала и шамкала своим беззубым широким ртом:

— И-и, батюшка мой! что тебе услужить старухе?

Доходов у меня мало, а расходов-то выше головы... Сам знаешь ведь, батюшка.

— Известно.

— Я сама ведь ваш хлеб да щи только и ем... Не мотущая, не картежница...

— Спаси, господь...

— Только что вот внуки... Ну, так ведь, батюшка, и их без образования нельзя оставить... И им ведь расходу больше моего еще будет.

— Как можно...

— Ну так вот, батюшка, и сам видишь... У меня же и тихо, спокойно: чтоб вот тебе я сдала землю, а там другому передала,— вон как у панков,— у меня этого нет, батюшка. У меня как в амбаре — все в сохранности.

— Что говорить! Из-за этого уж, прямо сказать, и платим будто лишки.

— Так не жалей, батюшка, не жалей... Земля моя хорошая, дай тебе бог засыпаться хлебом от моей земли.

И, видя, что крестьянин убеждается, старуха спрашивала:

— Ну, что ж, надумался?

— Да, видно... Что же станешь делать?

— Ну и с богом... А вот, не дай бог, лихоманка тебя схватит или живот,— приходи, батюшка... Приходи — безо всякого.

— Спасибо...

— Ну спасибо, батюшка, и тебе, я за тебя богу помолюсь... Что тебе день? Ты — день, другой — день, а мне, старухе, помощь. С миру по нитке — голому рубашка. Я, батюшка, прямо... Мне что таиться? Что было вот наследственного, то ведь и осталось... А от мужа да зятя долги одни остались... Все, батюшка, сплатила, все — до копейки! Внучатам-то,— старуха радостно понижала голос,— чистенькое, как яичко облупленное, достанется именье-то.

— Ну, до увиданья, Наталья Ивановна,— подымался со стула крестьянин.

— Ну, прощай, батюшка, прощай...

Барыня жала руку и провожала гостя.

— Хоть уж дорого, да уважительная,— говорили окружные крестьяне. И если спрашивали их: «Что за

человек барыня Ярыщева?» — отвечали в один голос: «Одно слово — не было такой и не будет... Уважительная барыня!..»

А Кирилл Архипович все подвигался с базара ближе к усадьбе и все думал. Уже показалась церковь соседнего села Дмитриевского, когда вдруг в его голове мелькнула счастливая мысль. В Дмитриевском он повернул свою невзрачную лошаденку в ту улицу, где жил староста Матвей Федорович, и остановился у ворот просторной, в три окна срубленной избы. Изба и все постройки на дворе имели аккуратный вид той зажиточности, при которой как-то само собой хозяин не ленится и гнилое бревно своевременно заменить новым и свежей соломой крышу укрыть, а то заменить эту опасную крышу и глиняной, которая не вспыхнет, как костер, от одной случайной искры.

Был праздник, и хозяин избы сбирался в церковь. В ожидании благовеста староста, в новой синего сукна поддевке, ходил по двору и заглядывал от нечего делать то в тот, то в другой угол своего двора.

— Ах, здравствуйте,— приветствовал его с своим обычным растерянным видом Кирилл Архипович, появляясь в калитке,— а я ведь к вам.

Матвей Федорович видел и сам, что приказчик приехал к нему, и в это мгновение его занимал лишь вопрос: насчет чего мог бы приехать этот приказчик?

— Заходите,— флегматично пригласил староста.

— А я ведь на лошади.

— Ну так что? Во двор заезжайте, а то так привязать можно.

— Так привязать, что ль? не уйдет, чать.

— Куда ей уйти? не рысак.

— Какой рысак!

Кирилл Архипович вернулся к лошади, а за ним вышел на улицу и хозяин. Пока приказчик привязывал лошадь, хозяин неопределенно глядел на его немудрую плетушку, немудрую запряжку, немудрую лошадь.

Кончив, Кирилл Архипович облегченно произнес:

— Ах, ну здравствуйте еще раз...

— Здравствуйте и вы. В избу, что ль, пойдете?

— В избу, Матвей Федорович.

В избе Кирилл Архипович поздоровался с хозяйкой и, присев на лавку, стал беспомощно вытирать пот с своего высокого лба.

— Выйди-ка на часок,— бросил мимоходом хозяин жене, и, когда та вышла, Матвей Федорович плотно притворил дверь, подсел к приказчику и прямо подошел к делу:

— Вы насчет чего же это?

— Да вот посоветоваться заехал, Матвей Федорович... Такое дело, такое дело, что и не придумаю.

И Кирилл Архипович рассказал, в чем дело.

— Гм! — пропустил в нос староста.

— Я вот что надумал... Уж бог с ней, с ценой... двенадцать рублей на базаре просят, ну и мы от людей никуда не денемся. Нынче вот праздник, народ пока свой хлеб не зажал... чать, не зажал.

— Нет, не зажал.

— Что б нынче миром бы к нам? Половину денег на руки, а половину до продажи.

— Не сообразишь ведь всех,— нехотя и лениво ответил староста.

— О?

— Мир.

— Да, вот мир разве...

Кирилл Архипович вздохнул и замолчал. Молчал и староста.

— А то нельзя ли как-нибудь, Матвей Федорович?

— Да ведь я-то что тут? Главное дело, больно вы уж с вашей барыней работой облагаете: обижаются ведь которые...

— Так ведь, Матвей Федорович, против людей и спокой у нас...

— Это так, за это спасибо, а вот лишечки-то: всё будто так...

— По-настоящему и сеять-то бы по нынешним временам не след,— вильнул Кирилл Архипович.

— Да где уж вам сеять? Тут своя крестьянская работа отбивается...

— Этак, Матвей Федорович... Да нет, видно, бросить же надо.

— Ну, там картошку для домашности, а то что ж выкручивать...

— Да я уж и сам не рад,— сокрушенно вздохнул Кирилл Архипович,— главная сила, толков нет...

— То-то толков нет, а склоки много...

Староста помолчал и начал другим тоном:

— Вы что, нынче за Караульной горой продавать же станете землю?

— Станем.

— То-то... Уросла, чать? Который год в сенокосе теперь лежит она?

— Да что? Никак семь лет.

— Девятый, чать, пошел?

— Аль девятый?

— Гляди... Лес на амбар когда возили? В тот же год и землю бросили. Считай...

— Так, так.

— То-то... Уросла, чать?

— Когда не уросла.

— Глядел я как-то, ехал: щетка пробила... Сдавать станете, и я бы взял десятинку-другую от лесу... от пчельника...

— Так что... Уладь дело,— не постоим, Матвей Федорович...

— Я вот что думаю... Церковь нам надо же новить,— рублей сто с миру сойдет... Если вот присогласить старичков сегодня после обедни. Дескать, половину на руки, а остальную, чтоб вам прямо за мир в церковь внесли. До вечера бы и кончили.

Кирилл Архипович даже привскочил.

— Так что? Матвей Федорович! А мы бы тебе постарались... Уж прямо так бы за тобой и земля осталась... от пчельника.

— Этак, что ль, попытать,— задумчиво говорил староста,— вот обедня отойдет, соберем стариков. Так, что ль? Поэтому лошадку заводи во двор... да дай уж овсеца... А мы в церковь... Вернемся, самоварчик изготовим,— чашечку-другую, поколь сходка сбирается. Овса дать, что ли?

— Овес-то у нас свой, да вот вышел...

— Дадим...

Лошадь завели во двор, поставили к овсу, и так как раздался уже благовест, то оба, и хозяин и гость, пошли к обедне.

В прохладной церкви народу собралось немного:

дети, обычные старики, старухи, десяток-другой девушек и парней. Отстояли обедню и домой пошли.

— Скоро он, батюшка, нынче повернулся,— сказал приказчик.

— К вашей барыне, видно, торопится... Именинница что ль, она?

— Ах да, рожденница... А я и забыл...

Пришли домой, заглянул Кирилл Архипович в колоду: съела лошадь весь овес, что всыпал он ей из пудовки, которую вынес ему из амбара староста. Заглянул в пудовку Кирилл Архипович, где оставался еще овес, подумал и высыпал и остатки своей лошади. Напились чаю, а тем временем собрался сход, и пошли приказчик и староста толковать с миром.

— Вот, старики, в чем дело,— начал староста.

Выслушали старики, опросили Кирилла Архиповича насчет базарных цен, и Кирилл Архипович опять, не сморгнув, заявил о двенадцати рублях. Начали толковать.

— Говори, староста! — обратился кто-то к Матвею Федоровичу.

— Так что ж? Случай, по мне, того... подходящий,— ответил староста.— День так же проведем, двести сорок рублей кучка: свинья на рыле не принесет.

— Ну так чего же, известно...

Еще потолковали, вырядили два ведра водки, тут же одно распили и веселой гурьбой повалили собираться, чтобы ехать жать хлеб барыни Ярыщевой. Пошел и приказчик со сходки веселый, но во дворе старосты ждала его невзгода. Лошадь барыни издыхала, лежа на земле. Она дергала ногами, судорожно подымала голову и опять с тяжелым бессильным вздохом падала на землю.

Сбежался народ. Одни говорили «мышки», другие «домовой расшиб», третьи заподозрили «язву»,— пересчитали все, какие знали, болезни, ахали и охали, но делу не помогли. Лошадь в последний раз подняла голову, безнадежно посмотрела на свой вздувшийся живот, еще безнадежнее обвела взглядом всех собравшихся и бессильно упала, как бы говоря: «Ну, бог с вами,— и вправду помирать приходится».

Поохал еще Кирилл Архипович, потужил, рассказал несколько раз, как прекрасно ела лошадь овес, как и остатки он ей высыпал.

— Пришли из церкви, гляжу: ах, съела! Так еще фунтов пять осталось,— думаю себе: пусть ест... А так и хватает, так и хватает,— ровно не в уме она... Я и подумал еще, что она ровно не в уме? На вот тебе... Ах ты, грех!

— Чего ж станешь делать? На роду уж так написано ей,— утешали приказчика.— Шкуру, что ль, тебе с нее снять?

— Снять, что ль? — раздумывал Кирилл Архипович.

— Так что ж? Пока народ там кумекает — принимайся... Шкура тоже ведь... За нее трешну отдашь.

— Трешну-у? — усомнился другой,— и пятишну при нужде отдашь.

— Отдашь.

— Снимать, видно,— надумал приказчик и принялся за дело.

Снял кожу, сложил ее под сиденье, а вместо павшей лошади выпросил у старосты его Воронка. Вместе со старостою и уселся приказчик и поехал прямо в ржаное поле, куда потянулась уже деревня.

II

Высоко поднялось солнце и смотрит из-за Караульной горы на маленькую усадьбу старой барыни Ярыщевой.

У зеркального пруда густой сад. Повыше, на пригреве, маленький с высокой деревянной крышей барский домик. Еще выше всякие хозяйские постройки: конюшня, каретник, амбар, ледник, баня, скотные дворы. Сбоку — флигель приказчика, а с другой стороны — людские, кухни и птичий двор с высокой оградой, подошедшей прямо к пруду. На пруде барские утки и гуси. Маленькая босая девочка пасет во дворе стадо индюшек. Чисто и опрятно кругом. В маленькие окна видны чистенькие комнатки с крашеными полами, с мебелью в чехлах. В комнатах специальный запах десятки лет обитаемого жилья. Тут и

аромат сушеных грибов и разных ягод, что в стеклянных банках, разбавленные водкой, греются на солнце, и еще чего-то, что сразу охватывает вас сознанием, что вы в деревне, в той глухой старинной деревне, где в барском домике в сонной тишине тикают однообразно часы, и слышится порою то звонкая трель канарейки, то одинокие шаги старушки хозяйки.

Стара барыня: шестьдесят шесть лет ей. Она маленькая, костлявая старушка, с круглой от старости спиной, с беззубым широким ртом и живыми голубыми глазами, которыми смотрит так живо, что, кажется, выглядывают они из какой-то маски. Одета старушка в черную люстриновую юбку и такую же кофту. Голова ее подвязана платочком с узлом на подбородке, и всем своим наружным видом она скорее смахивает на простую мещанку, а не на потомственную, в шестой книге записанную дворянку.

За свои шестьдесят шесть лет многое перевидала старуха на своем веку. Расчетлива, экономна и бережлива. В лавке покупает,— торгуется, замучит всех приказчиков и не упустит из вида ничего.

— Батюшка,— остановит она руку приказчика, сбирающегося отрезать конец веревочки, которой он обвязал ей покупку,— а ты подальше отрежь... Веревочка-то мне, старухе, и пригодится.

У старушки помещицы живых детей нет. Только от покойной дочери осталось двое внучат. Внучке двадцать два года, она кончила гимназию и теперь учится в Петербурге где-то на курсах. На лето она приезжает гостить к бабушке. Внуку Пете всего пять лет, и с своей няней, старой и строгой, они не разлучаются весь день.

Встал уже упитанный, как теленочек, розовый Петя. Аккуратно одела его няня, умыла, расчесала, все с наставительными присказками, богу заставила помолиться и повела его в маленькую столовую чай пить. Полощет няня большую Петину чашку, оглядывает его сливочки в маленьком сливочнике, пробует рукой, теплы ли калачики, посмотрит, на месте ли масло, соль и, если чего нет, строго и коротко приказывает принести горничной Маше. А Петя чинно сидит и спокойными довольными глазами поводит то в ту сторону, где священнодействует няня, то смотрит

на Машу, которой приказывает няня что-нибудь принести.

Идет Маша и несет. Видит Петя: все хорошо, все боятся и слушают няню, и он слушает, и жидкий чай со сливками еще вкуснее кажется ему, когда няня, подвязывая салфетку, приговаривает:

— Рот-то, батюшка, не набивай... Поспеешь, поспеешь... Это вон только хам какой: все скорей ему бы.

Наелся Петя.

— Ну, еще будешь?

Мотает головой Петя и слезает с полным еще ртом с своего креслица.

— Не торопись, не торопись, батюшка,— обтирает его няня, отвязывая салфетку, и шутит, хлопая по животику: — Ну, вот серёдочка полная,— краюшки заговорят... ну, айда, сокол, во дворике гулять.

Во дворе благодать: солнышко греет, индюк гуляет и пыжится, холодок на крылечке. Присела няня на крылечке и вяжет чулок, а Петя с ребятишками играет: то в хороводы, то в лошадки, а то и по-другому как-нибудь. Услышала няня, что ссора началась у детей, встала, подошла и смотрит на них поверх своих больших очков. Докладывают ей дети, в чем дело,— разобрала, и хоть и не прав барчук, а оправдала его,— пусть, дескать, привыкают, что барин всегда прав. Но подвернулась бабушка, проходившая в это время в амбар, и дело приняло другой оборот. Бабушка взяла сторону ребятишек, и обидевшийся Петя ушел к няне на крылечко, где и присел рядом с ней. Няня усердно, будто не замечая ни его, ни бабушки, продолжала вязать.

— Ну, и иди... Иди,— задорно говорила бабушка, провожая внука к няньке.

— Ну да,— отвечал ей Петя,— а зачем ты их сторону берешь?

— О батюшка мой, тебя не спросила. Что я на старости лет душой, что ль, кривить для тебя стану?! Вот так хорошо, вот так спасибо,— учи меня, учи... Спасибо, батюшка, спасибо...

— Ну да, а зачем они спорят со мной?

— Ах, боже мой, вот так горе! Спорят?! Не прикажешь ли ты ротики им платочками завязать? Вот уж

тогда спорить никто не станет... и умный же тогда ты будешь, ба-а-тюшка ты мой!

Еще проворнее вязала свой чулок няня.

— Эх, какой умный, эх, какой умный! — твердила бабушка.

— Ну да, они дурлаки...

— О? — передразнила его бабушка и показала внуку на индюка: — И индюк вон тоже,— что ему скажешь,— а он все свое «тюрлю-флю!», «дурлаки!».

Петя уже перестал сердиться, и смешным кажется ему сравнение бабушки; но он хочет удержаться и, пряча лицо в платье няни, все-таки смеется.

Бабушка смотрит внимательно, весело и наклоняется, чтоб поцеловать внука. А тот еще сильнее прячет лицо в складки няниного платья.

А няня все сидит, строго и обиженно вяжет чулок и не сводит глаз с своей работы.

Поймала бабушка внука, поцеловала его и пошла.

Подождала немного няня, повела глазами на ребятишек и проговорила строго:

— Ну, что ж вы не зовете барчука играть? Наш барчук — не барчук, так кого же вам? Такого барчука днем с огнем не найдешь... На весь род у нас самый умный барчук...

Смотрит Петя внимательно, что ребятишки на это скажут? А ребятишки уж покорно идут к крыльцу: подошли, смотрят на Петю, и ласково говорит один:

— Идем, что ль?

— Ну, вот, вишь, зовут... Ну, иди...

— Зовут, да! — вскочил Петя и побежал.

Девять часов пробило в столовой, и повели Петю котлетку есть. После котлетки няня поднесла ему на блюдце варенья. Ягодки вишневые, прозрачные, вкусные, и соку много. Полюбовался Петя сперва, осмотрел их и начал не спеша есть.

— Вот так, потихоньку... Так, так, сокол мой... Поел? Ну, теперь в гостиную иди тихонечко, посиди там, а я немножко вот схожу...

Пошел Петя в старинную гостиную.

Мягкий диван стоит у стены. И диван и кресла обиты красным сафьяном, а на стенах висят картины. На одной нарисована битва, на другой — горка, лес, река; а между окнами раскрашенные гравюры из

библии. Петя смотрит, как наклонилась Сара к колодцу и так и стоит: и сегодня, и завтра, и всегда. Стоит и Петя и смотрит. А там гусар саблю поднял и так и сидит всегда с поднятой саблей на лошади. И Петя будет таким гусаром. В углу рояль стоит. Взмостился Петя и начал трогать пальцами клавиши. Ударит и слушает, другую ударит и опять слушает.

Заглянула сестра его и прошла в столовую. Молодое, худощавое приятное лицо, волосы русые в одну косу, глаза серые, большие, веко левого глаза слегка опущено. Оглянула лениво стол с потухшим самоваром, хлеб, лепешки, масло.

Бабушка вошла.

— Встала?

— С рождением,— и внучка лениво потянулась и поцеловала подошедшую бабушку.

Бабушка двумя руками взяла голову внучки и расцеловала ее.

— Хотела к обедне поспеть... Так за делами и время не сыщешь. Просила уж батюшку приехать... Нет вот что-то и Кириллы Архиповича, нет. Э! это кто ж едет?

И бабушка и внучка заглянули в окно.

— Что такое? — произнесла раздумчиво старушка.— Никак Кирилла. Да что ж он на чужой лошади?

Барыня с ключами в руках заковыляла к выходу, крикнув в дверях:

— Маша, кофе барышне.

— Несу,— ответила из коридора молодая, нарядная, в толстых полусапожках, Маша.

Внучка в ожидании кофе присела и лениво перелистывала какую-то книгу.

Бабушка уже стояла на крыльце и, прикрыв глаза ладонью, нетерпеливо ждала своего приказчика.

— Ах, здравствуйте,— проговорил наконец Кирилл Архипович, останавливаясь посреди двора.— С праздничком вас... Проздравляю вас.

И Кирилл Архипович начал без конца кивать своей обнаженной лысой головой.

— Спасибо тебе, батюшка... А где же наша лошадка-то?

— Ах,— вдруг вспомнил Кирилл Архипович.

И, вынув кожу, на которой сидел, развернув ее, он сказал упавшим голосом:

— Вот...

— Что вот?!

— Сдохла...

Старуха посмотрела и только и могла сказать:

— Это ты мне, что ж, подарочек к празднику?

Кирилл Архипович растерянно развел руками. Упрек барыни окончательно обескуражил его. Он молча, с убитым лицом смотрел на шкуру барской лошади.

— С чего ж она сдохла?

— Да ведь я почем знаю? — с горечью ответил Кирилл Архипович.

— Болела, что ль?

— И даже ни-ни... Еду я еще и думаю: здорова, мол... Сглазил я, что ль, ее?

— Надо тебе думать было...

— Да уж виноват... Я уж и сам-то хватился: не надо бы... Главная вещь — здорова вовсе была... Овса я ей, Матвей Федорович дал, засыпал: съела, еще засыпал: съела и тот... И так просто, вот так и хватает... Не в уме ровно стала.

— Да, а твой-то ум где был?

Кирилл Архипович растерянно посмотрел на барыню и сразу смолк.

— Ах ты, господи! — вздохнула старуха.— Ну, что ж ты стоишь?

— Так ведь чего же теперь делать? Я уж и не знаю... Хочешь будто все вот как лучше... Ах ты, грех!

Кирилл Архипович в свою очередь вздохнул, подумал и спросил, беспомощно показывая на кожу:

— В каретник, что ль, ее повесить?

— Ну, а куда же?

— Кожа, положим, хороша,— выделать — пять рублей стоить будет... Хомуты починить же надо.

— Жнецов-то хоть ты нанял?

— Ах да,— встрепенулся Кирилл Архипович и весело произнес: — Нет.

— Ну вот тебе... Ну спасибо тебе, батюшка. Дай бог тебе здоровья. Послал господь приказчика! Дура я старая.

— Да вы, Наталья Ивановна, не расстраивайтесь,— с душевною болью в голосе заговорил Кирилл Архипович.

— Да что, батюшка, не расстраивайтесь... Ну какой же ты, скажи на милость, приказчик у меня...

— Наталья Ивановна! Так ведь пятнадцать рублей жнитво,— в отчаянии воскликнул Кирилл Архипович.

— Ох ты, господи,— всплеснула руками барыня.— А пуд хлеба на базаре двадцать копеек. Вот это так... Вот это посоветовал, батюшка, в добрый час сеять.

И долго еще выслушивали друг друга барыня и приказчик, пока наконец разговор не подвинулся к выяснению положения вещей данного момента.

В конце концов все оказалось не так плохо, как могло бы быть.

— Как же, жнут, — радостно успокаивая, говорил Кирилл Архипович.

— Уже и жнут?

— Вся деревня...

— Да ты что ж раньше-то не обрадовал? Слава тебе господи,— крестилась старушка.

— На три рубля дешевле! — напомнил Кирилл Архипович.— Я уж погрешил маленько...

— Ну, батюшка, молодец!

— А остальную половину хоть до октября... ренду получим — отдадим.

— Конечно... ну спасибо, батюшка, спасибо...

— Главное враз, день — вон какой.

И это, конечно, много значило.

— А я его ругаю,— говорила барыня,— сам, батюшка, и виноват. Ну, иди ко мне чай пить... Иди прямо сюда... А я ругаю...

— И я то уж обробел,— вижу,— огорчаетесь вы, и сам не знаю, как мне вас успокоить.

Напился Кирилл Архипович холодного чаю, рассказал еще раз уже по порядку о похождениях сегодняшнего утра. Барыня расспросила о всех, кто был на базаре, и Кирилл Архипович встал и, приседая и вытирая усы и бороду, откланялся:

— Ах, ну благодарю вас... Ехать надо в поле.

— Ну, поезжай с богом.

Приехал батюшка служить молебен. Отслужили. После молебна подъехал становой и фельдшер. Молодой становой, полный, добродушный, то конфузился, то старался смотреть по-военному и выпячивал грудь. Скромный, тихий фельдшер сидел осторожно на конце стула. Батюшка расхаживал большими шагами и задумчиво заглядывал в окна.

Разговор не клеился. Коснулись было эпидемических болезней и той грязи, которая царит в селах. Молодой становой покраснел, приняв намек на свой счет.

— Да с мужиками разве что-нибудь поделаешь,— ответил он в свое оправдание.— Сколько раз я им говорил — ничего не понимают.

Внучка, скучавшая в этом обществе, уныло посмотрела на станового, скользнула взглядом по лицам других и уставилась в окно.

— Которые и понимают,— заступился батюшка и, посмотрев на девушку, оправил свои густые красивые волосы.

Тихий фельдшер, все время внимательно слушавший, кивнул головой и хриплым нерешительным голосом, придерживая нежно свою черную бороду, произнес:

— Понимают.

— А понимают, так что ж у вас в селе грязи больше, чем где-либо? — бросил фельдшеру пренебрежительно становой.

— Так ведь... Не мне же ее возить, Петр Степанович.

— Не про вас и говорится... говорится про мужика... Хоть бы вашим мужикам — не говорил я разве?

Старушка хлопотала в столовой и, когда все было готово, позвала гостей обедать.

После обеда убрали стол и самовар подали. Пьют чай гости. Жаркое солнце льет свои раскаленные лучи в окно, волны табачного дыма ходят по комнатам.

Сидит старушка, празднует свой шестьдесят шестой год пребывания на земле. Щемит на душе: словно жаль чего-то, что-то вспоминается,— такое же неуловимое, как этот веселый день урожайного лета. Прошло все, как и этот день пройдет.

— Как совершение урожая пошлет господь...— говорит задумчиво батюшка.— Соломой хороши хлеба, а зерно не хвалят... Старые земли...

Старушка вздохнула, отогнала свои мысли и, качая головой, проговорила:

— Хоть и новые... хоть двести пудов уродит, да цен нет,— хуже голодного года и будет.

— Да, выручки не будет.

— Сколько опять помещиков съехалось по своим усадьбам,— качнувшись на своем стуле, вставил становой,— губернатора ждут.

— Что, батюшка, твой губернатор здесь поделает?

— Ничего, конечно, не поможет: не свои же вам деньги даст.

— Когда по завещанию мужа отпускала я своих мужиков на волю,— и-и! На меня тогдашний-то как! Что вы делаете? Вы мне всю губернию взбунтуете. А через восемь лет всем волю дали.

— Ну, так ведь это когда было... Конечно, губернатор тот вам пустое толковал,— фыркнул становой.

— Ох, батюшка, чем, чем, а задним-то умом крепки мы... Назад оглянешься, все там, как на ладонке, видишь...

— А вперед-то тоже,— усмехнулся становой,— пожалуй, загадывай... Другой раз за это так влетит нашему брату, что и думать забудешь.

Становой энергично встал, тряхнул головой и заходил по комнате, звеня шпорами.

— Ну я, батюшка, свою подать плачу, а там, есть ли, нет твой губернатор — меня не пугай им.

— Вам... оно, конечно, что,— про себя говорю.

Внучка вошла и присела на стул с таким видом, как бы спрашивала: «Долго вы еще тут будете сидеть?»

Становой оглянулся и начал прощаться. Он звякал шпорами и, протягивая руку, сгибал ее у локтя кренделем. За ним, посмотрев из-под рясы на часы, осторожно поднялся, оправляя волосы, батюшка. Совсем тихо и смущенно привстал с кончика стула и фельдшер. Он поклонился издали барышне, дружелюбно поклонился и пожал руку старушке, пожал руку появившейся в дверях няне и, кашлянув, вышел за другими в сени.

Уехал становой, уехал батюшка в своей плетушке, приподняв на прощанье свою мягкую, круглую с большими полями шляпу, а фельдшер пошел во флигель.

Приехал Кирилл Архипович с поля обедать. Поставил лошадь под навес и пошел было к своему флигелю. Но, увидев вдруг громадный котел, стоявший десятки лет возле колодца, он остановился, подумал и решил привести в исполнение свою давно задуманную мысль,— поставить котел под навес.

— Все трудитесь? — подошел к нему фельдшер, наблюдавший некоторое время, как Кирилл Архипович, напрягаясь, катил по двору котел.

— Да вот охота... Который год уж на ветру да на дожде стоит: ржавеет.

— Известно... Да вы куда его?

Кирилл Архипович обвел мутными глазами двор и ткнул пальцем в самый дальний угол навеса.

— Ну, давайте вдвоем...

И приказчик с фельдшером принялись за котел.

— Кирилл Архипович, ты что это? — крикнула из окна старая барыня.

— Да вот, обедать приехал было.

— Обедал?

— Да нет, не угодил еще... Вот уж котел перва...

— Нашел время!.. Брось... Обедать иди... Там же жнут у тебя...

— Сейчас-то обедают, положим... Бросить, что ль, уж разве?

— Ужо, ужо,— крикнула барыня.

Кирилл Архипович бросил на полдороге котел и пошел с фельдшером к себе.

— Ах, вот, кстати,— вспомнил он.— У меня ведь опять, Алексей Иванович... Как вот жара: подступит,— хоть ты что...

Кирилл Архипович показал под ложечку.

— Да у вас это всегда — как жара... Посмотреть надо...

— Пожалуйста. Ах, вот чего: как же? Овсеца-то надо лошадке дать. Вы вот что: вы идите, а я сейчас...

И Кирилл Архипович пошел к амбару.

Так и не дождался его фельдшер. На полдороге Кирилл Архипович опять о чем-то вспомнил, повер-

нул за новым делом, потом забрался на задний двор и, увлекшись, стал пересматривать валявшееся там разное ржавое старье: это вот совсем еще хороший лемех, а это винт совсем новый... И Кирилл Архипович задумался, на что бы употребить его.

Когда он попался опять на глаза барыне, она спросила:

— А ты еще не уехал?

— Сейчас еду,— ответил Кирилл Архипович.— Кусочек дай какой-нибудь,— заглянул он в свое помещение и, увидев фельдшера, вскрикнул: — Ах, Алексей Иванович... Я ведь и позабыл про вас... Как же теперь? До другого раза, что ли?

— Так что ж? Как-нибудь после...

— Дел, сами видите, вон сколько...

— Дел-то много.

Получив ломоть хлеба, Кирилл Архипович побежал к навесу, где стояла его лошадь, взнуздал ее и поехал, судорожно подергивая вожжами и в то же время торопливо пережевывая откушенный ломоть хлеба.

Барыня провожала глазами своего склонившегося набок приказчика и думала с огорченьем, что порядочный он у нее размазня. И в то же время красной ниткой чрез всю деятельность приказчика проходило одно его неотъемлемое качество — честность.

— Честный,— прошептала старушка, как неотразимый довод самой себе,— преданный и честный. Да и вижу я его насквозь, а с умным свяжись — и не распутаешься: вон как у Лопатиных, и имение из рук ушло.

Кирилл Архипович, приехав с обеда на жнитво, узнал и приятную и неприятную в то же время для себя новость: на базаре — татар угнали жать по пяти, вместо пятнадцати рублей. Дмитриевские жнецы, сбившись в кучи, вели об этом оживленный разговор. Виновником упавших цен называли гаюшинского приказчика Ивана Финогеновича. Оказалось, что Кирилл Архипович погорячился и вдвое дороже нанял жнецов. Сперва, по деликатности, Кирилл Архипович,

узнав о пятирублевой цене, постарался скрыть неприятное впечатление и только заметил:

— Ну уж! чье счастье какое...— Но, походив немного от одних к другим, он сказал: — Того... Сказывать уж хоть не надо барыне... Только расстроится.

— Зачем сказывать? — энергично отозвался сытый, плотный парень Михайло.— Известно, кому какое счастье.

И, словно боясь, как бы это счастье вдруг не повернулось спиной к односельчанам, Михайло закричал:

— Ну, чего ж стоять? Жать так жать. Можно и потрудиться: не зря же, в самом деле, этакие деньги отваливать.

У жнецов дружно сверкали серпы, и, описывая по воздуху круги, бабы и мужики складывали горсти уже срезанной ржи, а Кирилл Архипович как сел на сноп у табора, так и сидел, все думая, как ему быть теперь.

Солнце книзу уже пошло, когда показалась вдруг плетушка самой барыни. Наталья Ивановна ехала с внучкой и весело всматривалась в ряды стоявших скирд там, где вчера еще волновалась густая рожь.

Кирилл Архипович совсем раскис и сам перед собой только разводил руками.

— Что? — подсел к нему староста.— А ведь неловко, Кирилл Архипович, барыня-то едет... про цену узнает базарную...

— То-то узнает... Скажет, что вот я с тобой для миру старались... она ведь сумнительная: а я тут что?

— Узнает... На народе, где спрячешь... Я калякал кой с кем... Вот чего... Десятинки три дадите у пчельника, а миру водки ведра два: и бог с вами и с деньгами,— на помочь повернем дело...

Кирилл Архипович ожил.

— А пойдут? — спросил он, не смея верить.

— А ты... вон они: Трусов, Аношин, Беляков уже снуют по народу: дай срок... Теперь маненько водкой раздразнить их: пойдет дело...

Сейчас же распорядились и стали обносить водкой жнецов.

Когда подъехала барыня, дело было уже сделано.

Староста, отойдя к агитаторам и поговорив с ними, ласково-деловито повернулся и кивнул приказчику:

— Пошли...

Отлегло у Кирилла Архиповича от сердца.

Пошли — одно слово, да тяжелое,— двести с лишком рублей в кармане останется: ну, это так, подарочек к рождению.

Кирилл Архипович бросился навстречу к барыне и, судорожно схватившись за борт плетушки, начал было:

— Ах, вот чего...— Но лицо его выражало такое мучительное напряжение, что старая барыня тоскливо-испуганно вскрикнула:

— Да говори же, говори, батюшка,— что еще?

— Ах, да нет же, ничего... Слава богу, все благополучно.

И Кирилл Архипович начал делать гримасы и в то же время кивать головой в сторону кучера: очевидно, ему хотелось, почему-то по секрету от кучера, сообщить барыне новость. Но старуха не понимала: она напряженно всматривалась в приказчика, смотрела в спину кучера и, потеряв терпение, опять закричала на своего приказчика:

— Батюшка ты мой, пожалей старуху: не мучь.

— Ах,— вздохнул еще раз приказчик,— видно, уж так...

И Кирилл Архипович рассказал наконец о том, что крестьяне хотят повернуть все дело на помочь вместо денег. Подошли староста и передовые.

— Что вот, батюшка, говорит мне приказчик? — наклонилась добродушно и таинственно старушка к старосте.

Староста не сразу ответил. Он положил сперва руку на облучок, посмотрел куда-то в сторону и, наконец, уставившись в барыню, ласково-добродушно сказал:

— Так надумались мы, Наталья Ивановна, послужить тебе... дело суседское...

— Ох, батюшка мой, я уж и не знаю, как благодарить-то...

— Ничего, барыня,— задумчиво ответил Аношин, которому пришлось долго толковать с задорным парнем Михайлой,— выжнут безо всякого...

— О?
— Верно... За водкой посылайте...
— Господи, так ведь, конечно,— засуетилась старуха.— Вот, вот...
Наталья Ивановна торопливо достала бумажник из кармана и, отсчитав деньги, дала их приказчику.
— Три ведра,— приказала она.
— Довольно двух,— кивнул головой староста.
— Три, батюшка, три,— настояла барыня.
— Ну, спасибо... Народ охотнее будет хвататься... Идти к ним...
И староста, а с ним и его свита пошли по рядам. Староста говорил громко, так, чтоб слышала и барыня и жнецы.
— Эй, ребята, жни получше,— три ведра барыня жертвует вам...
Редкие из жнецов при этом подымались и оглядывались в сторону барыни, большинство же молча, сосредоточенно жали.
Перед иными останавливался староста и тихо говорил:
— Так ведь чего же станешь делать? Неужели вот так за горло? Вон цена на базаре, слыхали? Опять много ли придет на человека, если по базарной цене, а тут хоть уважка... а вот по жнивам скотину допустит опять... А главное, пристал приказчик: меня, мол, подвели...
— Уж ему, конечно, перед барыней неловко...
— А нам-то с ним же жить...
— Оно, конечно, так... Эх... чего станешь делать?
— Так ведь об этом самом и речь...
Бабушка и внучка сошли с плетушки на землю, прошли несколько шагов и присели у первого скирда хлеба.
Бабушка, щурясь, все смотрела на ряды жнецов и все еще не могла освоиться с мыслью, что двести рублей свалились ей с неба. Она была и довольна, и смущена, и почему-то старалась не смотреть на внучку. Лицо внучки было покорно-огорченное.
— Вот, бабушка, ты говорила, что будут лишние деньги — школу построишь... Вот эти деньги отдай...

— Да где ж деньги, матушка, когда их нет у меня!

— Пришлось бы доставать...

— Ну, так доставать еще...

— Ну, вот, когда достанешь, и дай...

Глаза старухи смущенно забегали, и она ответила, не смотря на внучку:

— Ну, не все сразу... Достать! И даром жнут, а толку нет.

— Зачем же сеять тогда?

— Зачем, зачем,— повторяла старуха.

— Так всегда,— пренебрежительно сказала внучка и отвернулась.

Бабушка молчала.

Молчание тянулось долго и было неприятно старухе. Наконец она сказала:

— Для вас хлопочу,— все вам останется... Хоть все раздайте...

— Что ж, отдайте? Я, может, и не доживу еще до того времени...

— Доживешь, матушка... и в ум войдешь.

— Барыня,— подошел к ней крестьянин, жавший до сих пор,— я к тебе все насчет лесу докучать пришел.

Старуха растерянно опять покосилась на внучку, на крестьянина и спросила:

— А что тебе, батюшка?

— Да все вот насчет лесу...

Барыня хорошо знала всю эту историю с лесом: был продан лес, назначен был срок для вывозки его, лес в срок не был весь вывезен, и, согласно печатному ярлыку, крестьянин лишался права на оставшийся лес.

— В чем дело? — спросила еще раз старуха, словно ничего она не знала.

Крестьянин должен был рассказать ей подробно все.

— Батюшка мой,— проговорила, выслушав, старая барыня,— а кто же тебе виноват?

— Так ведь чего же станешь делать? Не успел.

— Так ведь, батюшка мой, молодой-то лесок взялся,— ты его топтать станешь теперь...

— Где взялся?.. Когда ему взяться было?

— Нет, взялся, батюшка, как сеяный пошел: сама видела.

— Пропадать, видно, моему лесу,— махнул рукой крестьянин.

— Лес, батюшка, теперь не твой.

— И деньги отдал, да и лес выходит не мой,— фыркнул крестьянин.

— А зачем же ты его не вывез? мне что же, полесовщика из-за тебя лишнего держать? Ты ведь знаешь, что мой теперь в поле...

— Зачем лишнего? свой лес вывезу, неужели же твой захвачу?

— Ты не захватишь, а ведь всякий есть: другой и захватит. Вас тысячу человек: тебе поблажку, и всем надо... Я, старуха одинокая, как с вами тогда соображусь, если одного порядка не заведу.

— Порядок?! Деньги отдал, а лес опять не мой: уж бог с ним и с порядком таким.

Крестьянин говорил грубо.

— Ну что ж, батюшка, ругай меня, старуху,— напряженно-тоскливо проговорила барыня.

— Кто ругает? Бог с тобой и с твоим лесом, когда так... И водки твоей пить не хочу,— уйду и бог с тобой.

— Вот видишь ты какой: сердце-то у тебя злое... Нехорошо, батюшка, нехорошо...

— Ну, ладно: какой есть, такой и есть. Марья! будет жать! — закричал своей жене крестьянин.

— Ишь какой! Назло делает,— мотнула раздраженно головой старуха.— Ты что ж, меня хочешь на всю деревню срамить?

— Бабушка,— вмешалась внучка,— ведь это же действительно его лес.

— Ну, вот,— сказал крестьянин,— твоя кровь, а мое ж баит.

— Да ты что грубишь? — накинулась на него барыня, вдруг вспыхнув.

— Чем я грублю? Э, бог с тобой!

Крестьянин не на шутку собрался уезжать.

Старуха не знала, что делать: и леса жаль было, и перед внучкой неловко, и перед деревней выходила

неприятная история: разнесется далеко кругом в преувеличенном виде.

Едва-едва помирил барыню с крестьянином подоспевший староста и приказчик. Старуха отдала лес.

— Ну и ладно, ну иди,— погнал жать староста получившего свой лес крестьянина.

Но старушка еще долго не могла успокоиться.

— Видно сразу нехорошего человека: пришел бы тихо, смирно, а то вот при народе... Нехорошо... Нехорошо... Старуха я, грех так... Портится народ.

— Нынче всякого народу довольно,— философски успокаивал ее староста.

— Ну, что ж? Бог с ним... А все-таки скажу: нехорошо...

— Известно: где хорошо?

Но когда привезли водку, и жнецы стали подходить и, выпив, жали старой барыне и ее внучке руку, а бабы целовались с ними,— когда очередь дошла до крестьянина, бранившегося со старухой, то Наталья Ивановна весело проговорила:

— Ну, давай мириться...— И, сама налив стакан, подавая, сказала: — Ну, уж пей... будет: кто старое помянет, тому глаз вон.

— Мириться, значит, охота,— поддакнул кто-то из толпы.

— Мировая у вас выходит,— сказал другой.

— Так ведь я что? — говорил крестьянин, принимая водку и кланяясь.— Прости и ты, коли в чем обидел... Мы мужики, чего понимаем?

И, выпив, крестьянин довольно крякнул.

— Ну, вот и помирились,— крикнул весело кто-то из толпы.

— Я ведь, батюшка,— объясняла старуха,— не люблю ссориться. Пусть же мое пропадает лучше...

Мировая барыни с мужиком да водка развеселили толпу.

— Простая ты у нас,—весело произнес, подвыпивши, какой-то корявый мужик,— страсть простая!

— Против нашей барыни и нет,— покровительственно бросил, уходя, другой.

— Ну, вы там: жать! — крикнул кто-то.— Кончать что ль!

— Айда!

Молодой парень Никанор, тонкий, с черными глазами, с петушиным пером в шапке, пожав барышне руку, делился впечатлениями с окружавшими парнями.

— Сахарная...— Он сделал сладкую мину.

— Ишь, дьявол, куда лезет... Тебе бы вот ее?

— Взял бы! Эх!

И Никанор ловко и весело пустился вприсядку.

— Жать, жать! — валила толпа.— Бабы, песни!

Склонив набок голову, во главе пестрой ленты сарафанов уже заходила в рожь и запевала Авдотья своим звонким до визга голосом хоровую песню.

Поют песни жнецы, солнце садится. Задумалась старая барыня, и внучка задумалась. Сидят обе у той же скирды и смотрят: бабушка в землю и грызет своим беззубым ртом соломинку, а внучка — на заходящее солнце, на толпы жнецов, на ту избушку, что стоит там далеко над обрывом реки. Туда бы, в эту хижину, в эту мирную идиллию, с книгой в руках забыться от житейской прозы. Забыться и жить, довольствуясь самой скромной долей мыслящего человека.

Она раскрыла свою книгу и прочла написанное курсивом:

«Высшее счастье в труде».

В каком труде? Там, в той хижине или в борьбе за общую правду? А где правда и где в жизни сознательное место борца? И без этого определенного места все помыслы о добре и правде разве не тот же рычаг Архимеда, без точки опоры, о котором говорил он: «Дайте мне точку опоры, и я подыму вам землю». *Дайте*... Но кто даст?

Кто-то едет по дороге: крестьянин подъехал, соскочил с лошади, снял шапку и подошел к господам. Записку подал из Красных Зорек: зовет барышню кататься на речку.

Прочла барышня. И хочется ехать ей и не хочется, а бабушка уговаривает. Еще подумала и согласилась ехать.

— Я с Кириллой домой доеду, поезжай,— говорила, провожая ее, бабушка.

— Надо еще домой заехать переодеться. Стоит ли ехать?

— Поезжай, поезжай,— твердила бабушка.— Там и ночевать оставайся.

Огорчился Никанор, когда по окончании работы пришел с другими к старой барыне допивать водку и не нашел возле нее внучки с серыми глазами.

— А она-то куда девалась? — спросил он сам себя, разведя руками.

— Что? улетела? — спросил его кто-то.

— Эх, улетела! Напьюсь с горя.

Все смеялись, и Никанор смеялся, и кто не мог допить, подавал ему и говорил:

— Ну что ж, допивай?

— А что? Выпью!

И Никанор пил. Его добрые, красивые глаза в это мгновение широко-широко раскрывались. И больнее в сердце щемил недосягаемый для него образ барышни. Потом туманнее стало в голове, отшибло память, и забыл Никанор, о чем болело сердце, но все пил и пил, потому что всё подносили.

— А вы, будет... Что в самом деле? Опоите человека.

Парни смеялись.

— Ну вот еще? Опоишь его, быка этакого.

Уже стемнело, когда потянулись пьяные жнецы домой.

Там далеко потухал запад, темнело, и при самой земле только разливался красноватый отблеск, а пьяные песни долго еще неслись и замирали в пустевшем поле.

Никанора, без чувств, уложили в телегу, и ехал он, заваленный одеждой пьяных помочан, забытый всеми. Привезли в деревню только труп его: платьем ли завалили, опился ли — так и не знали.

Наталья Ивановна ничего не знала о том, что на ее помочи опился человек, и довольная поехала с своим приказчиком домой в его тряской плетушке.

— Ох, батюшка, растряс совсем,— говорила она,

вылезая из экипажа, когда приехали домой.— Маша, чай готов?

— Ну, а я пойду обедать,— заявил приказчик.

— Как обедать?

И, узнав, что Кирилл Архипович так и не обедал, барыня совсем умилилась:

— Ну уж, батюшка, прости Христа ради: досталось тебе сегодня.

В голосе ли барыни что было, чувствительный ли уж такой от природы был Кирилл Архипович, но он быстро, горячо произнес:

— Что вы, что вы, матушка Наталья Ивановна, я для вас не то что не обедать, я для вас... тоись так хочу послужить... так... одним словом, как отцы наши вам служили.

Старушка расстроилась, и слезы сверкнули на ее усталых глазах.

— Спасибо, батюшка мой, спасибо тебе... Вижу я твою службу и усердие... Дай бог и тебе, батюшка, всего.

Напилась Наталья Ивановна чаю,— внучек давно уже напился,— убрала чайницу, сахар и хлеб, заглянула к внуку и, увидев его на кроватке, а няню возле, сказала: «Ну спи, спи, батюшка, господь с тобой»,— притворила дверь и пошла в свою комнату, всю уставленную образами.

Горят лампадки и переливаются в них лучи, играют в ярких золотых ризах образов и дальше заглядывают в тот темный угол, где на широкой двухспальной кровати лежит старая барыня, теперь раздетая и готовая ко сну, лежит и смотрит своими усталыми глазами в потолок. Старушечьи мысли о смерти бродят в голове и мешаются с разными мелочами текущей жизни: хозяйством, посевом, внучатами...

Скоро, скоро так же будет она лежать уже без мыслей и слов: будет загадочно и строго смотреть ее темное лицо, а душа улетит к тому, пред кем все равны, пред кем одни души человеческие!.. И век вечный всё-то, все вместе там, пред его престолом...

«А здесь,— думает старушка,— вот как миг один и жизнь-то, а врозь — иная всякому доля... Век вечный вместе,— сладко засыпают ее мысли,— а жизнь-

то врозь». И вздыхает и спит уже старушка. Устало повернулось ее лицо к лампадкам, и бегают тени по этому бледному, неподвижному, в чепчике, расширенному книзу лицу.

Уложила няня спать Петю. Тихо в комнатке. Пузатый комод с медными ручками в одном углу, кресло и рабочий стол в другом, две кровати.

На стене, рядом с образами в серых искристых рамках две картинки. На одной на коленях стоит молодая монахиня, и пред ней господь раскрыл свое сердце. Горит сердце в огне, и страстно тянет к нему сложенные руки монахиня. А на другой картинке в гробу уж монахиня, и ангел на крыльях уносит в звездное небо ее спеленатую душу.

Лежит Петя, обняв свою куклу, безобразного Ваньку, и ждет, когда сон закроет ему глазки. Маша заглянула. Закрыл было и опять открыл Петя глазки.

Тихо мурлычет няня:

У-у-летел орел домой,
Село солнце за горой.

— Няня, расскажи про монашку.

Няня нехотя прерывает песню.

— Ну, видишь, монашка... Вот господь перед ней. Видишь, от грехов сердце горит его: кажет монашке, а ей жаль. А вот тут уж умерла монашка... Ничего уж ей не надо... Душу вот, видишь, ангел несет.

— Куда?

— В небо... К господу богу своему.

Смотрит Петя внимательно, и смущает его контраст размеров большой монахини в гробу и ее маленькой спеленатой души в руках ангела.

— Она на небе уже маленькая будет?

— Видишь вот.

— А ходить она умеет?

— Зачем ей ходить? Ангелы на руках носить ее станут.

— И меня будут так носить?

— Заслужишь, и тебя.

— И Ваньку?

— Ванька кукла. Ванька пропадет.

— Пропадет? А бабушка пропадет?

— Бабушка умрет.

— А собака умрет или пропадет?
— Пропадет.
— А кроватка?
— Пропадет.
— А сапожки?
— Пропадут.
— А сабля?
— Тоже пропадет.

Петя растерянно водит глазами: все то, что любил он — все пропадет. И Петя робко говорит:

— Няня, я тоже пусть пропаду...

— О, глупый какой! Спи...

Вздохнул Петя и покорно смотрит на своего друга Ваньку, на его разбитую голову. Глазки совсем слипаются, и думает он: «Старый стал мой Ванька: скоро уж он пропадет».

И опять тихо и монотонно поет няня:

У-у-летел орел домой,
Село солнце за горой.

Стемнело совсем. Разлился мрак и напоил воздух ароматом полей и старого сада. Во мраке мелькают огоньки усадьбы и кажутся они в волнах темной ночи огнями какого-то безмятежно плывущего корабля.

Молодой кучер Листрат, заброшенный судьбой далеко от своей деревни, сидит у ворот конюшни и тихо поет городскую песню о том, что покинул он свой отчий дом, и только собачка верная воет у ворот да ворон на крыше кричит.

Раздается голос по лесам:
Заноет сердце, загрустит,
Только меня не будет там.

И щемящей тоской хватает песня за сердце. Мягкий баритон певца замирает в темной деревенской ночи, замирает боль по какой-то иной, неизвестной жизни. Молодая Марья стоит у дверей крыльца, едва видно ее светлое платье, и слушает раздумчиво сладкую песню Листрата. Луна взошла.

Уснул Петя, а тут же на другой кровати возле него улеглась и няня. Потушила свечку, и в узорное

окно смотрит к ней светлая лунная ночь. Сколько лет прошло — все та же она, эта голубая ночь. Всегда и смолоду она строга была и в мыслях не держала: но молода, красива была. О-ох, и вспомнить страшно! Не ждала, не чаяла... Спит не спит, открыла глаза и замерла: стоит над ее кроватью барин. Ох, чего он хочет?! В одной рубахе она... А муж? а барыня молодая услышит? а грех? И замерла... Хотела крикнуть. Обнять хотела, коснуться не посмела. Ушел барин, и осталась она одна с своим грехом. Куда уйдешь от него. И жутко, и крестится на образа. Стыдно! давно забыть бы надо, старуха: в могиле вечным сном спит барин...

О-ох, как-то ему там? Что-то ей будет?! Какими глазами придется на барыню свою смотреть?! А хуже всего, что и до сих пор на духу так и не покаялась. В монастырь бы... довести до пути Петю и туда, в келейку, дни и ночи на коленях замаливать свой тяжкий грех пред людьми и богом, пред мужем и барыней.

Тухнут огни в усадьбе.

Кучер прошел к лошадям в конюшню, наслушалась и Маша песен и спит в коридоре, подбросив под себя какую-то свитку.

Только у приказчика еще горит в окне огонек. Лысая голова его громадным пятном обрисовалась на стене, и выводит он буква за буквой письмо к сыну, ученику фельдшерской школы.

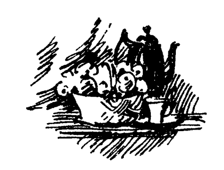
«Любезный наш сын, Степан Кириллович! Во первых строках нашего письма объявляем вам, что вы подлец. Сказывали мне добрые люди, что вы цигарки курите и водку пьете, и даже в пьяном состоянии видели вас на улице. Я самоучкой грамоту произошел, и того со мной не было, а на ваше ученье я последние деньги убиваю. А мои деньги трудовые, и про черный день ничего не прикоплено, и, не дай бог, помрет наша барыня, должен я поэтому из-за вас нужду принять великую. А, впрочем, посылаю вам мое родительское благословение, навеки нерушимое. И еще посылаю вам десять рублей деньгами, чтобы вы их не мотали, а меня, старика, пожалели бы. И еще вам кланяется...»

Шла целая страница поклонов от всех.

Уже потухли все редкие звезды на бледном небе. Только одна упорная словно увязалась за луной и смотрит, смотрит на нее и следует неотлучно за ней.

Но бледнеет и луна, и тает и ее яркая спутница в пустыне светлеющего неба.

Кончил наконец и Кирилл Архипович свое письмо и смотрит тупо, уныло поверх своих громадных очков в окно в пустой, охваченный сном рассвета, неподвижный двор усадьбы старой барыни Ярыщевой...





НЕМАЛЬЦЕВ

I

Глухая полночь. Спит в сугробах снега барская усадьба. Точно бунты какого-нибудь сложенного товара под этими сугробами лежат, и караулит их ночной сторож, старый, лет восьмидесяти, высокий отставной солдат, Немальцев. Проснется в своей каморке в барском доме старая Анна, слушает и смотрит на дочку свою, красавицу, спящую Лизу: играет лампадка на молодом лице; сны, как думы, пробегают по нему — спокойные, тихие...

«Спи, царица небесная с тобой, насыпай силушку,— думает Анна,— спи, пока молода, пока старость не нагрянула: скучная, пустая, с длинными да бессонными ночами...»

И опять бьет Немальцев в чугунную доску, и замирают тоскливо удары в усадьбе, в поле, в темном просвете, откуда выглядывает заречный лес. Черные тучи спустились к земле, еще более кажется снег, и далеко видно от него в насторожившейся тишине.

У чугунной доски скамья,— присел на нее Немальцев и мурлычет что-то. Маленький кудластый песик плетется к нему, виляя хвостом. Положил мордочку на колени старику и смотрит ему в глаза: точно вспоминает что-то или жалеет, что уходят годы хозяина и его, кудластого песика, годы... так и пройдут они все — тени земли — и бесследно исчезнут где-то там, в темной ночи.

— Пса... пса...— тихо, ласково шепчет старик и внимательно смотрит в глаза песика, словно вот-вот заговорит с ним песик.

II

Вся жизнь назади, вся как на ладони, и всю помнит ее старик.

Помнит, как рос он вон в той деревушке, что приютилась там, у горы, и спит теперь в ворохах соломы, занесенная снегом.

Те же лачужки, то же житье, а может, и хуже... Так же, как и теперешние, и он, парнишкой, околачивался, бывало, в тятькином картузе: пачкался в лужах, сушился на привольном солнышке, шарил по задам дворов и бегал в заречный лес по ягоды да по грибы. Отец за вихры драл, мать подзатыльниками угощала,— ревел тогда он, а потом с горя уплетал краюху черного хлеба.

Мать умерла. Мачеха уже не матерью была, и плакал, бывало, Лукашка, забившись где-нибудь на задах, мать родную вспоминая.

Подрос — работа пошла: летом отцу помогал в пашне да бороньбе, хлеб жал, а зимой из заречного леса дрова возил в город. Теперь какой это лес? Пеньки одни. Помнит он тогдашний лес. Стояли зеленые ели до неба, опушенные снегом, а между ними березки нежные дрогнули от лютого холода. И казался не лес то, а какое-то царство заколдованное или город, слышался временами точно звон колокольный оттуда, из волшебной пустоты зеленого бора.

Вырос Лукьян. Откуда взялся рост высокий, ширина в плечах, смотрит голубыми глазами и точно сам стыдится, что такой молодой и статный он.

Кто крепостным родился, а он из вольной семьи.

Пришло время по ревизским сказкам солдатчину отбывать Лукьяну, повез отец парня в город. Представил зачетную квитанцию за сына, и освободили его было от солдатчины.

Этого только и ждали в семье: тут же, как вернулись домой, еще до заговенья, и свадьбу сыграли. Крестьянскую свадьбу недолго сыграть: съездил Лукьян в соседнюю деревню, поглядел раз на вольную солдатскую дочку, молодую Ирину, а во второй раз увидел ее уже в церкви, когда под венцом обоих поставили.

Только приехали из-под венца домой, только сели было за гарный стол, как входит в избу старшина:

— Скорее одевайся: ошибка вышла... Тебя в солдаты...

Так из-за гарного стола и ушел Лукьян на двадцатипятилетнюю службу, ушел от молодой жены, от родных полей, от заречного леса.

Сперва в Саратов угнали. Выломали там из него николаевского солдата и отправили в Бутырский полк на Кавказ, вместе с другом его, Степаном Петровичем.

На Кавказе Степан Петрович в фельдфебеля выскочил, а Лукьян Васильевич дослужился до нашивок.

Усядутся они, бывало, со Степаном Петровичем, оба тихие, степенные, по службе исправные, где-нибудь на бережку синего моря и разговаривают друг с другом.

Степан Петрович бобыль, и рассказывает ему Лукьян Васильевич о своей стороне, о братьях, отце, о молодой жене Ирине.

— Вот, Лукьян Васильевич, доживем свой срок,— жить к тебе приду,— скажет Степан Петрович.

— Что ж, милости просим, Степан Петрович, рады будем... во как примем.

III

Крымская война началась.

Бутырский полк отправился в Севастополь. По камням верст по восьмидесяти уходили в день.

В Севастополь пришли поздно вечером и прямо на южную сторону. Тогда только начинали укреплять город.

Ведет их провожатый казак: идут за ним солдаты и смотрят, все мешки да мешки.

— Это, видно, овес для конницы, что ли, припасен,— толкуют между собой солдаты.

Кончились мешки, а казак провожатый скачет, догоняет батальонного и кричит ему:

— Ваше высокородие, за крепость ушли.

Смотрят солдатики: какая же такая крепость, где она?

— Да вот эти самые мешки и крепость,— говорит казак.

Смешно всем: ну и крепость!

Тут и на ночевку устроились: так без хлеба и легли.

Утром проснулись: нет хлеба. Солнце уж высоко поднялось,— нет хлеба. Скучно без хлеба.

Заглянул, наконец, каптенармус в палатку,— важный, форменный.

— Хлеб получать!

Повеселели сразу солдатики.

Повел Немальцев своих с мешками за каптенармусом.

Вдруг с моря,— жи-и,— черное что-то в крышу влетело.

— Это что? галки, что ль? — спрашивает Немальцев.

А каптенармус идет впереди,— жирный живот вперед, в одной руке карандаш, в другой бумага, и говорит:

— Будет тебе галка, как хватит... бомба это.

«Вот она какая бомба»,— думает Немальцев.

Еще одна пролетела, другая, третья.

Вдруг как щелкнет где-то близко-близко...

Смотрит Немальцев: лежит уже каптенармус на земле,— так и лежит такой же важный, как и шел, лицом к земле: в одной руке карандаш, в другой — бумажка... прямо в голову щелкнуло, и лопнула голова, как спелый арбуз, и залепила мозгами солдатиков, что шли за ним с мешками для хлеба.

— Вот тебе и жизнь! — говорит один.

— Вот тебе и хлеб! — говорит другой.

Прибежали с носилками, подобрали и унесли убитого.

И пошло день за днем то же: днем в траншеях, ночью на окопах.

И растут вместо мешков один за другим грозные валы севастопольских бастионов.

А неприятель все палит да палит: двадцать девять дней без перерыву... Город весь в развалины обратился. В улицу попадет бомба: так и выроет яму.

Видел Немальцев, как флот потопили.

Только и остался пароход «Владимир», грузы в гавани с одного берега на другой перевозил.

Привязались солдаты к фельдфебелю: по службе не то, что строг, а прямо не допустит до оплошности,— все вовремя в каждом и усмотрит и убережет. А вне службы не было лучшего советника: вникнет, растолкует, а беда придет — и выручит. С виду молодой, красивый, бравый. В обращении прост, только устанет когда, или если озабочен, тогда становится неразговорчив, отвечает коротко, нехотя, а сам смотрит и точно не видит того, с кем говорит, или думает о чем-нибудь далеком-далеком.

Приходит как-то фельдфебель и говорит:

— Поход: на три дня одежу, провизию бери...

— Степан Петрович, куда же это? — спросил Немальцев.

— Лукьян Васильевич, куда же это? — ответил ему Степан Петрович,— откуда я знаю?

Четвертого августа, перед сражением на Черной речке, говорит фельдфебель Немальцеву:

— Сон мне нынче приснился, Лукьян Васильевич. Будто стоим мы в Саратове, и успенская просвирня — помнишь? — меня блинами угощает... И так из-под них и фырчит масло... горячие, вкусные, так и фырчит, а я ем... И что значит этот сон; и не знаю.

— К письму это, Степан Петрович,— говорит Немальцев.

Заглянул Степан Петрович ему в глаза и говорит раздумчиво:

— В том-то и дело, что письма я никакого не получал.

Плохо пришлось в тот день бутырцам. Неприятельские ружья не чета были нашим, из кремневых переделанным ружьям: на сто саженей улетали из нашего пули, а у неприятелей были такие ружья, что и не видно еще их, а уж наши от их выстрелов валятся.

Повели Бутырский полк в атаку. Валится народ.

Полковник кричит:

— Братцы, добежим скорее, да в рукопашную!

Добежали... Взяли первую линию... на вторую пошли... Но такой огонь открыл неприятель, точно весь ад навстречу полетел.

Батальонный повернулся было, поднял руку,— сказать, вероятно, что-то хотел,— и свалился, как подкошенный... Ротный свалился... Полковника уже пронесли на носилках. Кричит товарищу, полковнику другого полка:

— Прими полк мой...

Два обер-офицера из всего состава офицеров полка осталось.

А оттуда еще сильнее огонь: духу не переведешь, как градом сыплют пули и картечь: солдаты кучами валятся, и нет ходу вперед.

Слышат — играет горнист отступление, и бросились все, кто как знал, назад.

Из всего полка тысяча триста только человек возвратилось. Не возвратился фельдфебель.

Выстроили полк, смотрит рота: нет фельдфебеля Степана Петровича.

Не рад и жизни Немальцев: что с ним? Убит, ранен, в плен попал?

Ночь пришла. Стали вызывать охотников — раненых собирать. Вызвался и Немальцев, думает: «Не даст ли господь разыскать фельдфебеля?»

Ползут... ночь темная...

— Братцы, вы?

Бросились: фельдфебель.

Лежит, бок распоротый... В памяти еще...

Рассказал, как французы к нему подходили: «Что, русс, ранен?» — «Ранен».— «Нехорошо». Виноградной водки ему оставили, сухарей.

Слушают охотники фельдфебеля, а время идет...

Говорит Степану Петровичу офицер:

— Что же теперь делать? Не жилец ведь ты, голубчик... Взять тебя — другого, который жил бы еще, не унесем.

Слушают солдаты, потупились. Слушает Степан Петрович, вздохнул, на минуту закрыл глаза и говорит:

— Идите с богом... верно, не жилец я больше, ваше благородие... идите, других спасайте, а мне уж недолго...

Попрощались с ним солдаты и поползли от него.

Прощается Лукьян Васильевич...

— Сон-то вот что значит, Лукьян Васильевич...

— Ах, голубчик, Степан Петрович, как же оставить тебя? Не могу я...

— Иди, иди...— строго говорит фельдфебель,— что ты?

И глядит Степан Петрович вслед товарищам: не слыхать уж их... Только темная ночь, последняя страшная ночь его на земле, смотрит на него отовсюду...

Кончилась севастопольская кампания. Еще семь лет послужил Немальцев и по красному билету через пятнадцать лет домой собрался.

Перед самым уже уходом едет как-то раз с ротным Немальцев, и говорит ему ротный:

— Немальцев, женись на моей горничной... Ты молодец, она, видишь сам — какая.

Повернулся к нему с козел Немальцев и говорит:

— Я ведь, ваше высокоблагородие, женат.

— Что ты врешь?

— Так точно.

— Да ведь в списках ты холост?

— Не могу знать, а только что я женат: Ириной и прозывается жена моя.

И рассказал ему все Немальцев.

Говорит ему ротный:

— Да ты, что ж? только час и видел свою жену?

— Так точно.

— Так ведь старуха она теперь...

— Какую господь дал.

IV

Привел, наконец, господь «удостоверить» свою Ирину. Честно прожила, честно встретила после пятнадцатилетней разлуки своего мужа Ирина.

Только год с небольшим и отдохнул от трудов и походов Немальцев. А там опять угнали его на польскую войну. Родила ему двух сыновей Ирина.

Тяжело было подыматься в новый поход.

Тяжело ли, легко — знает бог да Немальцев — николаевский солдат.

Пошел и еще пять лет тянул лямку: спасибо, севастопольская кампания помогла — месяц за год пошел,— пять лет меньше.

По второму призыву только по вольной воле на театр военных действий шли.

На войну не пожелал идти Немальцев, и назначили его в резервный батальон в Пскове обучать новобранцев.

Стал и Немальцев старшим. Дело он свое хорошо знал, был исправен по службе, новобранцев не обижал, объяснял толково и так думал, что, бог даст, шутя его служба пройдет.

Однако не вышло так.

Стал каптенармус недодавать новобранцам муки. Сказали Немальцеву о том новобранцы. Он к каптенармусу. Тот туда-сюда:

— Курков, дескать, поломали они на пятнадцать рублей, ну и приказано из довольства удерживать.

— Первое,— говорит Немальцев,— триста человек по фунту в день, так тут что ж такое — пятнадцать рублей за курки? Два дня и квит. Второе — и курки-то старые, ведь резервисты поломали.

Молчит каптенармус, а Немальцев и говорит ему:

— Как хотите, а грех все-таки на вашей душе с ротным будет.

Каптенармус ротному рассказал, и стал тот на Немальцева коситься.

А тут и со старыми резервистами вышла история. Пристали они к артельщикам, почему пища плоха? Артельщики туда-сюда: надо оправдаться,— и сказали, что ротному отпускается масло, крупа, мясо. Вышел бунт. «Как так? Ротному не полагается довольствоваться из котла,— ему пищевые особо отпускают,— не давать». Дежурный как раз Немальцев. Приходит денщик от ротного: несет бутылку для масла, мешочки для крупы, мяса. Немальцев объясняет ему: так и так, рота не желает больше отпускать.

Так ни с чем и ушел денщик. Ротный только спросил его: «Кто дежурный?» Вечером приходит Немальцев с рапортом: столько-то здоровых, столько-то больных, столько на довольствии было.

Только вошел и начал было, а ротный: «Пошел вон!»

Повернул направо кругом Немальцев и марш за дверь. Еще больше стал коситься ротный на него. Еще больше старается по службе Немальцев. По службе привязаться нельзя, другим донял.

Потребовали в Варшаву семьсот новобранцев, а с ними четырех старых унтер-офицеров.

— Немальцев! К майору.

Пошел Немальцев. Встречает своего ротного: так и так, требовали? Покраснел ротный, отвернулся: «Иди, говорит, к новому майору». Приходит Немальцев к майору, который принимать отряд назначен.

— Ну, что ж, Немальцев,— говорит ему майор,— ротный тебя назначил в Варшаву.

— Воля ваша,— говорит Немальцев.

— Да как же тут быть? Ведь ты призывной,— тебя против воли нельзя посылать?

— Не могу знать.

— Сердит, что ли, на тебя ротный?

— Не могу знать.

— Если сердит, доймет ведь он тебя, если не пойдешь.

— Так точно.

— Пойдешь уж разве?

— Что ж,— говорит Немальцев,— за царем служба, а за богом правда не пропадет: пойду.

— Так вот что, Немальцев, ты уж распишись, что по доброй воле идешь.

Расписался.

Так нежданно-негаданно попал опять на войну Немальцев.

Принял новый майор солдат, выстроил их во фронт и спрашивает ротного:

— Хочу я к родным заехать,— кому команду доверить?

Ротный исподлобья смотрит и говорит:

— Сдайте Немальцеву.

— Можно на него положиться?

— Можно вполне.

Повел в Варшаву команду Немальцев. На ночевку разбросается отряд: где за семь верст, где за пять, всех в одно место не уложишь ведь. А тут унтер докладывает ему: так и так, солдатики вещи продают казенные.

Как раз и майор приехал уже тогда от родных. Докладывает ему Немальцев:

— Не иначе,— говорит,— что надо у них все лишнее отобрать, да в тюки и на подводы, а в Варшаве раздать.

— У меня,— говорит,— денег не припасено для этого.

Так и осталось это дело.

Пришли в Варшаву. Майор сел на извозчика и в город. Крикнул только:

— Я артиллерийских сдавать еду.

Тут подъезжает адъютант.

— Где ваш майор?

— Уехал артиллерийских,— говорит Немальцев,— сдавать.

— Сегодня под вечер,— говорит адъютант,— приходи за приказанием ко мне.

— Ваше высокоблагородие, а вы где изволите проживать?

— Найдешь! Язык до кабака доводит.

Сел на извозчика и укатил.

Туда-сюда бросился Немальцев. Посоветовали ему в штаб бежать. Кое-как разыскал штаб. Попросил там писарька одного:

— Какой, дескать, адъютант назначен нас принимать?

Говорит писарь:

— Стоит он во дворце Замойского.

— А где это?

— Ну, уж это на улицах ищи.

Вышел Немальцев на улицу: темнеет, а он без тесака, как раз ночной обход схватит.

Спросил куда, и айда бежать. Разыскал адъютанта, говорит тот ему:

— Завтра в девять часов утра генерал будет смотреть отряд. Уведомь своего майора.

Поворотился Немальцев направо кругом, вышел на улицу и думает: «Где я своего майора искать теперь буду?»

Побежал по гостиницам. А ночью, военный обход, что ни шаг: «Стой». Объяснит Немальцев им, и дальше.

Разыскал. Уже утро. Опять беда: нет дома.

Сел и ждет Немальцев.

Солнце уж взошло, когда приехал майор.

— Что тебе?

— В девять часов смотр назначен.

— Хорошо — ступай...

Отправился к отряду Немальцев. Только поспел построить людей, уже девять часов: катит генерал с тем самым адъютантом. А майора нет. Подъехал, поздоровался.

Выступил Немальцев, отрапортовал.

— Где твой майор?

— Артиллерийских сдает.

А адъютант говорит:

— Со вчерашнего дня все сдает.

Помолчал генерал и пошел по фронту. Плохо: у кого только торба пустая вместо вещей... Другие и шинели и мундиры выменяли. Один перевязал сапог мочалой, чтоб подошва не отвалилась,— только на паперть его.

— Это что ж такое?

— Так и так,— докладывает Немальцев.

— А ты чего смотрел?

Ушла душа Немальцева в пятки: молчит. Адъютант говорит:

— Обоих их с майором под суд надо отдать.

Екнуло сердце у Немальцева: прощай нашивки, прощай отставка.

А там Ирина с двумя детьми колотится.

Смотрит генерал на Немальцева внимательно, строго.

— Ну,— говорит,— а если б ты вел отряд, ты что бы сделал, чтобы воспретить им продажу казенных вещей?

Что бы он сделал? Он отобрал бы вещи да в тюки их, а в Варшаве получай. Так и доложил Немальцев.

— А они бы тебя,— говорит,— не послушались.

— Никак нельзя,— говорит Немальцев,— потому что с этапных пунктов я бы потребовал сейчас помощь, и потому должны повиноваться.

Посмотрел на него генерал и ничего не сказал. Потом подходит к солдатику, у которого сапог мочалкой перевязан, и говорит ему:

— Ну а ты, голубчик, на что надеялся, продавая казенные вещи?

— На смерть надеюсь, ваше превосходительство,— говорит солдат,— так что порешил я за царя и отечество голову свою сложить и потому в одеянии больше не нуждаюсь.

Усмехнулся генерал и говорит:

— Сколько тут таких в отряде?

Говорит Немальцев:

— Семьдесят три.

— Ну, так вот что... Этих, так как они порешили головы свои сложить, в передовой отряд в Ломжу, а ты тоже с ними. Не умел досмотреть за вещами, может, досмотришь, чтобы слово свое исполнили. А вины вашей я все-таки не снимаю: там уж как полковник, который вас будет принимать в том отряде,— хочет — есть запасные вещи — выведет в расход, а нет — его дело.

Пришел, наконец, и на войну Немальцев.

Только уж это не Севастопольская была. За все время так и не видел Немальцев неприятельских войск.

Кочевали из деревни в деревню, делали облавы в лесах, в деревнях, в клетях.

Раз спит Немальцев в избе с восемью солдатами, девятый, часовой, за дверями. Подкрались повстанцы и прирезали часового.

Окна выбили и палят в избу, где солдаты. Поджались солдаты ближе к окну, держат ружья наготове: и им встать нельзя, и те в них попасть не могут. Смотрят: лезет в окно коса, другая: норовят косами поймать кого-нибудь.

А тем временем подоспели другие солдаты, из других изб, всех повстанцев переловили.

Кончилась война. Доживает службу Немальцев. Чем ближе к концу, тем сильнее тоска по дому.

Вышел приказ восемнадцатилетних сроков отпускать домой.

А Немальцев двадцатипятилетний доживает. Обидно стало ему.

Пошел он к ротному, просит отпустить его.

— Поговорю я с полковником, только вряд ли.

— А сколько ему осталось? — спрашивает полковник.

— Шесть месяцев.

— О чем там толковать!

Пришел, наконец, и Немальцева службе конец. Вызвали всех их, отслуживших, в полковую канцелярию.

Вон они лежат у писаря те белые бумажечки, на которых отставка их прописана. Вызывает писарь по очереди и раздает их.

А Немальцева отставку припрятал для шутки.

Кончили. Стоит Немальцев ни жив ни мертв.

— Тебе что? — спрашивает писарь.

— Как что? Отставку.

— Нет твоей отставки...

Все выдержал громадный до потолка Немальцев, а как увидел, что нет его отставки, зашатался.

— Есть, есть... Я пошутил...

Пули не свалили, а шуткой чуть не убили человека.

Смеются писаря.

Отошел Немальцев, взял отставку,— бог с вами,— и пошел на далекую родину.

Думал опять было удостоверить свою Ирину, да не то судил ему бог: умерла Ирина... ждала, все ждала мужа, двух месяцев только и не дожила до прихода.

Год прошел: сгорел ветхий домик Немальцева.

Выросли дети. Одного в солдаты угнали, другой в холеру умер. Ничего не осталось у старика. Только вот служба дозорная осталась да кудластый песик, что человеческими глазами глядит да слушает, точно понимает...

Скоро рассвет. Устало бредет старик. Снова бьет он в чугунную доску, и дрожат протяжные звуки и уносятся в темную даль.





РАДОСТИ ЖИЗНИ

— Брось писать, идем на палубу: ночь чудная... Такая ночь, точно лето: мягкая, теплая... Небо в тучах, и в них луна... Ну, идем же!

— Иду...

Он надел шляпу и вдвоем с ней поднялся на палубу. Там уж никого не было. Чистая палуба блестела под лучами луны, блестела вода, из мрака выходили берега, приближались и опять исчезали в волшебной дали лунной ночи.

— Сядем вот здесь... Как хорошо, правда? Смотри, вон на берегу какое-то жилье, уютно, огонек горит, кругом лес или сад... Хотелось бы тебе вдруг перенестись туда, узнать, кто там живет, пожить их жизнью?

— Одним словом, тебе еще хочется сказок: какой-нибудь вечер из Шехерезады?

Она вздохнула всей грудью и ответила:

— А разве жизнь не сказка?

Они замолчали. Он потихоньку запел, а она слушала и задумчиво смотрела на луну, на воду, на даль реки.

— Ты поешь ту песню, которую пел ровно шестнадцать лет тому назад...

— Я не понимаю?

— Шестнадцать лет тому назад... Это был канун нашей свадьбы.

— Как? Сегодня какое число?

— Двадцать первое августа, а завтра двадцать второе — день нашей свадьбы.

— Теперь помню... Такой же вечер был... Мы с тобой сидели у мамы на террасе, в нише, откуда такой прекрасный вид на море... Там в гостиной горели

огни, и свет их мягко тонул во мраке, а мы сидели, смотрели на эти огни, море, и я пел, а когда кончил, то из гостиной раздались вдруг аплодисменты...

Он помолчал и сказал:

— Как все это недавно, кажется, было.

— Так недавно, что я, слушая тебя, и теперь не чувствую никакой разницы, никакой перемены.

— Секрет вечной молодости нашли?

— Да, я так же хочу жить, так же счастлива... Нет, нет, страшная проза, которая, как ржавчина, съедает все, так и не коснулась нашей жизни. Был один только период, когда чуть-чуть все не погибло.

— Ты говоришь о нашем разоренье?

— Помнишь, перед этим разореньем, как весь ты сосредоточился на приобретении богатства? Как тебя это мучило.

— Да, да. Наше разоренье, когда я думал, что конец всему... а на самом деле это и было начало настоящей жизни.

— Тебя после этого больше не интересовало богатство. Мы нашли другую цель в жизни, узнали других людей, горизонты высшей жизни, более справедливой, горизонты, куда всегда обращены взоры лучших людей всех времен, открылись и для нас....

— Открылись, да... Нас больше не душит кошмар жизни. Пусть несчастные слепые в обидном усердии путаются, коверкаются, отказываются от высших благ этой жизни, пусть их несчастья всегда будут для них только неожиданными роковыми случайностями. Придет время, и для них или для их потомков выяснится перспектива жизни, перспектива, которая одна обеспечивает правильное отношение к жизни, где всё на своем месте, и личные радости, и горе, и даже смерть. Перспектива, где вечная молодость, вечный свет, где год, шестнадцать лет и вся жизнь — только одно мгновенье счастливого союза людей, имеющих одну цель там, за пределами узких рамок своей личной жизни, цель, которую, как самое дорогое наследство, мы передадим своим детям... важно здесь, конечно, не то, чтобы они так именно думали, как мы,— иначе это будет уже не новое поколение. Как говорит Гете: «Vernunft wird Unsinn, Wohlthat —

Plage»[1], но важно вложить в них, в наших детей, это стремление всегда смотреть вперед...

— Через два года наша дочка уже кончает гимназию. Это лето она много читала по составленной для нее программе. Как жаль, что твои дела не позволяют тебе как раз летом жить с нами. Летом дети быстрее развиваются. Перед моим отъездом к тебе вечером съехались соседи, и доктор приехал. В деревне был один серьезный больной, я воспользовалась случаем для консультации и пошла с доктором к больному, оттуда мы пошли к другим. Ты знаешь, что наша дочка сделала? Оказывается, во-первых, везде, где есть грудные дети, ввела стеклянные рожки; каждый день ходит и проверяет, держатся ли запасные в чистой воде; купила им стаканы для этого. В школе устроила ни больше ни меньше, как ясли: всех грудных детей, на весь день во время работ, матери оставляют там под наблюдением одной дежурной. И я обо всем этом узнала тогда, когда с доктором пошла... Когда мы возвратились, за чаем доктор говорит: «Господа, одной из присутствующих здесь я должен принести, как земский врач, мою большую благодарность».

— Что ж наша дочка?

— Знаешь ее? Немного рассеянная, немного задумчивая — она и не расслышала сперва, а когда уже ее назвали, она вспыхнула и говорит самым пренебрежительным голосом: «Глупости какие!» И в то же время она совсем не педантка: мягкая, веселая, любящая, когда никого нет, развернется, хохочет, как самый счастливый ребенок, а при чужих сейчас все на замочек и сидит...

— В маму? Что ж, на будущий год, если у нас еще не будет женских медицинских курсов,— едет в Париж?

— Едет.

— Не боится?

— Это ее уже желанье... У нее уже есть сознанье, что женщина без высшего образования не может быть разумной руководительницей своей семьи, и к тому же они у нас совершенно самостоятельны... аме-

[1] Разум становится бессмыслицей, благодеяние — му́кой (*нем.*).

риканцы... Володе десять лет, а он уж экспедиции верхом совершает за пятьдесят верст... Вот огонь!.. Ты знаешь, что он сделал? Нанялся с мальчишками к Михаилу Александровичу подсолнухи молотить и стачку устроил. Теперь уже все молотят с пуда и вдвое зарабатывают... Все его интересует,— то обнявшись едет с крестьянином на его телеге и очень серьезно о чем-то с ним толкует, то с мальчишками куда-нибудь на целый день уйдет... Заблудились раз в медвежьем лесу: целый день проходили. Приходит раз ко мне: «Мама, вы всё Маркс да Маркс, это умное слово?» — «Очень, говорю, умное».— «Когда я, наконец, буду все умные слова понимать?» А недавно приходит, становится передо мной в позицию и важно говорит: «Тезис я признаю, синтезис — признаю, а антитезис не признаю и терпе-е-ть не могу».— «Откуда это ты?» — спрашиваю. «Это дядя Вася говорит, а Михаил Александрович хо-хо-о-чет... Мама, отчего Михаил Александрович хохочет?»

— Ты не боишься за преждевременное напряжение способностей?

— В чем же напряжение? Только страховка против тупого самодовольства: я все знаю, все понял, все постиг... Только сознание, что каждый день надо плыть дальше и дальше, и с каждым днем эта даль развертывает все новые и новые горизонты, выясняет новые точки приложения.

Разговор оборвался. Пароход мерно шумел. В ночной панораме лунной ночи всё новые и новые берега выдвигались навстречу и уходили тихо, беззвучно назад.

Он посмотрел на часы.

— Двенадцать часов, однако... День нашей свадьбы начался... Шестнадцать лет назад... Хороших шестнадцать лет. Правда?





ИСПОВЕДЬ ОТЦА

Посвящается О. А. Баратынской

Я, слава богу, в своей практике никогда не прибегал к розге. Но, признаюсь, став отцом довольно-таки капризного своего первого сына, Коки, я пришел в тупик, что мне предпринять с ним.

Представьте себе сперва грудного, затем двух- и трехлетнего тяжелого мальчика с большой головой, брюнета, с черными глазками, которыми он в упор исподлобья внимательно смотрит на вас. Это напряженный, раздраженный, даже, может быть, злой или упрямо-капризный взгляд. Это вызов, взгляд, как бы говорящий: «А вот ничего же ты со мной не поделаешь!»

И действительно, поделать с ребенком ничего нельзя было: если он начинал капризничать, то вы могли терпеть, могли раздражаться, упрекать няньку, свою жену за то, что они распустили ребенка так, что хоть беги из дому; могли действительно убегать и, проносясь мимо окон детской, уже с улицы видеть все тот же упрямый, но с каким-то напряженным интересом провожающий вас взгляд,— лицо все с тем же открытым ртом, из которого в это мгновение несется все тот же надрывающий душу вой. И хотя вы теперь его, этого воя, уже не слышите, но вся фигура ребенка говорит об этом всем вашим издерганным нервам.

Конечно, прогулка вас успокоит. К вам подведут вашего утихшего, наконец, сына с тем, чтобы вы оказали ему какую-нибудь ласку. И, гладя,— может быть сперва и насилуя себя,— его по головке, вы думаете, смотря в это желто-зеленое напряженное лицо и черные глаза: «Может быть, и действительно нервы».

А если мальчик в духе, и глаза его искрятся тихо, удовлетворенно, и если тогда он вдруг подойдет к вам и, доверчиво приложив головку к вашему рукаву, спросит, довольный и ласковый: «А так можешь?» — и покажет вам какой-нибудь несложный жест своей маленькой ручкой,— вам и совсем жаль его станет, и вы почувствуете, что и он вас и вы его очень и очень любите.

Но опять и опять эти вопли!.. Все та же однообразная, бесконечная нота!..

— Милый Кока, скажи, у тебя болит что-нибудь?

— Ты чего-нибудь хочешь?

— Вот ты плачешь, а папе жалко тебя, и так жалко, что папа заболеет, умрет, если ты не перестанешь...

— Ты, значит, совсем не любишь папу?

Вой сразу поднимается на несколько нот выше.

— Ну, так перестань...

В ответ успокоенная прежняя ровная нота.

Няня держит ребенка, растерянно гладит складки его рубашки, смотрит вниз; жена сама не своя зайдет то с одной стороны, то с другой.

— Дайте мне ребенка!

— Да, барин...

— Глупая женщина! Я отец этого ребенка, люблю его больше, чем вы, и знаю, что делаю.

Слова эти для жены. И, раз так поставлен вопрос, речь уже не о капризе Коки, а кабинетный, своего рода вопрос о доверии.

Я с ребенком один в столовой. Весь ее, жены, протест в том, что она не идет за мной: как бы слагает ответственность на одного меня. О, я не боюсь ответственности!

— Перестань!

Мой голос спокойный, ласковый даже, но решительный. Я не унижусь, конечно, до нескольких энергичных шлепков: я только прижал к груди малютку, может быть, немного сильнее обыкновенного и быстро, очень быстро, и очень решительно шагаю с ним по комнате. О, радость: средство действует! Ребенок ошеломлен и стихает. Я, конечно, настороже и голосом спокойным, как будто все так и должно быть, говорю:

— Хочешь, я дам тебе эту куклу?

И я передаю ему с этажерки фарфоровую игрушку. Он берет игрушку и спрашивает как ни в чем не бывало:

— А зачем она не идет?

Я таким же тоном отвечаю:

— Потому, что она глупенькая.

Наш разговор продолжается, и я продолжаю его и тогда, когда входят повеселевшие смущенные воспитательницы. Мой авторитет установлен настолько, что раз, проходя, я слышу нянин голос:

— А я папу позову!

— Няня, я вовсе не желаю быть пугалом своих детей: я запрещаю вам стращать ребенка моим именем...

Но раз стал на почву авторитета...

Я уже бегал с сыном по комнате и прижимал изо всех сил его; но это больше, увы, не помогало: он еще громче кричал.

Однажды, потеряв терпение, я вдруг внес его в переднюю, поставил там на ноги и, сказав: «кричи», быстро запер за собой дверь, оставив его одного.

Опять победа,— он боялся одиночества.

Затем и это средство перестало действовать. Следующее средство был угол.

Идя дальше и дальше по пути отцовского авторитета, однажды... ну, одним словом, я дал волю рукам... дал ему несколько шлепков.

И он опять покорился сразу, вдруг, но уже не разговаривал со мной, а, озабоченный, торопился уйти от меня. Я слышал, как он, войдя в детскую, сказал возбужденно, почти весело няне:

— Няня, пойдем...

— Куда, милый?

— Уйдем и возьмем братика.

У нас только что родился тогда второй сын — Гаря.

— Куда?

— Я возьму братика, и мы уйдем от папы.

Он говорил возбужденно, с удовольствием, по своему обыкновению смакуя, точно в это время рот его набит был чем-то сладким и вкусным.

Я никогда не забуду этой подслушанной сцены. Этот порыв уйти от меня, этот бессильный протест малютки, сознание в нем неравенства борьбы со мной, великаном... Мне стало совестно, жаль его первой надорванной веры в свои силы. Мне захотелось вдруг быть не отцом его, а другом, который мог бы только любить, не неся ответственности за его воспитание. Но эта ответственность...

Дальнейшим, впрочем, моим воспитательным опытам положила конец сама судьба.

Приехал к нам сверстник Коки, мой племянник, Володя, и заболел корью.

Заболевание было легкое, и доктор посоветовал ввиду неизбежности для всякого такой болезни, как корь, заразить и сына.

В одно веселое утро, когда мальчик сидел в столовой на полу, мы с женой пришли, чтобы вести его в комнату больного.

— Кокочка, хочешь видеть Володю?

Володя лежал теперь в противоположной стороне дома, один в большой комнате.

Кока полюбил своего худенького вертлявого двоюродного брата Володю и с его приездом переменился до неузнаваемости: почти перестал капризничать, смотрел влюбленными глазами на Володю и даже рычал от удовольствия.

Нелюдимка, угрюмый, он теперь по целым часам говорил что-то Володе, тяжело ворочая языком, смотря на Володю своими сверкающими радостью глазками.

А когда капризы его все-таки настигали, Володя трогательно нежно ухаживал за ним и все стоял около него, терпеливый, с болью и лаской смотрел ему в глазки. И Кока смотрел на него пытливо, любяще, продолжая выть и выть, и все растирал слезы, мешавшие ему смотреть на своего Володю.

И вдруг этот Володя заболел. Кока только и спрашивал о Володе.

Когда жена спросила его, хочет ли он идти к Володе, лицо его расцвело,— он что-то держал в руках и бросил, легко встал и сразу протянул обе ручки мне и жене.

Мы так и повели его, и, боже мой, какое бесконечное счастье было на его лице! И все трое мы шли такие веселые, счастливые и если бы нам сказали тогда, что мы ведем этого малютку с большим любящим сердцем на смерть.

Это было так. У Володи корь прошла легко, а у Коки осложнилась,— развилась бугорчатка легких, бугорчатка перешла на желудок, на мозг, и в три месяца наш Кока сгорел.

За несколько минут до смерти он пожелал, чтобы его поднесли к окну.

Мы жили тогда для него на даче, у моря. Тихий, спокойный догорал день, золотилось море. Последний ветерок едва шевелил деревья, и они, словно вздыхая от избытка счастья, еще сильнее подчеркивали красоту земли и моря. Над окном пела какая-то птичка, точно прощаясь, выкрикивая нежно-нежно какую-то чудную ласку.

Коке было почти три года, но он так вырос за время болезни, точно ему было вдвое. Он так сознательно, так грустно смотрел своими черными глазками, положив головку на мое плечо. Он тихо, как птичка, если можно это назвать пением, запел:

Папа хороший,
Мама хорошая,
Я хороший
И птичка хо...

Он не кончил своей песенки: он так и уснул у меня на плече своим вечным сном, тихий, задумчивый, среди огней догорающего дня, вспыхнувшего моря, аромата вечернего сада... Птичка смолкла и, вспорхнув, утонула в небе...

Мы стояли неподвижные, осиротелые, я с дорогой ношей на плечах, с ужасным сознанием непоправимости.

Кому нужно теперь мое убеждение, что ему же на пользу я действовал? И где эта польза?!

Этот крошка приходил сюда, на землю, чтобы спеть свою маленькую, очень коротенькую песенку любви. Ты мог этому певцу дать все счастье,— оно от тебя зависело. Ты дал ему?

Ты отнял у него это счастье. За отнятое счастье мстят... Чем он отомстил тебе? Он пел, он умер с пес-

ней любви к тебе — он, маленький страдалец, который спит теперь вечным сном на твоем плече!

А помнишь, как он судорожно, весь напряженный, торопливо собирался тогда с няней и братиком уйти от тебя, как говорил он возбужденно: «Уйдем и возьмем братика у папы...» Он никуда не ушел, он здесь, у тебя на плече...

О, какими пророческими словами были его слова относительно брата его, Гари! Когда Гаря плакал так же, бывало, как тот, которого уже не было больше с нами, я не Гарю слышал,— я слышал того, по ком болело так сердце. Слышать его опять в своем доме, слышать и казниться, слышать и искупать свою вину — не было большего для меня удовлетворения.

Гаря мог плакать,— и он плакал, видел бог как, и видел бог, как не раздражались больше мои нервы. О, я научился владеть ими. Они не смели раздражаться больше. И когда я подходил к нему, у меня не было больше мысли об авторитете: я только страдал и любил, как любил Коку его двоюродный брат, терпеливый Володя. Он, Гаря, мог смотреть на меня с бешенством, с раздражением. Но он не смотрел так: он смотрел так, как Кока когда-то смотрел на Володю, растирая слезы, чтобы видеть меня, и выл и выл мне тоскливую песню своего больного тела, своих больных нервов.

Нет, ни с кем маленькому Гаре не плакалось так легко, как со мной, сидя в кресле, у меня на коленях и смотря мне в глаза.

Теперь моему мальчугану уже пять лет.

Он уже выплакал все свои слезы и стал таким веселым, как и все дети.

Здоровье его с каждым днем улучшается; голова у него большая, да он и сам бутуз, сбитый и твердый.

И его звонкий, басом, смех разносится по комнатам, и хотя слышится в нем еще какая-то больная нотка, но Гаря знает, что никто не коснется грубой, неумелой рукой его больных нервов.

У него бонна — немка. В течение года он переменил трех и не сделал никаких успехов в языке. Третью, совсем молоденькую, любящую, тихую, он полюбил и в два месяца заговорил с ней по-немецки. Теперь он думает на этом языке.

Я это вывожу из того, что он с собаками, например, говорит по-немецки.

И надо видеть, какие они друзья со своей бонной!

У них свои разговоры, свои секреты и самая чуткая, нежная любовь друг к другу: они товарищи.

Но больше всех он все-таки любит меня.

Когда мои занятия требуют отлучек из дому, то тяжелее всех разлука со мной для него. Зато и радость его, когда я приезжаю...

В последний раз я приехал домой утром.

Жена еще спала, и я прошел к нему в детскую.

Он был там со своей бонной. Что-то случилось: на полу лежал разбитый стакан, стояли над ним он и бонна. Бонна добродушно, по-товарищески, голосом равного отчитывала его.

Гаря стоял со смущенной полуулыбкой и недоверчиво слушал бонну.

Дверь отворилась, и вошел я.

Он посмотрел на меня,— не удивился, точно ждал, и с той же улыбкой, с какой он слушал бонну, пошел ко мне.

Я схватил его, начал целовать, сел на стул, посадил его на колени и все целовал.

Он казался совершенно равнодушным к моим поцелуям.

Он рассеянно гладил мои щеки и говорил, и язык его, как и у Коки, тяжело поворачивался во рту, точно там было много чего-то очень вкусного. Он говорил мне о том, что только всплывало ему в голову.

Но вдруг, нежно сжимая ручонками мои щеки, встрепенувшись весь сразу, он спросил:

— Ты приехал?

Каким-то кружным там путем — сознанье, что я приехал, стало у него теперь в соответствие с радостью его сердца, и он повторял, все нежнее сжимая ручонками мои щеки:

— Ты приехал?!

Он забыл все: он помнил теперь только, что я приехал; он видел меня и сознавал, понимал, чувствовал, что я приехал.

— Ты приехал?! — повторял он голосом музыки, голосом детского счастья.

А глазки его сверкали огнем, каким не сверкают никакие драгоценные камни земли, потому что это был чудный огонь счастливой детской души,— он проникал в мое сердце, будил его, заставлял биться счастьем, радостью искупления, заставлял забывать нежный упрек печальных черных глазок того, который спел уже свою песенку любви, который сдержал свое слово, когда говорил:

— Я возьму моего братика у папы...

Он действительно отнял у меня несвободного, чувствующего отцовское иго сына. Но он дал мне другого: вольного, как сердце, свободного, как мысль, дарящего меня счастьем самой высшей на свете любви, свободной любви.





СТАРЫЙ ХОЛОСТЯК

Посвящается З. А. П.

Итак, я остался старым холостяком. Как это случилось, когда я, сколько себя помню, мечтал о счастье, о любви, о семейной жизни?..

...Вот я маленький мальчик. Весенний день подходит к концу. Загнанный в комнаты, я с жадностью прильнул к стеклу окна и не могу оторваться от милого, родного мне вида: сад, грядки, в которых несколько минут еще тому назад я с таким наслаждением копался, дорожки, усыпанные свежим песком, деревья, только начинавшие распускать свои почки. А там, за садом, другие сады соседних дач. Далеко, далеко, за целым лесом деревьев, высоко поднимается какая-то башня. Заходящее солнце горит в ее окнах. Что это за башня? Кто в ней живет? Няня говорит, что это волшебный замок, и в нем живет заколдованная принцесса. Давно зашло солнце, потухли окна волшебного замка, едва догорает розовая полоска на далеком западе, а я все не могу оторваться от чарующего меня вида. Уже сонного укладывает меня няня в кровать, но и в кровати долго еще я мучаю свою старую няню трудными для нее вопросами — и куда солнце зашло, и что за полоска светится там далеко, далеко, и кто заколдовал принцессу.

И старушка няня, как умеет, отвечает,— что солнце ушло спать, полоска — оттого, что солнышко дверь забыло запереть, что принцессу заколдовал злой волшебник, которого я убью, когда выросту, и уйду с принцессой в ту сторону, куда ушло солнышко, где так хорошо, так хорошо, что и сказать нельзя; а что

теперь пора спать, потому что все спят: и солнышко, и принцесса, и все умные детки. Я засыпаю, но и во сне чудятся мне нянины сказки... Так вот с каких пор мечтал я о принцессе!

Увы! Не суждено было осуществиться этим мечтам. С какой тоской, бывало, уже взрослым при виде заходящего солнца вспоминал я чудные грезы моего милого, невозвратного детства, с горечью думая о пошлой прозе окружавшей меня жизни. Только раз блеснула предо мной надежда и мне показалось, что я нашел свою принцессу. Давно это было, уж я забыл ее лицо, но чудные бархатные глаза и теперь еще как живые смотрят на меня из далекого прошлого. Я только что вступал в жизнь и впервые испытывал любовь. Может быть, вы пережили, а нет, так переживете это первое чувство, чувство, когда не знаешь, кого больше любишь — ее или тот след, который оставляет на песке ее маленькая ножка; когда не знаешь, чего больше желал бы: жить или умереть для нее.

И вот, когда я так любил, вдруг в самый разгар моей страсти я узнал от моего товарища, что он давно любит ее и не сомневается во взаимности. Это вызвало страшную борьбу во мне, которая, однако, кончилась тем, что несмотря на сознание, что мой товарищ имеет прав на нее больше меня, я все ж таки решил объясниться с нею. Мы сидели в саду. В мягком весеннем небе тихо и плавно парил орел.

— Если б вам один человек сказал, что любит вас,— говорил я, следя за полетом орла и весь замирая,— рассердились бы вы?

Я бросил на нее беглый взгляд и заметил, как щеки ее залились румянцем; она опустила глаза и тихо сказала:

— Нет.

— Назвать его? — спросил я, задыхаясь.

— Назовите,— едва прошептала она.

Объяснить вам, как я вместо себя, прежде чем успел что-нибудь подумать, назвал фамилию своего товарища и, не дожидая ответа, вскочил и убежал,— я затруднился бы и теперь. Кажется, самое верное объяснение это то, что моя натура, помимо меня, распорядилась со мной в данном случае. По крайней ме-

ре такую бесцеремонность со стороны своей натуры я замечал во всех исключительных случаях моей жизни.

Прошло восемь лет. Я так и не женился. Это произошло, может быть, оттого, что я не мог забыть свою принцессу, а главным образом потому, вероятно, что, служа в глуши, не встретил никого подходящего. Впрочем, я совсем помирился со своим положением. Я служил главным лесничим на одном из уральских заводов, любил музыку, увлекался охотой, природой, по-прежнему любил с щемящим сердцем смотреть на заходящее солнце и начинал уже мечтать о том, чтобы бросить службу и уехать в мою родовую деревушку, Кротовку, которую мне удалось, наконец, очистить от долгов, и заняться хозяйством, которое, как видите, я страшно люблю. Так шло время, когда однажды я вдруг узнал, что помощником ко мне вместо недавно переведенного был назначен тот самый товарищ, который женился на избраннице моего сердца. Это известие страшно всполошило меня. Чем ближе приближалось время их приезда, тем больше я волновался. То мне казалось, что восемь лет — это срок, в какой всякое чувство, самое сильное даже, должно без следа испариться, то все представлялось мне таким свежим, точно это произошло только вчера, и тогда я думал, что встреча с ней будет тяжела и даже непосильна для меня. Наконец они приехали. При первом же свидании я убедился, что не в силах буду себя побороть. Чем больше я старался забрать себя в руки, тем выходило хуже. Я чувствовал, что меняюсь. Из уравновешенного, спокойного я превратился в раздражительного, ничем не довольного, ко всему придирающегося человека. Когда я не бывал у них, меня тянуло туда; когда приходил, мне казалось, что то он, то она вели себя как-то странно в отношении меня. Особенно коробила меня мысль, что она ему все рассказала. В такие минуты, когда приходила в мою голову эта мысль, я ревниво и подозрительно следил за каждым его движением, взглядом, словом, и, когда мне казалось, что он все знает, я хватался за шапку и уходил, проклиная и ее и его.

Ее поведение мне казалось неровным и непонятным. То она была со мной холодна и мне представлялось, что она это делает умышленно, для того чтобы доказать своему мужу, что она мной не интересуется. Тогда я готов был ее убить, задушить, наговорить дерзостей. Но вместо всего этого я спешил убежать от нее... Я тогда еще хорошо бегал, и кровь играла в жилах...

Иногда я не мог не сознавать, что в ее глазах, при взгляде на меня, было что-то ласкающее, загадочное, что-то большее, чем обыкновенное участие.

Тогда я не знал, что со мной делалось. Я готов был плакать, смеяться, кричать, броситься перед ней на колени, но обыкновенно кончал тем, что хватал шапку и исчезал в лес. Там я бродил, тысячу раз переживая ощущение от ее взгляда, останавливался, вызывал перед собой ее образ, впивался в ее глаза, которые как огнем жгли меня, кричал ей, что люблю ее, и чувствовал себя близким к сумасшествию.

После этого нападало на меня мрачное отчаяние. Ее приветливый взгляд я объяснял себе пустым кокетством, упрекал ее в бессердечии, ненавидел ее и бранил. От мысли, что я влюблен в нее, мне становилось то жарко, то холодно, и я дрожал как в лихорадке. Я думал:

«Как? Добровольно отказаться, испугаться намека, для того, чтоб через восемь лет сделать уже настоящую подлость?»

Но чаще мысль, что я люблю ее, жгла мне кровь, и я бессильно томился в охватывающей меня истоме.

Иногда эта борьба с собой казалась мне непосильной; я шел к ней с решительным намерением во всем признаться. Но, когда я приходил, я думал только о том, чтобы кто-нибудь, а особенно она, не догадались, что я влюблен. Очень часто вместо объяснения вследствие этого она получала даже оскорбления, которыми я старался показать ей и другим, что я не люблю ее. Я чувствовал, что становлюсь несносным человеком. Кончилось все это тем, что мой помощник под каким-то предлогом попросил перевода. Как ни тяжело было, но и я сознавал, что это — лучшее, что можно было сделать. Отношения наши, сильно обострившиеся

было, стали постепенно принимать, ввиду близкой разлуки, и более сердечный характер. Наконец был назначен и день отъезда. Муж уехал на несколько дней вперед, чтобы приготовить все к переезду семьи.

В его отсутствие наше сближение пошло еще быстрее. Я не только не боялся этого, как бывало прежде, но, напротив, давал себе волю. Если наши глаза встречались, я не спешил их отводить и мгновение, два, больше, чем следовало, удерживал свой взгляд на ней. Сознание, что и ее глаза под моим взглядом вспыхивали ответным огнем, опьяняло меня, и кровь, как молотом, била мне в голову. Я чувствовал, что спускаюсь по наклонной плоскости и что не далеко уже то время, когда я не в силах буду сдерживать себя. Но меня успокаивало то, что за недостатком времени, ввиду близкого конца, из всего этого ничего не могло выйти. Это было слабое утешение, меня простонапросто захватило уже что-то роковое, с которым я не мог больше бороться...

Был чудный майский вечер. Только на севере бывают такие вечера. Здесь скупая обыкновенно природа, если уж раскошелится, то и югу с ней не сравниться, да и ценишь это за редкостью больше.

В такой вечер мы сидели однажды вдвоем на берегу пруда, вдали от людей, жилья, а в наших сердцах чутко отзывались и ясный догорающий день, и тихий плеск воды, и этот опьяняющий запах черемухи. Перед нами точно растворялись какие-то таинственные двери. И все это — и синее небо, и молодая зелень, и сверкающая поверхность пруда, и полные неги и страсти трели соловья — точно сливалось в один чарующий душу, всесильный гимн любви. Я как во сне видел ее глаза, помимо ее воли загоравшиеся чудным огнем. Невыразимая истома разливалась по моему телу.

Я уже слышал ответ, который не хотел выслушать восемь лет тому назад.

Оковы, в которых я всю жизнь держал себя, порвались, как гнилые веревки. Я увидел возможность новой, не изведанной еще жизни, полной бесконечного, невыразимого блаженства. Все подернулось туманом, сквозь который я видел только ее страстные, чарую-

щие глаза. Что-то невыразимое, бесконечно сильное охватило меня.

— Боже мой!..— воскликнул я и остановился.

Я хотел ей сказать, что люблю ее, что всегда, всю жизнь одну ее любил, что нет силы во мне терпеть больше, что всякая смерть легче той мучительной жизни, которую я веду.

Но что-то, как тисками, сжало мне горло.

Когда, наконец, вернулась ко мне способность говорить, я сказал ей, что я уезжаю, что решился оставить службу и просить главного управляющего о назначении ее мужа на мое место. Я с ужасом прислушивался к своим собственным словам. Разве это хотел я сказать? Разве это я говорил? Конечно, нет! И она понимала это. Как смотрели на меня ее чудные глаза! Я делал нечеловеческое усилие, но против моей воли мой язык был скован, и я смотрел на нее светлым, но непреклонным взглядом.

«Все кончено!» — сказали ее глаза, и две слезы тихо покатились по ее лицу.

«Все кончено!» — ножом вырезалось в моем сердце, и я без сил упал на траву после ее ухода...

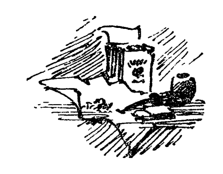
Через неделю я уехал. Они провожали меня. На прощание она подарила меня еще одним взглядом, не чарующим, но долгим и ясным, как был ясен тот чудный день, в лучах которого навсегда скрылся ее образ.

Я ехал как с похорон. В далеком небе, в изумрудной зелени, в смеющейся дали уже не было ее и никогда не будет; но ее последний взгляд, как последний чудный аккорд прекрасной мелодии, наполнял мою душу тихой, ясной грустью о невозможном и невозвратном былом...

С тех пор прошли еще года. Я теперь уже старик и, если хотите, даже не жалею о прошлом. Во-первых, ничто не вечно,— так или иначе жизнь все равно прожита, а во-вторых, лучшее, чем мы обладаем,— способность любить и чувствовать искусство, природу,— сохранилось во мне. Я не испытал, конечно, высшего счастья на земле — семейного, но зато я сохранил тот руль, без которого, кто знает, чувствовал ли бы я в себе ту гармонию, о которой вы говорили.

Я часто любуюсь заходящим солнцем, смотрю на догорающую полоску и думаю, что уже недалеко то время, когда и я уйду в страну, где так хорошо, хорошо, как говорила моя старушка няня.

Я переживаю вновь прошлое и спрашиваю себя: жалею ли, и как бы я хотел поступить, если б ко мне опять возвратилась моя молодость? И я перед отворенными уже для меня дверями другой жизни говорю твердо и решительно: я желал бы поступить сознательно так, как помимо меня поступила моя натура.





ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

> «Не тяготиться, не остывать, быть терпеливым, отзывчивым, добродушным, торопиться любить, в сознании, что уже стоишь у порога вечности,— вот в чем долг».
>
> *Амиель*

Таким и был Константин Иванович Колпин, проживший десять лет в наших местах в должности земского врача в с. Липовке, Самарской губернии и уезда.

Там и умер он, и теперь на бедном сельском кладбище в углу стоит и его могилка с деревянным местной работы крестом — скромная, простая, в тон всему кладбищу, всей местной жизни, в тон тому, кто спит своим вечным сном под ней.

Многие из тех, кто будет читать эти строки, знали Константина Ивановича. Высокий, худой, с маленьким, болезненным лицом, со взглядом, сознающим непрочность всего земного, непрочность своего собственного я. Как доктор он знал, что у него порок сердца, и внимательно следил за развитием своей болезни. Без этого он не прожил бы и пяти лет с окончания своего курса, а он прожил все на том же месте десять.

Говорили, что последние месяцы жил уже не он, а его наука.

За час до смерти он еще раз принял лекарство, сказав спокойно, с кроткой улыбкой:

— Этого можно было бы и не принимать: все, решительно все симптомы смерти уже налицо...

Он умер в мае. В его открытое окно смотрело безмятежное голубое небо, нежный ветерок лениво колыхал молодую листву деревьев, весь аромат далеких зеленых полей.

Он умирал, а над его окном с энергией весны, весело, озабоченно щебетали воробьи, чирикала ласточка, какая-то птичка звонко и нежно, как выражение блаженства, в тон всему ликующему, оглашала воздух своей короткой, страстной трелью.

Он, очевидно, наслаждался еще и этой чудной жизнью весны и, вздохнув, попросил, как воспоминание о жизни, в изголовье его гроба положить свежей травы.

Он умер тихо, вздохнув глубоко, глубоко...

За его гробом шла густая толпа бедных людей, потому что с ними вместе он пережил два голода, два тифа, две холеры.

После его смерти только и нашли полный стол игрушек: копеечные лошадки, деревянные куколки.

Там, в нищенской избе, за этой лошадкой тянулась маленькая больная ручка, и в глазах ребенка загорался тот огонек радости, который грел большую душу доктора и был необходим ему.

За его гробом шли все эти его крестники, сиротки, все те, кому оставлял он свои крохи — жалованье земского врача.

Уже почти перед смертью, за несколько месяцев всего, он получил тяжелобольную — мать большого семейства. Это была сложная тяжелая болезнь, диагноз которой он поставил совершенно иной, чем как определяли болезнь светила медицинского мира. И он оказался прав. Там, у постели этой больной, он и оставил свои последние силы. Но он возвратил ей жизнь, возвратил детям мать и, шутя, пренебрежительно говорил на упреки в переутомлении:

— Вам нужнее жить...

За два дня до его смерти она, в первый раз встав с постели, приехала навестить его. Все два дня до его смерти она провела, ухаживая за ним,— это была вся его награда.

Он был молод, силен духом, был человек, и все человеческое было не чуждо ему.

Может быть, он любил? Об этом он один знал.

Он говорил:

— Я больной, и потомство от меня — преступление.

Чем же он жил в таком случае? Что давало ему эту страшную силу жить жизнью самого здорового, самого удовлетворенного человека? Человека к тому же, который точно вышел из самой удовлетворенной среды, хотя в действительности все его детство и юношество прошло среди самых тяжелых материальных и нравственных условий, надломивших так рано его силы, прошло в тяжелой борьбе за свое право.

Ответ один: он жил своими идеалами, и эти идеалы давали ему силы. Идеалы лучшей жизни, более справедливой и более равноправной.

Какой-нибудь сторонник своего сословия, может быть, скажет:

— Только поколениями вырабатывается дух...

Оставим эти сказки, и пусть хотя бы Колпин и Либерман, которых вы знаете и отрицать не можете, служат вам надежным доказательством противного. Не поколения, а тот дух, который несет с собой культура, то служение общественному долгу, на которое она одна вооружает вас, те идеалы, которые несет она в себе, которые одни могут вдохнуть энергию и веру в жизнь.

Нет, такую энергию жизни не поколения дают. Не имеют Мухортый с Никитой такой энергии жизни. Этой альтруистической жизнью не может жить и непосредственный продукт Мухортого и Никиты — их хозяин.

Но этой жизнью может жить и живет и счастлив стремящийся к культуре Либерман, культурный Колпин, культурный Дюлонг, сын мастерового — начальник североамериканской экспедиции, замерзший со своими товарищами у нас в Сибири, на пустынных берегах Оби.

Если позволите, я вам напомню некоторые подробности этой славной смерти со слов того, кто сам видел останки великого человека и всю трогательную картину его смерти, который и рассказал мне — В. И. Серошевский.

Как известно, корабль Дюлонга разбился у устья Оби. Экипаж спасся. Одна часть его направилась по правому берегу реки, а другая, под начальством самого Дюлонга, пошла по левому.

Из своего отряда Дюлонг отделил и послал вперед шестерых матросов, снабдив их спиртом на тридцать дней и кой-какой, в самых микроскопических дозах, провизией на десять дней. Он сам развесил им провизию и дал наперсток, приказав пить спирт только по одному наперстку в день. Сверх того он дал им по ружью, соответственное число огнестрельных запасов с приказанием ни в каком случае не бросать ружей.

Я не знаю, как бы соблюли эти распоряжения, особенно относительно водки, философ Никита или вообще какой-нибудь философ, но дисциплинированные культурой Запада и ее энергией западные рабочие в точности выполнили эту инструкцию, и это спасло их. На двадцать восьмой день своего путешествия, до последней степени изнуренные, они заметили, наконец, жилье на правом берегу. Они по льдинам (это было в октябре) перешли через Обь и достигли летнего кочевья самоедов.

Увы! Оно оказалось пустым. Они сидели в пустой юрте, не зная, что предпринять дальше, когда вдруг, на их счастье, показались сани и олени самоеда.

Хозяин кочевья вернулся, забыв при переезде отсюда какую-то нужную ему утварь.

Увидев во дворе сани, оленей, живого человека, несчастные обреченные с дикой радостью выскочили из юрты и так напугали самоеда, что тот, мгновенно вскочив в сани, погнал прочь своих оленей, приняв, вероятно, матросов за выходцев с того света. Их спасли ружья. Они прицелились, и, ввиду неминуемой смерти, самоед остановил, наконец, своих оленей.

Тогда жестами они объяснили самоеду, кто они, и самоед объяснил им, что их товарищи уже спасены.

Все они, когда самоед их привез в населенные места, от лишений, напряжения, радостного, наконец, потрясения заболели нервной горячкой.

Роковая ошибка открылась только после их выздоровления.

Те, о которых говорил самоед, были из отряда, направившегося по правому берегу Оби. Об отряде же Дюлонга не было никаких вестей. Их нашли уже зимой.

История их смерти сохранилась навсегда для потомства из дневника самого Дюлонга.

Они умирали один за другим.

Первый умер от антонова огня — матрос. До последней минуты за ним ухаживали. Была сделана даже ампутация ноги, но истощенный организм не выдержал операции.

За отсутствием духовника сам Дюлонг напутствовал своих умиравших друзей, совершая строго все обряды погребения.

Дюлонг умер последним. Он уже не мог идти и полз на четвереньках.

18 октября он описывает в своем дневнике, где именно, с точным обозначением примет, он зарыл весь свой багаж, все то, что могло понадобиться другим людям.

19 октября неразборчивой рукой сообщал он, что силы его оставляют и он уже двигается вперед ползком.

20 октября он имел силы в своей записной книжечке провести только одну длинную черту.

Так и нашла его собака самоеда, в позе ползущего, всего занесенного снегом, с рукой высоко поднятой, с заветным дневником в ней.

Великий человек двигался до последнего мгновения. Вечно вперед.

Да, вперед, но не назад, не туда, куда зовет граф Л. Н. Толстой, куда когда-то звал людей так заманчиво Жан Жак Руссо, о котором Вольтер говорил:

«Читая Руссо, так и кажется, что уже растут лапки, на которых, став на четвереньки, побежишь назад в лес... но не побежишь».

Нет, там назади лес, дебри, голод и холод, там, в буранах, только и остается умирать Мухортым и Никитам с одним сознанием, что все равно на двадцать лет раньше или позже умереть своей нормальной смертью.





ДВА МГНОВЕНИЯ

Зашел разговор о том: страшно или нет умирать?

Человек средних лет с энергичным нервным лицом, умными глазами заговорил:

— Как когда. Вот как в промежутке всего нескольких дней, в тех же почти внешних условиях, я видел два раза подряд смерть в глаза. Я с своей партией жил тогда в Батуме. Собственно не в Батуме, а в окрестностях его,— делал разведки. Неделю всю мы проводили на работах, а в воскресенье ездили в Батум на отдых. Я первый год был тогда женат только, и вы понимаете, какое для меня было удовольствие в этих поездках. Мы проводили в городе все воскресенье, ночевали и на другой день возвращались на работы. Был март. Весна уже начиналась. Травка зеленела, листья деревьев, как нежная паутина, едва сквозили на фоне безоблачного неба... Солнце, изумрудное море... Там вдали кремовые горы с вечным снегом... Чудное утро, лошади поданы, чтобы ехать в город, потому что было это как раз в воскресенье. Если вы бывали в Батуме, то, может быть, помните, что берег его описывает большой полукруг: там в глубине Батум, почти напротив скалистые, дикие берега Цихидзирских гор. И, таким образом, кратчайшая дорога от этих Цихидзирь, где мы и работали, было море,— верст семь всего, а берегом верст пятнадцать. Подъехал грек на лодке и предложил под парусом доехать в четверть часа. Мы согласились, отправили лошадей и поехали. Море, воздух, солнце — праздник в природе, праздник отдыха в нас,— мы были в редком настроении, когда вся жизнь кажется такой же чудной и прекрасной, как этот волшебный уголок земли. И вдруг шквал. Что такое шквал? Черное море —

очень капризное море. Весной и осенью явление там обычное этот шквал. Неожиданная буря, вихрь, какая-то серая стена с стремительной быстротой несется, и впереди этой стены тишь и гладь, а за ней море уже мгновенно закипает, бурлит, свист бури, и в серой кипящей мгле так часто гибнут такие лодки, как наша.

Бледный лодочник успел только крикнуть:

— Ложись!

Сперва рассмеялись все, но на лице лодочника прочли что-то такое страшное, что мгновенно все, кроме меня, легли на дно лодки. Почему я не лег — я не знаю. Какая-то глупая гордость! Шквал налетел. Что-то страшное заварилось мгновенно кругом: откуда взялись волны, куда исчезло солнце,— что это клокочет, кипит и бросает нашу лодку. Нет, нет, спасенья быть не может в этом аде. Какой-то ужас, дикий ужас сковывает, и сознанье в то же время работает с непередаваемой ясностью. Шаг за шагом с неумолимой последовательностью приближается это неотвратимое мгновение. Вот из-под лодки точно выросла страшная седая зелено-прозрачная волна, заглянула в лодку и тяжело обвалилась. Головы смоченных, лежащих там внизу, быстро поднимаются, мгновение тому назад они еще смеялись, на их лицах отвратительный ужас смерти. Еще волна, и глаза судорожно ищут, где в той или вот этой, что вдруг раскрывается и куда летит бешено лодка, бездне конец всему. Неизбежный конец, и мысль о жене, уже случайная, равнодушно оставляет уже мертвую душу: думай, не думай, все равно конец всему, и от всего живого мира мы уже отрезанные ломти, и некому даже передать будет этих последних мгновений. Словом, я струсил так постыдно, как никогда не мог и предположить. А этот ужас сознания страха и бессилие совладать с ним? О, как это ужасно, когда человек познает вдруг предел своих сил, своего «я», когда он уже может сам на себя посмотреть вдруг с сожалением, сознанием слабости, сверху вниз... Нас выбросило на берег... Какая-то животная радость охватила нас: мы, мокрые до последней нитки, с следами, может быть, еще этого ужаса на лицах, танцевали, как дикари, на берегу: поднима-

ли наши ноги, энергично, быстро поднимали и скалили зубы друг другу.

Шквал пронесся, опять мирное солнце, песчаный берег, дорога, идут два турка, несут молодых козлят. Молодые козлята, травка весны, радость жизни, прилив этой жизни... Я, помню, купил этих двух козлят и пешком восемь верст, все время счастливый, нес их — этот залог весны, возвращенной жизни.

Даже унижение было источником радости: что же, я такой же, как все, а думал, что выше их. Милые мои, все вы друзья, и я меньше вас, но я жив, я счастлив.

Да, это был хороший день с ужасным мгновением, и такого дня я не переживал может быть, но мгновение было лучшее, и я его пережил всего через несколько дней.

Опять те же Цихидзири, то же небо, море, солнце... Мы завтракаем. А там по морю плывет плот, и четыре турка на нем. Десятник Вдовиченко, хохол, молодой, говорит:

— Ишь, подлецы, а если шквал?

Рабочий, по фамилии Копейка, саженного роста, тоже хохол, лениво жует свой хлеб и рассказывает не спеша, как под Ак-Паланкой их кавалерия прыгала с такой же кручи, как эта, прямо в реку. Я смотрю с наших высот туда, где беспокойно ласкается к берегу море, голова невольно кружится, и я тяжело переживаю и это ощущение необходимости лететь туда вниз и сознание, что мои нервы не выносят никаких круч. Я поборяю, конечно, себя, но что это мне стоит всегда?

И вдруг шквал, и уже раздирающий душу крик четырех турок на плоту. Какая-то лодка там внизу спешит пристать к берегу: пристала и выгружает мешки с мукой. А плот уже разбит, и четыре турка, каждый обхватив два бревна, ныряют там среди разорванного плота, целого леса поднимающихся и опускающихся бревен. И на нас, сидящих на берегу, налетел уже шквал, как ножом, резким ветром срезал наши шляпы, завтрак, свист бури, грохот моря и, заглушая все, нечеловеческий крик о помощи оттуда, из кипящего котла. Я уже ничего не сознаю. Чей-то голос:

— Нельзя, вы — отец семейства!

Но этот рев бури, вопли тех?!

— Не сюда, не сюда — убьетесь!!

Разве я могу убиться? Ноги мои, нервы мои — сталь, и я стремглав несусь вниз по кручам, куда заглянуть было страшно за мгновение. Я уже внизу, за мной сыпется щебень, камень, за мной летят другие. Мы уже в лодке и отплываем. Вот Вдовиченко, Копейка. Лодка плывет, поворот, мы каждое мгновение вот-вот опрокинемся... Что ж, опрокинемся... И мне весело, и я беззаботно напеваю какую-то веселую песенку. Я вижу, что мое веселье льет огонь в жилы этих... Я-то, я-то знаю, чего хочу, но эти Вдовиченко и Копейка и на веслах сидящие, безвестные работники, вас какая сила двигает? Э, в ваших глазах я вижу бога, вы избранники его, и честь быть с вами, честь сознавать себя равным вам, безвестным героям... честь, великая честь быть равным там, где человек равен божеству...

Бревна, бревна! Вверх и вниз,— держи лодки,— разобьет?! Ха-ха! Мимо!..

Какой-то турок с перепугу топор свой сует, когда каждое мгновение дорого. Вдовиченко с азартом бросает топор в воду — уже за волосы тащит ошеломленного в лодку. Они уже все тут, и мы мчимся назад...

Рассказчик смолк, вздохнул всей грудью:

— О, если бы в такое мгновение умереть!





НА НОЧЛЕГЕ

Короткий зимний день подходил к концу. Потянулись темные тени, вырос точно оголенный лес, белым снегом занесенные поля стали еще сиротливее, еще неуютнее.

Я в последний раз пригнулся к трубе теодолита, но уже ничего не было видно. Рабочие лениво ждали обычного приказания.

— Баста!

Складывают геодезические инструменты, топоры, побежали за санями.

Я и мой помощник совещаемся, где ночевать нам. Решаем ночевать в только что пройденном поселке.

В Ярославской губернии почти в каждой деревне вы встретите несколько богатых домов, владельцы которых — разного рода подрядчики (маляры, столяры) — живут сами с семьей в Питере, а дома оставляют на какую-нибудь старую родственницу.

Дома хорошие, двухэтажные, родственница живет где-нибудь в подвале, в конурке и на совесть стережет хозяйское добро. Добро оригинальное и разностороннее: какой-нибудь старинный подсвечник или редкие бронзовые часы рядом с самодельным диваном; какая-нибудь ненужная здесь из богатого дома безделушка и громадная, половину комнаты занимающая печь. Все это достаточно некрасиво, безвкусно, ярко и неуютно. И все напоказ.

На ночевку впускают охотно, не хотят рядиться с вечера, а утром требуют столько, сколько стеснялись бы попросить даже в столичной гостинице.

Но в выбранном нами поселке ни одного такого дома не оказалось. Мы за день достаточно продрогли и потому, не теряя времени, остановились перед первой, ничем не лучше, не хуже других старенькой избой.

Мы вошли в нее. Посреди избы стоял прядильный станок,— он работал, шумел, и во все стороны разлеталась от него пыль. Крупные частицы ее тут же опускались на пол, на стол и скамьи, на платье, а мелкая так и стояла в воздухе, погружая избу, несмотря на горевшую лампочку, в удушливый полумрак.

Казалось сперва, что в избе никого не было.

Но на вопрос: «А что, можно у вас переночевать?» — поднялись сразу несколько фигур, и маленький корявый крестьянин спросил, бодрясь:

— А вы чьи?

— Мы изыскания делаем: линию наводим.

Этого было достаточно.

Крестьянин, успокоенный, скрывая даже удовольствие, ответил с напускным равнодушием:

— Что ж?.. Милости просим... Самовара только нет. Окромя писаря и во всей деревне нет.

— А попросить у писаря?

Крестьянин почесал затылок, подумал, опять почесал и решительно проговорил:

— Не пойду!

— Чего не пойдешь? — спросила спокойно, в упор пожилая изможденная высокая женщина, оставляя работу у станка.

И, помолчав немного, она бросила мужу укоризненное восклицание и начала торопливо натягивать на себя тулуп.

В дверях, накидывая уже платок, она бросила нам: «Будет самовар!» — и исчезла.

Мы разделись, внесли наши вещи, достали свечи, хлеб, закуски и, присев за стол, принялись за свой обед.

За день ходьбы аппетит нагуливается хороший, и, хотя и мерзлое, мы едим, усердно жуем, глотаем и в то же время знакомимся с окружающим.

Корявый крестьянин — глава — оставался и при более ярком освещении все таким же корявым.

Всклокоченный и напряженный, он напоминал собой загнанного петуха, совершенно помятого, но готового, несмотря на это, отстаивать и дальше свою позицию.

Эта взвинченность — явление заурядное в теперешней обстановке деревни: нужда лезет во все щели, и вконец обесцененной работой не заткнуть этих щелей.

Старшая дочь села за станок. Такое же испитое, зелено-желтое лицо.

Остальные обитатели один другого меньше, до пятилетнего, и у всех тот же болезненный, изнуренный вид.

Впечатление какого-то походного, где-нибудь на войне, лазарета выздоравливающих тифозных.

Еще бы: такой ужасный воздух!

— Зачем вы этот станок в избе держите?

— А куда же его?

— В пристрой.

— Пристрой — построй,— обидчиво бросил хозяин и завозился с таким решительным видом над куском кожи, что я на время оставил его в покое.

Он заговорил сам нехотя и раздраженно:

— В этой не знаю, как усидеть,— того и гляди свалить велят...

— Кто?

— Кто?.. Мир. Вишь, не по планту изба, а что такое не по планту? Только и всего, что место приглянулось, у кого мошна потуже... Тебе ни строить, ни чинить не дают: как развалится — уходи...—Хозяин нервно хватается руками и опять складывает их. — Да... вот так и уйду: ночью и выхожу на починку, так и тянем... Да, вот так и ушел тебе: небойсь.

Хозяин жаловался на мир, порядки, а я слушал.

Кто знаком с деревней, тот знаком с такого рода жалобами. И нельзя не признать основательности таких жалоб, конечно.

Я сижу и вспоминаю.

Человек двадцать лет платил выкупные за надел: умер — и семья его нищая. С вдовы мир торопится сорвать все, что может, и пускает по миру ее и детей.

Когда дети вырастут (только мальчики), они сядут опять на землю, но до тех пор они могут и умереть с голоду.

Страховку фабричного получит семья; состояние в остальных сословиях — частная собственность; только крестьяне лишены ее. Неравенство в сравнении с другими, говорящее громко за себя. Игнорировать его — грех, и тяжелый.

Это пример из имущественных отношений. Я не говорю уже о круговой поруке. Не лучше живется в деревне и в других отношениях. Мальчик, пастух, научился грамоте, сделался миссионером и сдал, наконец, экзамен на священника.

Кто знает деревню, знает, какую страшную волю нужно, чтобы в глухой, без школы, деревушке проделать все это.

Труд Ломоносова бледнеет перед этим трудом.

Я знал этого человека. Сколько стадной ненависти встретил он на своем пути.

— А, ты умнее отцов хочешь быть?! Врешь, не будешь!

И добились своего: не пустили в попы. Шестьсот рублей недоимки насчитали на его семью.

— Уплатишь,— иди.

Уплатить было нечем, и теперь этот выдержавший на попа пьет горькую, валяется по кабакам, а деревенская мораль в лице своих представителей показывает на негодного пьяницу:

— Хотел умнее нас быть!

Станок стучит однообразно и мерно, летит пыль, девушка раскорякой сидит, работает ногами, высоко подняв их и перегибаясь то в ту, то в другую сторону, то и дело бросая челнок. Сколько быстрых движений и каких разнообразных и неудобных: одна нога так, другая иначе, перегнулась в одну сторону, что-то делает рукой, а другой, неудобно занесенной, ловит челнок.

И все это быстро, быстро.

— И дети работают?

— Как же можно детям? Только эти трое.

Хозяин показал на трех девушек.

— Этой сколько? — спросил я, указывая на младшую.

— Тлинадцатый,— бойко ответила белокурая с рыбьим некрасивым лицом девочка.

— Так что ж,— огрызнулся хозяин,— в невесты глядит.

Стук утомлял, пыль раздражала.

— А когда вы кончаете работу?

— Никогда и не кончаем.

— Как! День и ночь?

— Ведь дежурят: их с матерью четыре смены.

Дверь отворилась, клубы морозного пара задвигались по избе, а за ними показалась и хозяйка с самоваром под мышкой.

— Дали?! — усмехнулся вдруг повеселевший хозяин.

— Ну, вот и чайку напьемся,— сказал я.

Хозяйка принялась ставить самовар, а хозяин вышел во двор.

— Для кого вы ткете?

— На фабрику, купцу,— ответила хозяйка.

— Много зарабатываете?

Хозяйка не сразу ответила.

— Полтора рубля в неделю.

— Это сколько же в день? В воскресенье не работаете?

— В праздник девушки на себя работают.

— В сутки, значит, двадцать пять копеек, по копейке за час?

— Этак.

— На работника по шести копеек.

— А привезти да отвезти пряжу? Еще два дня с мужиком да с лошадью прикинь.

— И тяжелая работа?

— Нет ее тяжелее.

— А воздух какой? От него ведь недолго проживешь на белом свете.

— Вот в Абрамовском сам купец особый дом выстроил,— у всякого свой станок... Там хорошо... И челночок-самолет устроил: сам челночок перепрыгивает, а здесь видишь как — изломаться пять раз на минуту всем телом надо... И проворная работа: в три раза скорее против нашей.

— Что ж у себя не заведете такого самолета?

— Где завести? Десять рублей такой челнок стоит — где их взять?

— Десять рублей? А сколько лет уже работает самолет?

— Лет сорок работает.

— А вы давно работаете?

— Я-то?

У нее умное длинное белобрысое лицо. Она поднялась от самовара, спрятала руки под мышки и с удовольствием вспоминает:

— Тридцать второй год.

Она опять быстро наклоняется к самовару, и я снова вижу только ее костлявую, длинную спину в грязном сарафане.

Я начинаю подсчитывать.

Челнок-самолет в три раза быстрее: в неделю на три рубля больше... в месяц двенадцать рублей, в год сто сорок четыре. В тридцать лет четыре тысячи пятьсот рублей. В пятнадцать лет капитал удваивается — итого до девяти тысяч рублей сбережения.

Я совершенно ошеломлен и делюсь впечатлением с хозяйкой.

Она бросила совсем самовар, подсаживается ко мне, и начинается проверка моих вычислений. Мы по несколько раз возвращались назад, она впилась в меня, и когда, наконец, снова получается девять тысяч сбережения, она замирает и так и сидит недоумевающая, огорченная.

— У вас была бы такая пенсия, такое состояние...

Она напряженно думала и вдруг, встав, равнодушно сказала:

— Суета бескорыстная...

— Как вы сказали?

— Говорю: суета бескорыстная вся наша работа.

Она отошла к самовару и то рассеянно, то убежденно все повторяла:

— Суета бескорыстная.

Хорошее выражение.

А от станка все так же несется пыль, забиваясь плотнее в углы старой избы и в грохоте и стуке его, точно эхо, по слогам кто-то повторяет в душной, смрадной избе:

— Суета, суета, суета.

С рассветом мы покинули избу в тот момент, когда за станок усаживалась новая заспанная очередная, и, уже за окнами, я все слышал еще знакомое:

— Суета, суета, суета...

И долго еще я не мог отделаться от мысли и об этом станке, сорок лет тому назад выдуманном, с его стоимостью в десять рублей, и об этой семье, пристегнутой еще к деревне и уже тяжело и грубо отрываемой от нее иной жизнью.





АДОЧКА

I

Маленького тщедушного Иванова, с приплюснутым носом и большими черными глазами, точно гнало по пути всевозможных житейских невзгод: из одной беды он выкарабкивался только для того, чтобы попасть в другую. Он и ходил так, как ходят все такие пришибленные, точно, выталкивая его в жизнь, судьба треснула его по затылку,— таким он и остался.

Иванов жил в провинции, там и женился. Имел уже сына и дочь. Очень нуждался в материальном отношении, перебиваясь случайными заработками: статистика, переписка, случайный урок, небольшой литературный заработок, а в общем — нужда и лишения, как у всех тех людей, которых очень много в России, которые составляют большую интеллигентную силу, но которых мы так мало знаем. Так шла жизнь Иванова, когда тиф унес у него и жену и сына.

Иванов как будто еще меньше стал, еще тщедушнее, еще больше замкнулся в себе, и только глаза его смотрели на мир божий, как из темницы.

Вы видали эту пришибленную, ни от кого ничего не просящую фигурку в поношенном платье, видели эти глаза.

Маленькая трехлетняя дочь его Адочка каким-то чудом спаслась от тифа.

Удивительный это был ребенок: черномазый и щуплый, как отец, лицом вся в мать, с таким же поразительно любящим сердцем, словно вся любовь покойной к мужу перешла к ней: чуткая, напряженная, точно прислушивающаяся к этой своей любви, была Адочка.

Долгие полгода разлуки с отцом, еще при жизни матери, когда ребенок, следовательно, был еще меньше, не заставили забыть отца.

Старший брат, бывало, начинал реветь, принимая отца за чужого, а она с криком «папа» восторженно бросалась отцу на шею.

И Иванов до безумия любил свою дочь.

II

После смерти жены Иванов в интересах дочери переселился в город, где жили его сестра с мужем.

И сестра и муж были толстые, добродушные, бездетные.

Муж где-то служил, аккуратно ходил на службу, любил поесть, поиграть в карты.

Сестра погрязала вся в том, что скажут. Считалась визитами, страдала от равнодушного взгляда высших, только и думала, как бы не ударить лицом в грязь шляпкой, платьем. А в минуты отчаяния, не замечая, что и сама была не лучше других, говорила:

— Ах, какие они все пошлые!

Когда брат со своей дочкой приехали, Марья Павловна, или, как ее называла Адочка, тетя Маша, от счастья свидания совсем обезумела.

Она прежде всего бросилась на шею брату, затем подхватила на руки Адочку, чуть не задушила ее в своих объятиях, бурей пронеслась с ней, показывая ей все, по всему дому и, возвратившись назад, поставив Адочку опять на пол, кончила тем, что села и расплакалась.

Муж только рукой махнул:

— Глаза на мокром месте: поехала... Чего ж ты плачешь?

— Я люблю Адочку,— всхлипывая и смеясь, отвечала тетя Маша.

III

Жизнь пошла своим чередом, и даже для Иванова наступило затишье после всех его житейских бурь и непогод.

Для Марьи Павловны Адочка явилась надежным оплотом от всех ее прежних невзгод. Опоздают ли к ней с визитом, кухарка ли обсчитает, она думает: «Ничего, у меня есть Адочка». Эта черномазенькая Адочка точно приклеила к себе все сердца. Даже дядя Вава, всегда дороживший своим покоем, ворчавший сперва по поводу осложнившейся жизни, привязался к девочке и, теребя ее, с удивлением повторял:

— Ах ты, черномазая, не отстанешь от нее...

Пришлось как-то Иванову ехать по делам куда-то очень далеко.

Приезжает туда, куда ехал, а там уже ждет его телеграмма: «У Адочки скарлатина, форма легкая — не беспокойся».

На другой день новая: «Осложнение — форма тяжелая».

Дело было в разгаре, даже не было утешения посылать часто телеграммы,— денег не было.

На пятый день он получил такую телеграмму: «Папа милый, приезжай,— твоя Адочка очень заболела».

Озабоченная любовью, маленькая, немного сгорбленная фигурка Адочки, словно выжженная огнем, стояла живая в его сердце. Вспомнились все подробности их разлуки...

Перед отъездом он купил ей скромное платьице. В каком она была восторге!

— Я его надену, когда ты приедешь...

Тетя Маша, по обыкновению, вскрикнула при этом:

— Удивительная девочка,— она ведь и платью рада только для тебя.

Адочка озабоченно твердила:

— Знаешь, тетя Маша, папе очень надо ехать... Он привезет мне много, много игрушек...

Но, когда наступила минута разлуки,— это было вечером и она была уже в кроватке,— бодрость оставила ее. Когда отец пришел с ней прощаться, она, обняв его, горько заплакала.

— Я же скоро приеду, я привезу тебе игрушек...

— Я не хочу игрушек.

Она овладела собой и озабоченно, рассеянно вертела пуговицу его пиджака, как бы вспоминая, чего она хотела.

— Ты приезжай скорее.

Сказав, она облегченно вздохнула: она нашла в своем маленьком сердце, чего хотела.

Получивши последнюю телеграмму, Иванов в тот же день выехал обратно. Выезжая, он увидел у ворот маленькую озабоченную сутуловатую девочку. Точно жизнь уже взвалила на ее плечи свое тяжелое бремя.

Озабоченные дети! Грустные дети! Легко самому бороться и нести свой крест, но видеть, как маленький ребенок сгибается под ним... Ведь если и в пору детства нет счастья,— когда ж оно будет?

Дорогу, дорогу детскому счастью, широкую дорогу!..

IV

Адочка сама продиктовала телеграмму отцу и почти сейчас же после этого потеряла сознание.

Она говорила в бреду:

— Папа приехал. Он в спальне. Давайте мне скорее новенькое платье.

На девятый день, утром, приехал доктор, осмотрел, долго выслушивал ребенка, впрыснул мускус... На этот раз она даже не вскрикнула. Сидя на кроватке, больной, рядом с ней, доктор устало проговорил:

— Надежды нет.

С таким напряжением ожидаемый ответ, казалось, не произвел уже никакого впечатления. Марья Павловна только поджала плотнее губы, и казалось, что она думала в это время о своей какой-нибудь неудавшейся кофточке. Дядя Вава махнул рукой и проговорил:

— Зачем только эти дети на свет рождаются...

— Бесполезно мучить,— сказал доктор и снял с девочки все повязки, компрессы, одеяло.

Теперь была видна ее худоба. На подушках лежало что-то темное, грязное, маленькое. Синие пятна, подтеки, распухшие, все в ранах, губки, черные круги закрытых глаз.

Жизнь, как дикий зверь какой-то, рвала, трепала, волочила и, пресытившись, бросила ее.

Доктор еще раз послушал сердце и без мысли задумался, поставив слуховую трубку на грудь ребенку.

Адочка лежала в забытьи. Но вдруг она махнула ручкой, и слуховая трубка полетела на пол.

— О? — повернулся к ней доктор.

Глаза девочки, — большие, черные, страшные, — были открыты и напряженно смотрели на дверь.

Уже все услышали теперь чьи-то шаги в коридоре: в отворенных дверях стоял отец.

Дочь и отец смотрели друг на друга. Казалось, у обоих только и остались глаза. Они говорили ими.

Отец говорил:

«Я нашел тебя и силой моей любви я возвращу тебя к себе, потому что моя любовь — страшная сила, та сила, которая горы, мир сдвинет...»

Ребенок впился глазами в отца:

«Вот я, истерзанная, измученная, ты видишь...»

Он видел, он стоял уже на коленях возле нее, смотрел ей в глаза, обнимая руками маленькое трупное тельце ее.

И она смотрела. Казалось, взгляд ее достиг крайнего напряжения. Но точно оборвалось что-то, и она закрыла глаза.

Марья Павловна уже подняла было руку ко лбу, думая, что конец всему, как вдруг Адочка опять открыла глаза и остановила их на дяде Ваве.

Тот машинально наклонился к ней.

— Папа,— едва слышным писком поделилась она с ним своей радостью.

— О, да, да, папа, папа...— захлебнулся дядя Вава и быстро отбежал к окну.

Нервы у дяди Вавы никуда не годятся: стоя у окна, он плачет, как ребенок.

Глаза Адочки перешли на тетю Машу и зовут ее.

— Надо мне платье надеть...

И от напряжения кровь выступает на черных, распухших губках Адочки.

— Ого,— взвывает тетя Маша,— платье, платье...

Она улыбается Адочке и стремительно, растерянно несется к шкафу.

«Смерть это или жизнь?» — думает тетя Маша, и лицо ее еще улыбается, а слезы льются и льются по ее толстым щекам.

Она вытирает их, несет платье и, ничего не понимающая, надевает его кое-как на Адочку.

Адочка в платье. Она еще страшнее. Она нервно перебирает исхудавшей маленькой, как у обезьяны, ручкой оборку платья и смотрит своими страшными, напряженными глазами на отца. Она надела свое платье к его приезду, она ждет одобрения отца.

Отец ничего не в силах сказать; он молча целует ее ручку. Тетя Маша дрожащим голосом говорит:

— Ах, какая красавица, какая хорошенькая наша Адочка...

Адочка опять закрывает глаза. Несколько мгновений длится томительное молчание. Лицо Адочки еще больше темнеет, но потом сразу покрывается краской, а на лбу выступает испарина. Адочка глубоко-глубоко вздыхает; она открыла глаза, ищет тетю Машу.

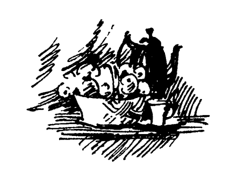
— Что? — испуганно наклоняется к ней тетя Маша.

— Мо-ло-ка...

«Ка» вылетает болезненным писком.

— Кризис миновал,— будет жить,— раздается напряженный, радостный голос доктора.

— Молока! — уже как-то ревет тетя Маша и настоящим ураганом несется сама за молоком.





МОИ СКИТАНИЯ

I

Там, где сплошные необозримые леса без жилья укрыли землю и шумят в непогоду, как море в бурю; где рыщут в них волки, рыси, лисицы, барсуки — все питающиеся за счет все того же всеотдувающегося зайца; где царит неповоротливый с виду Мишка; там, где протекает Керженец, где снились чудные сказки Печерскому,— короче, в лесах и дебрях Костромской губернии я делал недавно изыскания.

Редкие деревушки, попадавшиеся на пути и ни на каких картах не значащиеся,— деревушки, сообщение с которыми поддерживается только по зимам, или каким-нибудь кружным на сотни верст водным путем,— были поистине в идеальных условиях опрощения и для исследователя капитального вопроса наших дней: что больше развращает человечество, культура или некультура, — предоставляли богатый материал.

В одну из таких деревень я попал однажды под вечер, когда золотившаяся пыль вечернего солнца осыпала лес и он светился на синем фоне неба, как прозрачный, а в воздухе было тихо, и чирикала звонко какая-то птичка; кавалькада человек тридцать, нас, изыскателей, появилась вдруг невидимо откуда на опушке леса перед маленькой деревушкой, лениво раскинувшейся между обгорелыми пнями с кое-как выпаханными между ними кулигами.

Наше появление не замедлило обратить на себя внимание обитателей. Первыми бежали ребятишки и девчонки, за ними более взрослые, вплоть до самых ветхих стариков. Таких стариков в городах не встретишь.

Вся толпа, сбившись у изгороди, смотрела на странное, невиданное зрелище.

Было на что посмотреть!

Впереди ехали мы,— старшие, в наших американских с двумя козырьками шляпах, с револьверами за поясом, в самых разнообразных костюмах. За нами следовали волокуши. Это — две оглобли с перекладинкой посреди, на которую кладутся вещи; в оглобли впрягается лошадь, на лошадь садится кучер, и такой экипаж, только такой, может безнаказанно прыгать с пенька на пенек той просеки, которая прорубается для него и для линии. Наконец, сзади этих волокуш шло пешее войско с соответственным вооружением: высокие рейки колыхались, как знамена; вешки, как пики; нивелиры, теодолиты и гониометры, звук цепей...

Больший контраст культуры и некультуры трудно было и представить — с одной стороны, пионеры последней цивилизации, с другой — типы, некоторым образом, первобытных времен, внуки Даждь-бога, окруженные своими болотами, лешими и русалками. И все это на прекрасном вечернем фоне догорающего дня, тишины, аромата, безмятежного синего неба с освещенными облаками, такими же причудливыми, как и везде,— где-нибудь в Париже или на южном берегу Крыма...

Но здесь глушь, тайга, сырость и комары, и лес, как кладовая старого скряги, таит в себе больше негодного хлама, веками гниющего, чем полезного строевого материала. Пройдут века, и, конечно, культурный обильный лес сменит этот хлам веков, но пока это только хлам, и мы в нем, изъеденные комарами, слепнями, оводами, мошкарой. И так отдыхает взгляд после недельного перехода даже на таком слабом намеке на поле, как это, которое с обгорелыми пнями расстилается теперь перед нами.

Некультурная сила, в лице девчонок и ребятишек, дрогнула и пустилась в бегство при нашем приближении. Впрочем, в позах взрослых было столько сомнения, что, сделай наши рабочие какой-нибудь воинственный звук, и вся толпа обратилась бы в такое же бегство. Так же бывало и раньше, но с тех пор был отдан раз навсегда строжайший приказ — не ставить

вперед местное население в унизительное для него положение. И вот рабочие, несмотря на величайший соблазн и охватившую их радость при виде жилья, двигаются молча, а бородатые представители здешних мест и грязные, неряшливые представительницы без головных повязок, в синих пестрядинных сарафанах, продолжают смотреть, вот-вот готовые бежать без оглядки.

Мы ровняемся, и крестьяне торопливо стаскивают свои домашней работы шляпы, а бабы так и замерли, впившись в нас глазами.

— Как называется деревня? — бросаю я с высоты своего рослого коня.

— Светленькая,— раздается несколько человеческих старческих голосов.

Некоторые из парней с удивлением смотрят в лица крикнувших ответ,— может быть, и для них новость, что деревня называется «Светленькой».

Впечатление дикости этой толпы так в нас велико, что в первое мгновение во мне является что-то вроде удивления по поводу того, что я слышу членораздельную речь.

— Здравствуйте, старики!

— Здравствуйте и вы!

— В гости приглашайте!

Молчание.

— А что же?— лепечет какой-то ветхий-преветхий маленький старик,— коли не супостаты да со знаменьем божиим — милости просим.

Мой помощник, черногорец, инженер, пренебрежительно, без рассуждения берет тон человека, привыкшего властвовать.

— Староста где?

Черногорец невысокого мнения о моем умении авторитетно поставить себя; он считает, что я удивительный мастер распускать всех, не исключая и его.

Я, в свою очередь, невысокого мнения о его уменье: быть грубым, вспыльчивым, грозить то и дело дать в морду, а иногда переходить и от слова к делу — приемы плохого унтер-офицера или бурбона из кантонистов. Но он талантлив, прекрасно знает свое дело, любит его, неутомим в работе и, следовательно, вполне годится для своей роли — пионера последней

цивилизации. Иногда он бесцеремонно, с клокотанием и болью Отелло, раздраженно машет рукой и с налившимися глазами рычит на меня:

— Вы, Николай Георгич, ей-богу, как... бить их надо!..

— Послушайте, даже обидно слышать это,— возражаю я,— представьте себе, я являюсь в вашу Черногорию и начну вам доказывать, что надо бить черногорцев. У вас не заболит сердце, что гость вашей страны так возмутителен со своими хозяевами?

— Черногорец не доведет до этого, а русский доведет...

— Что ж, черногорец культурнее?

— Никакого сравнения!..

— Кулачная расправа тоже, в числе культурных приемов, заимствована вами?

— Когда иначе нельзя, то надо бить.

— Но я же никого не бью!

— А кто вас боится?

— Мне этого и не надо,— мне надо, чтобы вверенное мне дело шло успешно; дело и хозяин, а вы, я, все мы — нуль.

— Всё разговоры... ей-богу, вы умный человек, а такие вещи говорите...

Староста неохотно, боком протискался из толпы. Это был светлобородый, густобородый, лет пятидесяти крестьянин с холодными серыми глазами, смотревшими твердо, уверенно и без смущения.

— Ты староста?

— Мы.

— Какой здесь самый лучший дом?

Староста слегка прищурился, кашлянул в руку, переступил с ноги на ногу и, не торопясь, спросил:

— А вам на что?

Черногорец так и вскипел. Замахнувшись нагайкой, он бешеным шепотом прошипел:

— Да как вытяну я тебя, мерзавца,— научишься разговаривать, скотина!

Дикий вид черногорца, его черные глаза без зрачков и синие белки смутили невозмутимого старосту. Но я не мог больше оставаться равнодушным и сказал несколько французских фраз черногорцу, после которых он плюнул, отъехал и стал безнадежно смо-

треть на синюю полосу окружавших нас лесов. Я продолжал переговоры.

Лучший дом оказался принадлежащим старосте, и, после некоторого колебания и с восстановившимся достоинством, староста изъявил согласие взять нас, начальство, к себе.

Странный человек — черногорец: сам он, как и вся его нация, полон чувства собственного достоинства. Вся кровь, веками проливаемая в войне с турками, сводилась к поддержанию, в сущности, только этого достоинства. А в других ничто его так не раздражает, как именно это достоинство. Я давно знаю своего черногорца. Когда он был помоложе и печень его была нормальна, он был и мягче и жизнерадостнее, был занимательным и изобретательным, каким может быть только молодой медвежонок: он играл на губах, пилил, подражая звуками пиле, острил, знал множество фокусов и хлопал пальцем изо рта, как самая настоящая пробка шампанского. Дамы ласкали его, мужья смотрели глазами своих жен, и дела черногорца шли, как по маслу. Он и теперь далеко не стар, но уж очень тяжел, болеет печенью и потому раздражителен, не нуждается больше в снисхождении, потому что знает свое ремесло, и ищет хороших заработков. В редкие мгновения он становится прежним веселым и беззаботным черногорцем, для которого море по колено, которого когда-то австрийское правительство приговорило к расстрелу за боснийское восстание, и он,— австрийский инженер,— с потерею всех прав, бежал в Россию, где пришлось начинать с самого начала, с самых первых ступеней.

Мы едем к дому старосты, и нас провожает вся толпа.

Толпа как толпа: есть богатые, есть и бедные, очень бедные... Лица простые, доверчивые и свободно-покорные судьбе. Даже у самых бедных это есть. Какая-то патриархальность, незлобие, покорность и ясность. Смотрят на нас, смотришь на них. Дети и мудрецы в одно и то же время: они слышат рост травы. Это, конечно, первые естествоведы своих лесов. Но женщины неказисты, малорослы и с глупым выражением кроткой овцы. Их сестры, наши культурные дамы, даже мещанки пригородных мест выглядят лучше. В этих

женщинах, в сущности, с моей испорченной точки зрения, ничего и женского нет: неуклюжие маленькие самки. Зато у мужчин бороды густые, каких у жидкого интеллигента не встретишь, и требовать к себе уважения за бороду имеет свой большой смысл.

Мы двигаемся по улице среди бедных и богатых изб, наваленного леса, дров, всякого хлама. Солнце золотит деревню и лес; там и сям на горизонте, в неподвижном ароматном воздухе, как свечки, поднимаются к небу белые паровые столбы. То горят леса, и без ветра это — только свечка, а подымается ветер, и широкой волной разольется море огня, и побегут от него медведи, волки, рыси, барсуки и лисицы, и — народ их лесной — зайцы, слившись иногда все в одну дружную, сплоченную семью. Бывает, примыкает к ним и человек со своими отрядами: овечками, лошадками, коровками и свинками. Надо хорошо знать лес, и его знают его граждане, и знают, куда и как спасаться им от огня. Кончится пожар, и прекратится перемирие, и снова каждый станет на своем посту. Человек капканы будет расставлять, Мишка — мять овец, а все остальные звери будут рвать на части глупых зайцев. Зайцы будут кричать благим матом, будут жаловаться на судьбу, но с изумительной постепенностью будут все расти и расти в своем количестве. Но пройдут века и не станет зайцев, а с ними и хищных зверей, живших за их счет. Зверей заменит человек, потерявший свои разительные свойства зверя...

А пока мы в новом деревянном двухэтажном с мезонином доме старосты. В нижнем этаже — лошади, скот, солома и сено. Сквозь щели пола их видно и слышно аромат навоза. В светелке наверху душно и тесно. В старой избе клопы, мухи, комары. С новых сосновых стен так и каплет желтая смола. А какая высокая лестничка в светелку, и все это — и дом, и сарай, и светелка — под одной крышей, странно отделенной от стен, но соединенной плотно между собой. Все сбито и прочно, зимой не попадает сюда ни одна снежинка, но зато упадет искра огня в щель из верхнего жилья в сарай, и всесокрушающий пожар неизбежен. Хорошо, если пожар летом, успевают отстроиться, а осенью, да дружный, и пропала деревня.

И вы иногда слышите:

— Здесь когда-то жилье было...

— Куда же оно делось?

— А господь это знает.

— Что ж жители — вымерли, сгорели, замерзли или так разбрелись по белу свету?

— Кто узнает? Кругом на сотни верст — лес и лес,— кого спросишь? Ушли и ушли.

И вы смотрите на старое пепелище:

Времен от вечной суеты,
Быть может, нет и мне спасенья.

В этих глухих местах Вологодской и Костромской губерний обитатели как-то меняют слова и говорят: пецка вместо печка, хотитё вместо хотите и т. д. Что-то с непривычки странное, наивное и бесконечно простое и не спорное. Птица поет одну свою арию, и если человек начинает с пения свою речь, то нельзя и от него требовать на первых же шагах сложных речей. Поет и твердо знает одну, слышанную мною, излюбленную поговорку:

— Мужик да овца, и опять с конца.

II

Удивительный человек — этот черногорец. Не успел расположиться, а у него уже в комнате женщина, молодая и не в пример другим даже красивая: среднего роста, с худощавым румяным лицом, карими, как у молодой матки, смелыми глазами.

— Это кто? — спросил я у сидевшего, как молодой паша, черногорца.

Тот только фыркнул.

— Вам не надо знать...— И он указал на мое обручальное кольцо.

Матка уходила и возвращалась, а черногорец двигался все веселее. Моя комната рядом, перегородка не доходит до верху, и, лежа на кровати, я слышу разговор в комнате черногорца.

Она говорит:

— Куры-то у нас нашлись... Теперь с этим рублем что ж делать?

Черногорец, понижая голос, с легким смущением, прикрытым, впрочем, пренебрежением, отвечает:

— Возьми себе.

Мой расчетливый черногорец!

— Ну, спасибо.

Какой-то странный звук вроде поцелуя.

Черногорец, смущенный и довольный, руки в карманы, лениво входит ко мне.

— Странный обычай: дал ей рубль, целуется...

Сообразил, что я услышал, и идет навстречу моим предположениям!

— Обычай всеобщий.

— Это — честная женщина... Дочь хозяина, и муж у нее... Так, просто...

Черногорец дернул плечом.

— Охотно верю...

У черногорца свои правила относительно женщин. Он говорит:

— Честных женщин нельзя соблазнять, ухаживать за женами друзей нельзя!

Он растопырил свои толстые пальцы и убежденно возражает на свое положение:

— А нечестных и соблазнять нечего!

Он говорит своим твердым выговором и машет рукой и головой:

— А за кем же ухаживать, как не за женой друга? К врагу ведь не пойдешь же в гости?

Опять стучит своими каблуками молодая матка в комнате черногорца, и он озабоченно уходит.

Я беру шапку и спускаюсь вниз во двор.

На крыльце уже стоит толстый, пока еще холодный как лед самовар, уже налитый водой. Дым валит из трубы. По двору гуляет домашняя скотинка. Из-под сарая выглянула красавица пегая кобыла: высокая, широкая, на тонких твердых ногах, с широкой грудью, с большими широкими губами, которые держит так же пренебрежительно и спокойно, как и сам ее хозяин.

Я осматриваю пегашку и, чем больше смотрю, тем больше проникаюсь красотой этого животного.

— А что, хозяин, хороша лошадь?

Хозяин заложил руки за пояс рубахи, медленно подходит:

— Гляди!

Я смотрю и говорю:

— Хороша!

— Плоха ли лошадь?..

Хозяин потянул воздух, мотнул головой и смотрит на лошадь.

— Своя?

— Вот мать, вот отец,— указал он рукою.

Мать такая же пегая, с отвислой губой, с толстым брюхом, с выгнутой спиной — урод перед дочкой. Отец — мухортый, с толстыми ногами, густо обросшими шерстью, твердый, степенный, солидный жеребец. Он безостановочно машет головой вверх и вниз, вниз и вверх и не обращает никакого внимания ни на нас, ни на кобыл.

— Так и ходит?

— А что не ходить?

— К кобылам не пристает?

— Их дело.

Я опять смотрю на пегашку. Мне нужна лошадь. Она смотрит на меня, сложила свои широкие губы, слегка оттопырила их — точно слушает пренебрежительно, о чем здесь толкует этот откуда-то из лесу выбежавший чужестранец.

— И в езде хороша?

Во дворе масса чужого народа; ребятишки, девочки, бедненький люд: с клюками, согбенные калеки и убогенькие. Старичок в рубашке, подпоясанной, как у мальчика. И все и старичок, прежде чем хозяин рот открыл, в ответ на мой вопрос кричат:

— Батюшка, да как же, в кого быть ей плохой в езде? Первая лошадь не то что в деревне: весь лес изойди, такой не сыщешь. Плоха ли лошадь?

— Молода?

— Молода, молода: три, четыре, пять лет.

— Сколько жеребят имела?

— Да что? Двоих.

— Троих, батюшка, всего и имела,— говорит вышедшая в это время во двор хозяйка.

— Тебя, дуру, кто звал? — осаживает ее светлобородый супруг.

Хозяйка виновато смотрит в глаза повелителя.

— Бабы и бабы... только и всего: ступай!

Баба смущенно уходит и ворчит:

— Вишь, натаскался полный двор, только сбивают в речах!..

— Правда, матушка, правда твоя,— говорит старичок.

Старики и старухи соболезненно качают головами: дескать, и вправду набились, только сбиваем хозяев.

— Ты, батюшка, не сумлевайся,— шамкает мне старик,— клад, а не лошадь...

— А цена какая?

— Цена?

И хозяин пускает столько воздуху из своей груди, сколько и редкий мех выпустит. Думает, думает и говорит:

— Непривычное дело... говори сам цену!

Оригинально!

— Неужто, Парфений Егорыч, и вправду решился смотать? — спрашивает из толпы один.— Племя-то, племя какое...

Хозяин, Парфений Егорыч, молча чешет затылок. Затем энергично машет рукой и говорит:

— Нет, не продам!

Наступает молчание. У меня сразу до температуры кипения усиливается желание приобрести лошадь.

В толпе тихо. Убедительно запевает один:

— А пошто и не продать? были бы деньги — какую захочешь, такую и купишь.

Другой, третий, четвертый говорят, указывают на то, что почему-де барину и не уважить?

Хозяин слушает, твердо уставившись в землю. Начинаю и я убеждать хозяина. Он слушает и меня и молчит. Опять выходит хозяйка.

— Слышь, женское, продавать, что ли? — бросает ей хозяин.

«Женское» прирастает к месту, делает большие комичные глаза, замирает, качает головой и, наконец, отвечает:

— А твое дело... Ты — большой.

— А, знаю,— равнодушно пускает сквозь зубы хозяин.

— Гляди...— отвечает ему хозяйка.

— То-то гляди,— презрительно сплевывает хозяин,— только мешать бы вам...

Хозяйка, испуганная, быстро скрывается.

— Ну что ж? Не хочешь, так не хочешь.

Я тоже собираюсь уходить в комнату. Подходит наш мажордом — Кузьма.

Он разводит руками и тихо, доверчиво говорит:

— Просто приступу ни к чему нет. Яиц десяток — двадцать копеек, курица — пятьдесят... Московские, прямо московские цены...

Кузьма помолчал и говорит:

— Надо у этих порасспросить.

— Спроси,— говорю я.

— Эй, вы, старички, нет ли у вас продажных яичек, кур?..

Толпа внимательно слушает, смотрит со страхом на хозяина и молчит. Вызывается старичок.

— Курочка, батюшка, у меня есть.

— А цена?

— А что дадитё.

— А ты свою говори.

Старик думает, чешет голову и наконец нерешительно, со страхом говорит:

— Двадцать копеек дашь, что ли?

— Пятнадцать.

Какой-то белокурый парнишка подвернулся под ноги хозяину и полетел, получив от него здоровенную затрещину.

— Шляются под ногами! Чего не видели? Весь двор запрудили. Вон!

И старые и малые посыпали со двора, а с ними и старик, продававший курицу. Тот самый, который отозвался на мой вопрос, примут ли нас в гости,— тот самый, который уговаривал хозяина продать нам лошадь.

Все-таки Кузьма разыскал его и курицу за пятнадцать копеек купил.

— Ну,— сообщает Кузьма подробности продажи.— «Теперь,— говорит старик,— пропала моя головушка... Парфений Егорыч до смерти не простит мне, что перебил дорогу его курам». Я ему говорю: «А тебе что такое — Парфений Егорыч?» — «Как что, батюшка? Парфений Егорыч у нас всему делу голова. Хочет — и жив человек, не хочет — стаял, как снег в печи...» Кузьма вздыхает, думает и прибавляет: — Известно, денежный человек, сильный!.. В одном лесу

какие поставки держит... Голодный год пришел... Куда?.. Только он и есть!.. Взял теперь зятя себе, так, бедненький вовсе,— охота, чтобы из воли его, значит, не выходил... А детей все-таки не дает бог дочке: третий год уж живут, а внуков нет. И, слышь, гневается на зятя, в черном теле его, так, работником содержит, а к делу не допускает вовсе, все сам, сам...

Все это мой Кузьма уже разузнал, выспросил.

— Вы насчет пегашки оставьте,— он теперь сам пусть начинает...

Действительно, когда вторично я вышел во двор, хозяин, смягчив свое суровое и презрительное выражение, обратился ко мне:

— Капитал-то в избу, али ладно здесь?

— Какой капитал?

— Да вот струмент, вешки.

— Разве тронет кто?

— Да ведь как говорится: замок для добрых людей.

— А то и стащат?

— Обнаковенно... иной и глуп для этого, пожалуй, подкладывай ему.

— А если бы я деньги положил на улице?

Хозяин с презрением покосился на меня и едва удостоил сквозь зубы:

— Пожалуй, попробуй!

— Это в городе порченый народ, а здесь у вас — простота.

— Это...— ответил хозяин и усиленно замигал глазами.

Кузьма, слушавший на крыльце, усмехнулся и проговорил:

— Как говорите: простота? Хуже воровства живет!

Хозяин опустил глаза в землю, молчал, слушал и о чем-то думал. Лицо его опять смягчилось, и он вдруг добродушно и доверчиво обратился ко мне:

— Ну, так думаю, что ль, лошадку-то вам купить у нас?

— Что ж, пожалуй, а цена какая?

— Уж и не знаю... Две катеньки не обидно?

— Что ты, что ты! — закричал на него Кузьма,— язык-то как поворачивается?

Хозяин опять насупился, покраснел и ответил:

— Так говорится, за спрос денег не берут... Вашу цену скажите.

— Да ты в Петербург привези ее, и то больше сотенной не возьмешь,— ответил ему Кузьма.

— Нет, за сотенную и толковать не о чем,— махнул рукой хозяин.

— Да мы тебе сотенной и не даем! — ответил насмешливо Кузьма.

— Да ты что? — окрысился хозяин на Кузьму,— суешься тут!.. Постарше, чать, тебя есть!

Кузьма замолчал. Очередь говорить была за мной...

— Я дал бы,— нехотя начал я и запнулся,— ну... сто двадцать рублей.

— Вот чего, барин... Сто пятьдесят и бери, покамест не раздумал...

— Нет.

— Сто сорок!

— Сто тридцать!

— Нет!

Уперся хозяин, уперся и я. Опять на дворе собрался народ.

— Хороша лошадь... Племя какое... От нее же вот купец купил в городу, и то первая лошадь...

— Давно купил? — спросил я.

— Да что ты путаешь,— крикнул в сердцах хозяин,— от старой купил. И кой ляд тут вас носит?

— Знамо, от старой,— подхватили дружно в толпе,— что говорить, когда не знаешь?

— Али от старой? — с веселой и глуповатой физиономией посмотрел на всех провинившийся.

Давешний старик, продавший курицу, не смеет уже входить во двор и стоит на улице у ворот.

— Кузьма, посмотри лошади в зубы,— говорю я.

Кузьма смотрит, выворачивает ей губы, заглядывает на верхнюю челюсть, пока пегашке не надоедает все это и она так вздергивает головой, что сразу высвобождает свою морду из рук Кузьмы. Кузьма молча вытирает о полы руку. Пегашка опять вытянула свои широкие губы и смотрит равнодушно и сонно, точно и не с ней все это было.

— Сколько ж лет?

Кузьма еще думает и нерешительно отвечает:

— Лет восьми будет.

Поднимается страшный вопль.

— Трех, четырех, пяти! Своя прирожденная, на глазах выросла, племя какое, сейчас и то берёжая!

— Да мне это все равно,— говорю я,— мне тащила бы воз, и конец.

— Ну, лучше этой лошади и нет, хоть весь свет обойти! — кричит кто-то из толпы.

— Хороша-то хороша,— говорил Кузьма,— ну и цена!..

— А ты не об цене думай, а какую лошадь берешь! — учит его голос из толпы.

Старик у ворот качает головой и со скучным убитым лицом уходит прочь. В толпе смеются, перебрасываются тихо словами и забыли уже о том, что я торгую лошадь. Хозяин тоже с равнодушным лицом уходит в избу.

— Ну, бог с тобой,— говорю я,— бери сто сорок рублей.

В толпе наступает мгновенная мертвая тишина. Смотрят, раскрыв рты, на меня, на хозяина, лениво возвращающегося назад. Я вынимаю деньги и отдаю. У некоторых в толпе выражение такое, как если бы где-нибудь в Сахаре с мучительной жаждой они смотрели на счастливца, урвавшего глоток воды.

Вышел и черногорец, засунув руки в карманы и выворачивая большими ногами.

Он был в духе, подошел к пегашке, заглянул ей под ноги, толкнул в живот и пренебрежительно отошел.

— Рублей шестьдесят стоит,— бросил он снисходительно.

— Денег-то, денег куча, ах ты, господи!..— качали головами в толпе.

Даже хозяин, и тот покраснел от напряжения и от удовольствия, как ни старался сохранить спокойствие.

— Ты, барин, на деньги не гляди, а на кобылу,— ответил он черногорцу,— племя!

— Племя? — переспросил черногорец и пригнулся с своей обычной манерой, делаясь похожим на быка, когда он собирается подбросить рогами.

— Племя первое дело,— вздохнул какой-то мужик из толпы.

Черногорец опустил голову, задумался.

— А вот у дочки твоей и нет племя,— проговорил он на прощанье, обращаясь к хозяину, и ласково рассмеялся.

Хозяин, как человек, которому попали в самое больное место, безнадежно, покорно, грустно ответил:

— Наказал господь... Одна-распроединственная, и то нет.

— То-то, нет... А вот дождался бы нас, не выдавал дочку, я бы и взял ее за себя!.. А у меня, брат, столько племя, сколько волос у тебя на голове.

— И поверить можно,— с почтением развел руками хозяин, почтительно оглядывая, хотя и тяжелую, но внушительную фигуру черногорца.

Черногорец поглубже заглянул ему в глаза, точно отыскивая что-то,— нашел и весело направился к себе в комнату.

— Господин серьезный! — с почтением аттестовал хозяин моего черногорца.

— Ну-с, пегашку ставьте к корму, завтра в работу,— обратился я к кучерам.

— Обменяться надо,— заявили кучера.

Обменялись через полу поводом: обычай один куда ни иди по крещеной земле русской. Пришлось еще рубль дать! — повод обмыть.

— Да ведь у них, поди, и водки нет? — с соболезнованием проговорил было один из кучеров.

— Пьем же,— добродушно кивнул головой хозяин, и в толпе пошел хохот.

— Пьют! — воскликнул Кузьма.— Шельмецы, свою водочку курят! Как ненастье придет, что уж знают, нет к ним дорог, и разведут каждый свой заводик; пьют да добрых людей поминают.

— Безакцизную, значит?.. Цена поэтому подешевле...

— Одна цена,— равнодушно ответил хозяин.

— Вишь, народец!

— Так неужели так уж и за труды не пользоваться? — рассмеялся кто-то в толпе.

— Больно уж много пользы берете...

— А нам что, не жаль, давай хоть все...

— Не надо ли еще лошаденки? — подошел и спросил каким-то заплетающимся языком белокурый, скошенный, с большим лбом мужичок.

— Нет, батюшка, не надо!..

— Э!..— Мужик подумал.— А то возьмите, я бы дешево отдал!.. Деньги нужны.

— Да на что вам деньги здесь? — бросил кто-то из моих рабочих.

— Э, батюшка, как же без денег? Нам-то, лесным медведям, и нужны деньги... Что ни схватишь — нет; железо ли, косы, соль — все купи... Подати, свадьбу и на попа достань-ка. Меньше красненькой и не поглядит, а помрет человек, глушь, в неделю не управиться, потому сейчас шестьдесят верст вези упокойника до села...

— Зачем же вы его возите?

— Да как же иначе, на кладбище доставишь... не так же его: бах в землю, как собаку...

— Да-а.

— А то возьмите лошаденку?..

— Нет, батюшка, не надо.

— Не надо, так не надо! — осадил белобрысого мужика наш хозяин.— Не за горло же хватать?

— Никто не хватает,— огорченно ответил белобрысый и отошел.— Так спросил...

Мне жаль стало белобрысого: думаю, купить бы что-нибудь и у него.

— Вот овцу, если есть, на мясо продай...

Белобрысый собрался что-то ответить, но хозяин авторитетно перебил:

— Найдется и у нас овца.— И, спохватившись, что опять народ нагрудился во дворе, хозяин закричал:— Ну, опять поналезли! Что, ей-богу, за народ? Чего не видали? Айдате!..

Так я не дождался ответа от белобрысого.

Толпа выходила в ворота, и я слышал вздохи; разводили руками и говорили:

— Его счастье...

— При капитале-то у всякого счастье,— диссонансом общей покорности раздался чей-то резкий, раздраженный голос.

Хозяин мой не подарил ответа.

— В чужой-то двор зашел и охальничаешь?..

— Я, что ли, охальничал? — уже смущенно ответил виноватый.

— Вправе я тебя,— не спуская тона, продолжал хозяин,— и в загривок поэтому...

И так как виноватый молча спешил выбраться со двора, то хозяин поласковее кончил:

— Потолкуй тут...

— Крут же,— тихо мотнул головой Кузьма в сторону хозяина.

И между моими рабочими хозяин чувствовал себя таким же хозяином, как и с остальными деревенскими, только голос немного поласковее.

— Ну, чего сидите? Налаживайте пока что скамьи.

— А лесу где? — покорно поднялся один.

— Вот хоть из-под навеса возьми.

Он распоряжался деловито, безапелляционно, и, к моему удивлению, рабочие, рассуждая со мной совершенно свободно, с ним чувствовали себя как-то покорно, испытывали тот род страха, как будто существовала такого рода зависимость, что вот возьмет и вытолкает он их всех в шею.

«И вытолкает, и ничего не поделаешь!» — как бы говорили недружелюбные, но покорные лица рабочих.

Высыпали звезды на синем небе, шумит лес и сильнее напоминает шум моря.

Сорвется звезда и полетит и рассыпется серебряным следом над тайгой.

Тихо и темно. На дворе прохладно, а в избе душно: комары, клопы.

Я уже лег, а черногорец все еще возится. Молока захотел и кричит, чтобы дали ему. Слышу шаги по лестнице, знакомые, звонкие шаги дочери хозяев. Принесла ему и поставила горшок на стол. Звук поцелуев. Опять, вероятно, благодарит его. Молчание, и началась какая-то возня.

— А ты будет! — слышу упрямый голос молодой женщины.

Опять.

— Ну, что ж ты? Оставь!

Возня и энергичный решительный возглас.

III

Я вышел за ворота на улицу и пошел вдоль деревни.

Дети, старики, старушки, бабы и парни, бородатый народ — все потянулось за мной.

— Ну что ж, овцу продавай? — обратился я к крестьянину, который навязывался с лошадью.

Крестьянин подумал, почесался и заговорил своим заплетающимся языком:

— Так ведь того, Парфений Егорыч посулился ведь.

— Что Парфений Егорыч? Я у тебя хочу купить.

Крестьянин подумал, почесался и проговорил:

— Оно, конечно, продать можно, да, вишь, дело сошлось как: Парфений Егорыч посулился... у него уж, видно...

— Что ж Парфений Егорыч — рассердится, если ты продашь?

— Ну, так как же не рассердится?.. Нет, уж того...

Вот старичок, продававший курицу, стоит. Избенка ветхая, старенькая. Два стекла в окне всего, а остальные рамы пузырями затянуты.

Подошел я к нему.

Маленький, седенький, кудрявый.

— Ну что ж, старик, в гости пришел к тебе! Веди в избу.

— Батюшка!..— заволновался старик.— А как мне тебя принять?! Гостя этакого...

Мы вошли в темную, закоптелую избу.

Пять маленьких детей, зануженная, бедная женщина.

— Твои, что ли, дети?

— Внуки, батюшка, от сына... Сына бог взял, жена его эта, невестка мне, значит, и живем... Так, батюшка, так. Живем, Христа славим...

Рассказал кое-что старик про свое житье. На словах не передашь: надо изжить всю нужду, все горе-горькое, надо всмотреться в эти неживые от нужды глаза и в эту кожу лица, в лица детей, измученную, без кровинки, женщину — всмотреться и что-то не поддающееся никакому описанию почувствовать. Может быть, и тронет тогда сердце и почувствует

живьем, какая-такая жизнь написана была на роду этого семидесятилетнего старика. Жалобы на судьбу никакой. Славит свою долю. Найдутся охотники восторгаться чудными качествами души: их дело. Замечу только, что особенно на руку это качество всякому мироедству.

Душно, грязно в избе; комары и тараканы; запах овчины, навоза и еще какой-то тяжелый удушливый запах. Вышел во двор, сел на завалинке. Огородик перед глазами: посажены капуста, картофель, лук... Пониже к реке виднеется маленькая без крыши баня. Вышел из бани человек, лысый, с подстриженной бородой и усами, в каком-то халате. Маленькое лицо, сморщенное, на вид лет пятьдесят. Вышел, постоял и пошел мимо нас, не удостоив нас вниманием. Остановился, встал на колени и начал громко вычитывать какие-то заупокойные молитвы.

— Это что за человек?

— Так... простенький...

И старик нехотя, с особой сборкой на губах рассказывает о нем. С детства такой. Был крепостным, приучали к делу: били и били, пороли и пороли: ничего. Так и отбился. Все смешком да шуткой,— посадят ли там пшеницу изо ржи выбирать, кур ли пасти. Воля пришла, стал на воле ходить. Сперва около города жил, обмолвился словом...

— Каким словом?

— Да так и сказал: «Жарко будет городу». А глядь, город и горит уже. Начальство подумало, не он ли; в острог засадили. Ан и острог с угла загорелся. Ну, выпустили и приказали к городу на выстрел не подходить. Осерчал и он. Ушел. Вот так и прибился к нам и живет у меня в баньке.





ДВОРЕЦ ДИМА

Рождественский рассказ из жизни детей

Посвящается тебе, другу детей,
моей дорогой дочери Дюсе.

I

Лужайка, которая виднелась с балкона из-за деревьев, была усыпана, как бисером, полевыми цветами. Ближе к балкону росли большие деревья, все в листьях, сочных, светло-зеленых. Листья шумели, и вершины деревьев гнулись от ветра.

На балконе под навесом ветра не было; грело солнышко, и пахло цветами. В кресле около стола сидел маленький мальчик, лет семи, желтый и сгорбленный, как старик. Его большая голова, как бы от тяжести, свесилась к нему на грудь, и исподлобья смотрели большие черные глаза мальчика. Взгляд их был жгучий, напряженный.

Мальчик смотрел на лежавший перед ним красный, прозрачный от солнца тюльпан, на мушек, которые черными точками шевелились внутри него, и думал. Он думал о том, что, может быть, это вовсе не тюльпан, а заколдованный замок, а те черные мушки — рыцари и дамы: придет ночь, загорятся огни в замке, оживут рыцари и дамы. Мальчик скосил немного свои уставившиеся в тюльпан глаза и подумал, снисходительно улыбаясь: «А если заглянуть в тюльпан, ничего там, кроме мушек, и нет».

Как шумят деревья, какой сильный ветер: деревья большие, а ветер сильнее,— он гнет деревья, хоть и не хочется им гнуться. Разве деревьям может хотеться?

Мальчик стал смотреть в небо: в голубом, нежном небе бегут белые облака,— все тот же ветер, который качает эти деревья, гонит и те облака.

Мальчик закрыл глаза, и ему показалось, что и он качается, что и деревья, и он, и облака несутся куда-то далеко, далеко.

Мальчику стало страшно, и он опять открыл глаза: каким желтым все вдруг стало. Давно уже не приезжал дядя. Дядя так редко бывает. Он больше всех дядю любит. Мама говорит, что когда у дяди кончатся дела, то он не будет тогда уезжать; тогда он всегда, всегда будет с дядей. Ах, если б дядя приехал!

И вдруг дядя приехал. Он вошел с мамой и сказал:

— Здравствуй, Дим.

— Дядя! — крикнул Дим и бросился к нему.

О, какое счастье! Такое счастье, как будто Диму подарили что-то такое хорошее, с чем никогда бы он не расстался, всегда держал в руках.

Большие глаза его горели, как черные алмазы, как горит солнце из-под нависшей уже черной, страшной тучи, а маленькое сердце так сильно билось, как будто торопилось поскорее отсчитать побольше ударов: сильных, ярких, больных.

— Пойдем в сад, дядя,— сказал Дим.

— А ты не устанешь?

Он устанет?!

Дим за руку с дядей спустился с лестницы и пошел по дорожкам сада.

В саду немного сыро, но солнце горячо греет, ароматно пахнет тополем, пахнет распаренной травой, где-то в листьях звонко щелкает какая-то птичка.

Как хорошо, только кружится голова, и Дим просительно говорит:

— Не так скоро, дядя.

— Прости, мой мальчик,— хочешь, сядем на скамейку?

— Хочу,— говорит Дим.

И они садятся на скамейку. Вот теперь хорошо. Дим смотрит на дядю, и лицо его опять выражает радость, и ему хочется поскорее рассказать что-то дяде, но от радости он все забыл и напряженно старается вспомнить.

— Знаешь, дядя...— тихо начинает Дим.— Я люблю спать, когда в другой комнате горит свечка. А если свечка потухнет, я так боюсь...

Дим оборвался, потонув в тяжелых ощущениях ночного страха.

— Чего же ты боишься? — ласково обнял его дядя.

— И сам не знаю.

Мальчик пожал плечами.

— Привидений, может быть, боишься?

— Ну, привидений?

И мальчик, оттопырив губки, скосив весело глаза, уставился перед собой: кто верит в привидения?

— Я, знаешь,— заговорил опять Дим,— сижу сегодня, дядя, смотрю на тюльпан и думаю: может, это не тюльпан, а дворец, в нем живут рыцари, дамы... Отчего мне это показалось?

— Ты, вероятно, читал какую-нибудь сказку про рыцарей и дам?

— Нет... Ах да, читал... Мама мне читала давно, давно мне мама читала про цветочную фею; я, верно, и вспомнил, и все перемешалось в моей голове.

И Дим, облокотившись на колени, снисходительно кивал головой.

— А ты знаешь, Димочка,— сказал дядя,— ведь сегодня приедут к нам целых три доктора лечить тебя.

— Они узнали, что я заболел, и приедут? Они позволят мне бегать? они добрые?

Ах, как все хорошо. И лучше всего то, что дядя с ним. Ах, какой секрет знает Дим. Но он его никогда не скажет дяде. Он, как скряга, прячет его в своей душе. Егор ему его сказал: он похож на дядю. Неужели похож и будет такой же, как дядя, с густыми волосами, маленькой бородкой, большими задумчивыми глазами? Какое счастье, что он похож как раз на того, кого больше всех любит. Только отчего дядя всегда такой грустный?

А отчего вдруг что-то как будто остановилось в груди у Дима, и дядя так испуганно смотрит на него?!

А Дим сидит бледный, неподвижный, без дыхания, с широко раскрытыми глазами.

В это время подошла мама, и испуганно замерли — и мама и дядя.

И так стихло кругом, как будто на мгновение в этот зеленый уголок вдруг заглянуло страшное лицо смерти, и все увидели его.

Мальчик наконец тяжело вздохнул и тихо сказал:

— Я устал, дядя...

— Хочешь, Дим, милый... я тебя отнесу в кроватку?

Дим кивнул головой, и дядя, осторожно подняв, понес его в спальню.

Там он положил Дима на кровать и сам сел возле него.

— Мне показалось,— сказал Дим,— что я куда-то вдруг провалился... А я никуда не проваливался.

Дим держал руку дяди, смотрел на него и думал, какое счастье, что дядя с ним. И мама с ним, но мама всегда с ним, а дядя так редко бывает, что кажется ему, что и теперь все это только во сне: вот сейчас он проснется, и не будет больше дяди,— будет темная ночь, и свечка в другой комнате потухнет, и так страшно ему станет.

Приехали доктора, осмотрели Дима, выстукали и повторили то, что уже все знали,— что у Дима порок сердца. В детстве иногда это и проходит: не надо бегать, не надо волноваться, надо принимать лекарства.

II

Уехали доктора, уехал дядя, и опять Дим сидел на балконе и думал о дяде.

«Ах,— думал Дим,— если бы у меня были братья или сестры. Как бы я любил их!»

А вдруг и у него будут когда-нибудь они? Вдруг выйдут из-за деревьев, подойдут к нему и скажут: «Мы твои братья и сестры».

И они обнимут Дима, и так хорошо ему будет, и никогда больше он не разлучится с ними.

И вот раз, когда так думал Дим, вдруг в саду из-за деревьев показалась маленькая девочка в светлом платьице, с светлыми, как лен, волосами.

Она тоже увидела Дима и остановилась удивленная.

Потом она подошла ближе и спросила Дима:

— Ты леший?

Дим сам испугался было и не знал, что подумать,— он уже подумал даже, не дочь ли уж она какой-нибудь волшебницы, но, когда девочка заговорила, он улыбнулся и спокойно сказал:

— Нет, я Дим. А ты кто?

— Я Наташа... Нет, а ты леший: в чужом саду всегда сидит леший.

— Это в том саду,— серьезно сказал Дим и показал рукой на соседний сад.

— А у тебя есть папа и мама? — спросила Наташа.

— У меня только мама.

— А у меня и мама, и папа, и дяди, и тети... А братики и сестрички у тебя есть?

— Нет.

Наташа ближе подошла и сказала:

— И у меня нет... У меня есть двоюродные... А у тебя есть?

— Нет.

Наташа еще ближе подошла и грустно спросила:

— Ты совсем бедный?

— Отчего? — спросил Дим.

Наташа подумала и сказала:

— Ты сиди здесь, а я пойду к маме.

И Наташа важно ушла назад.

А Дим долго не мог прийти в себя от удивления и радости. Наташа была совсем похожа на ангелов, каких Дим видал на картинах: голубые, как кусочек неба, глаза, вьющиеся светлые волосы. А может быть, у нее и крылья есть? Маленькие крылья сзади? На ней был надет беленький с кружевами фартучек, и сзади на плечах, в том месте, где всегда растут крылья, этот фартучек, кажется, немного даже отдувался так, как будто под ним и были крылья. В следующий раз, как придет Наташа, Дим непременно так, совсем незаметно, заглянет и увидит, есть ли у Наташи крылья.

Наташа пришла на другой день; на этот раз поднялась по лестнице на балкон, села на верхнюю ступеньку и сказала:

— Вот я и пришла.

Потом Наташа спросила:

— Зачем ты все сидишь? Будем бегать...

— Я не могу бегать,— мне можно только ходить,— я хожу с Егором каждый день, знаешь, где большая аллея?

— А я могу бегать... Я могу бегать, качаться на качелях, и я не хочу больше с тобой сидеть.

Наташа встала и быстро пошла к себе домой. Пройдя несколько шагов, она крикнула:

— Я не люблю мальчиков, которые не могут бегать!

Но скоро она опять пришла, подошла вплоть к Диму, долго смотрела в его обрадованные глаза и строго сказала:

— Может, ты хочешь, чтобы я ушла?

— Нет, я очень рад, что ты пришла.

— У тебя какая кроватка, с решетками? У меня с решетками. А когда я вырасту большая, я буду писать стихи и книги, как дядя Коля... Зачем ты так сидишь, как горбатый? Если ты будешь так сидеть, я от тебя уйду.

Наташа строго и медленно погрозила Диму пальчиком и опять заговорила:

— А сегодня один дядя пальчик в нос засунул; я говорю ему: «А мама сказала, что не надо пальчика в нос класть»,— а мама меня в угол поставила, и я плакала, потому что я гадкая девочка... Ты опять горбишься, Дим? Я тебе все говорю, а ты меня все не слушаешься? Ну, я уйду.

Дим рассмеялся и сказал:

— Ну, я больше не буду.

— Ну, смотри... И ты тоже не играйся с мальчиками, которые грязные. Их папа и мама мужики, они всегда пьяные и так кричат: а-а! — и растрепывают свои волосы. У них нет духов и кареты нет: они на козлах ездят. А теперь я пойду, а ты сиди здесь... Сиди!

Наташа строго погрозила пальчиком Диму.

Так Наташа познакомилась с Димом и каждый день по несколько раз приходила к нему.

III

Зимой Егор топил печи, а летом возился в саду.

Егор — маленький, рябой, с козлиной бородкой, с оттопыренной нижней губой, благодаря которой он имеет вид человека, которому все нипочем. Но так бывало только в редких случаях. Когда он выпивал,— тогда он начинал рассуждать, жаловался, обижался. И тогда Егора укладывали спать, а на другой день снова Егор становился тихим и безответным. Выпивал Егор редко и большею частью тогда, когда мать Дима уезжала в город.

Раз после обеда, когда мать Дима как раз уехала в город, Егор был выпивши. Он с Димом, по обыкновению, отправился гулять. Егор, взволнованный и потный, жаловался Диму на дворника, кухарку, горничную. Потом он перешел на свои дела.

— Пять лет,— говорил он,— своих не видал: кто там, что там,— жена, дети, посылаешь, посылаешь эти деньги... Все равно, как и прежде люди в рабство на чужую сторону себя продавали... Ну, так там хоть кучка денег сразу на руки приходила,— продал себя и знаешь за что,— а здесь так по двугривенному весь разойдешься: на последний двугривенничек только выпить, и пах,— лопнул гнилой пузырь!

Дим шел и думал: бедный Егор,— он оттого и пьет, что пять лет не видал жены и детей.

Они проходили в это время мимо маленькой деревянной церкви. Двери церкви были раскрыты, и шла вечерняя служба.

Дим любил вечернюю службу, любил, когда поют «Свете тихий», и сказал:

— Зайдем в церковь, Егор.

И они вошли.

В церкви было мало народа. Что-то у алтаря читал дьякон, любительский хор певчих пел, по стенам церкви стояли старушки, старики, а ближе к алтарю небольшая толпа из женщин, детей, изредка мужчин.

У Дима было свое место у иконы Христа с детьми. Спаситель в голубой ризе, окруженный детьми, ласково смотрит и держит руку на голове одного из мальчиков. Над иконой по-славянски было написано: «Не мешайте детям приходить ко мне».

Дим любил эту картину и, сидя на стуле, который приносил ему сторож, рассматривал ее.

Запели «Свете тихий», и полились звуки, как лился в окна вечерний свет: тихий, мирный, и стало тихо в церкви, и только вздрагивало кадило в руках дьякона, да в длинных лучах солнца играли волны кадильного дыма, да мигали лампадки в углах образов, то замирая, то ярче вспыхивая.

Как волны дыма, плыли мысли Дима и уносились куда-то.

Он смотрел на икону и думал, и брови его сдвигались, и черные глаза упорно и жгуче смотрели. Он думал: где Христос теперь, видит ли он теперь его, Дима, увидит ли он, Дим, когда-нибудь его, и как будет тогда смотреть на него Христос? Ласково, как на той иконе, или рассердится? Рассердится, если он, Дим, будет говорить неправду. Но зачем ему говорить неправду? Если он съест два куска хлеба, а скажет — один? Чем больше он съест, тем больше обрадуется мама.

Дим усмехнулся, пожал плечами и весело скосил глаза.

А Егор молится, обливается потом и все, как во сне, твердит, вздыхая:

— О, господи, господи...

Вот и кончилась служба, и быстро разошлись все, и никого уже нет в маленькой, глухой церковной ограде, куда после службы вышли Егор и Дим.

Диму еще не хочется уходить, хочется побыть еще в ограде, посидеть на уютной зеленой, недавно выкрашенной скамейке.

Тихо кругом, никого нет, и кажется Диму, что никого, кроме Егора и его, больше и нет на свете.

— Ты хотел бы,— спрашивает Дим Егора,— чтобы у тебя было столько братьев и сестер, сколько на той иконе в церкви?

Егор повернулся, пригнулся к Диму и посмотрел на него так, как будто в первый раз его видел. Глаза его стали большие, лицо красное, и в каждой мокрой ямочке лица блестит крупная капля пота. И губы у него мокрые, а нижняя отвисла, и дышит Егор прямо в лицо Диму, и несет от него водкой.

— А я хотел бы,— продолжал Дим,— знаешь, мне всегда кажется, что у меня есть и братики и сестрички.

— А может, и есть,— сказал Егор,— может, чует ангельская душа родную душу?

Егор закрыл глаза и стал качать головой.

Дим подумал и сказал:

— Я не понимаю, что ты говоришь, Егор.

Егор мутными глазами смотрел на Дима.

— Ох, сказал бы я вам... сказал бы, да вы расскажете маме и дяде, а Егора прогонят...

— Я не скажу, Егор.

— Не-ет,— мотнул головой Егор,— вы побожитесь, тогда я поверю вам,— вы скажите: пусть мне царствия не будет божьего, если я выдам Егора.

Диму и страшно и хочется узнать, что скажет Егор, и он испуганно говорит:

— Пусть мне царствия не будет божьего, если я выдам Егора.

Какие странные вещи рассказывает Егор. Он говорит, что его дядя не дядя ему, а папа, что у него есть и братья и сестры.

— Вот теперь,— кончает Егор,— Егор, по крайней мере, знает, что сказал правду, а правда дороже всего на свете.

«Да, правда дороже всего на свете»,— думает и Дим и радостно говорит:

— Егор, ведь это хорошо, что дядя — папа, что у меня есть и братья и сестры... Егор, а отчего же дядя не хочет сказать мне, что он мой папа?

— Да ведь как же ему это сказать,— развел руками Егор,— он с вашей мамой не в законе.

— Не в законе? — переспросил Дим.

— То-то не в законе,— ему и нельзя.

Дим еще подумал, вздохнул и спросил:

— Егор, а много у меня братьев и сестер?

— Два брата да три сестрицы.

— А где же они живут?

— Летом вон там, версты три отсюда.— И Егор показал пальцем.

— Егор... а зачем же они ко мне не приходят?

— Да ведь как же? Откуда они знают? Им все равно, как и вам, не говорят.

— Отчего же не говорят?

— Да как же сказать, когда дело-то не в законе.

Дим подумал и спросил:

— Закон страшный, Егор?

— Да ведь закон, известно, закон...

Егор тяжело вздохнул.

— Охо-хо,— сказал он,— вот где грех-то.

— Какой грех, Егор? — испуганно спросил Дим.

Егор угрюмо сказал:

— Не ваш грех.

Дим как будто вдруг все, что имел, потерял и теперь опять находил что-то другое, новое, но все это новое было хорошее: отец, братья и сестры... И во всем этом было и что-то неясное, такое неясное, что, как ни напрягался Дим,— он никак его понять не мог и не знал, как и что спросить еще Егора, чтобы все стало ему ясным... Какая-то тревога или неудовлетворение охватывали Дима, и он напряженно вдумывался, стараясь проникнуть в какой-то полусвет, окутавший вдруг всю его жизнь.

— Егор,— сказал Дим,— а нельзя хоть потихоньку посмотреть мне на моих братиков и сестричек?

Егор сначала не хотел и слушать, потом стал отговариваться расстоянием, но Дим так просил, что Егор наконец согласился.

Они взяли извозчика и поехали. Не доезжая до места, они отпустили извозчика и пошли пешком.

Как сильно билось сердце Дима, когда они с Егором подкрадывались к решетчатой ограде.

Там за оградой, на лужайке перед домом, играло много детей. Егор шепотом объяснял ему, что это все его родные и двоюродные братья и сестры.

«Это хорошо,— думал радостно Дим,— вот сколько у него родных и двоюродных братьев и сестер. То-то он расскажет Наташе».

Какие они все хорошенькие и добрые!

Вот сидят и строят что-то из песка две девочки и маленький мальчик в латах. А вот эти бегают и гоняются друг за другом. Два мальчика, как он, обнялись и ходят взад и вперед, не обращая ни на кого внимания, а к ним все пристает девочка с задорными, черными глазками, а они говорят ей:

— Ну, оставь же нас, Нина.

— Не оставлю,— говорила Нина,— не говорите секретов.

Одна маленькая девочка сидит спиной ко всем и возится с куклой. Длинные, мягкие, как шелк, волосы то и дело падают ей на глаза, и то и дело она, оставляя куклу, покорно двумя ручонками откидывает свои волосы назад. Но они опять падают.

Нина отошла от мальчиков и подсела к маленькой девочке.

— Вот умница, Тото, ты любишь куклу?

Тото подняла головку, оправила волосы и, радостно показывая на куклу, сказала счастливым голосом:

— Пупе... [1]

Она только и знала одно слово: пупе.

— Ах ты, пупе,— сказала Нина и поцеловала Тото.

— А ты знаешь, Нина,— подходя, озабоченно заговорила девочка немного постарше Тото,— няня говорит, что, если мы будем хорошо играть с куколками, они полюбят нас и сделают нас тоже куколками.

— А ты хочешь быть куколкой?

У девочки загорелись глаза, и она счастливо сказала:

— Хо-очу...

— А кто эта большая дама в шляпке, которая вышла из дома и идет к детям?

Егор шепчет, что это его, Дима, тетя.

Все дети увидели тетю и закричали:

— Тетя Маша, тетя Маша...

Тетя Маша, здоровая, веселая, полная, идет, и руки у нее заложены назади, но Дим видит, что она прячет,— она держит в руках повозочку с лошадкой и кучером.

— А кто,— весело, громко говорит тетя Маша,— из вас рожденник сегодня?

Маленький мальчик в латах покраснел и встал.

— Ах, это ты, Женя? — сказала тетя Маша, — твое рожденье? Ну, поцелуй тетю.

Тетя Маша присела к земле, подставила Жене свою щеку; и, когда Женя поцеловал ее, она спросила:

---

[1] Кукла (от *нем.* die Puppe).

— А ты тетю Машу любишь?

— Люблю,— сказал Женя.

— А ну-ка, покажи — как?

Женя обнял изо всей силы шею тети Маши.

— А боженьке ты молишься? — продолжала тетя Маша.

— Молюсь.

— Тетя Маша, тетя Маша,— вмешалась Нина, и глаза ее загорелись, как огоньки,— Женя так богу молится: «Пошли, господи, здоровье папе, маме, братьям, сестрам, дядям, тетям», и потом всему, что увидит, и так говорит: «Сапогам, которые стоят под кроватью...»

— Ну, уж ты,— говорит тетя Маша,— всегда все подметишь, не мешай нам...

И, обратившись опять к Жене, тетя Маша спросила:

— А молочко ты пьешь?

— Пью.

— Ну, умница, вот же тебе...

И тетя Маша дала Жене повозочку с лошадкой и кучером.

— Вот я тоже подметила,— говорит Нина,— что ты, тетя Маша, всегда подаришь как раз то, что больше всего нравится.

Тете Маше было это приятно, и она рассмеялась.

Как раз в это время Дим увидел в одном из окон того, кого он привык называть своим дядей.

— Дядя! — сказал он удивленно Егору.— Разве он здесь живет?

— Так ведь где же ему жить? — сказал Егор.

Что-то точно обожгло Дима, и он забыл и о братьях своих, и о сестрах, и о большой тете Маше, которая вдруг, увидев прильнувшее к ограде желтое лицо и большие черные глаза мальчика, сказала нарочно громко:

— Зачем чужие дети подходят к ограде?

И все дети оглянулись и стали смотреть на Дима.

Но Дим ничего не слышал и не видел: сердце его билось так, как будто кололо и говорило: здесь, здесь живет дядя.

А Егор в это время уже тащил его по дорожке, приговаривая испуганно:

— Как же это можно так делать, а если бы дядя увидел?

— Егор, не так скоро... я не могу... сядем...

И Дим сел, белый как стенка, потому что что-то жгло и разрывало ему грудь; его тошнило...

— Ах, если бы немножко воды...

«Что говорит Егор? Да, надо уходить...»

И Дим, пересиливая себя, озабоченно опять поднялся на ноги, и они торопливо пошли дальше. Испарина выступила на всем его теле, неприятная, липкая; желтое лицо его вдруг осунулось, и под глазами сильнее обрисовывались темные круги, и глаза казались еще больше. Кололо в боку, и, согнувшись, Дим шел через силу, прижимая рукой то место, где кололо... Точно буря неслась над ним, и все тонуло в вихре нескладных мыслей, тяжелых ощущений. И так больно было: точно вдруг что-то острое, чужое глубоко вошло в его сердце и осталось там, и замерло сердце в нестерпимой боли.

Потом они сели на извозчика и поехали. Легче стало Диму, и, чужой себе и всем, он сидел, сгорбившись, рядом с Егором.

А кругом в садах так радостно щебетали птички, садилось солнце, и в золотой пыли светились деревья, кусты. Вот открылась даль, вся в блеске заката с золотым небом, там, где садится солнце, где как будто туман горит над землей. Или то еще тоже земля, невидимая, призрачная, с неведомой в ней жизнью?

Егор говорит что-то о смерти. А что значит смерть и жизнь после смерти? Может быть, это значит, что после смерти все уходят туда, в ту даль, где собираются теперь все вместе: и земля, и небо, и солнце, где так светло, вон в той точке... Умрут все: и он, и мама, и папа, и все братья, и сестры, и тети, и все пойдут туда.

«Ах, хорошо тогда будет,— скорей бы только умирать всем»,— думает Дим.

— Когда я умру, мне можно будет бегать, Егор?

— Можно.

Он быстро, быстро тогда побежит вон туда, к тому светлому.

— Ох, боже мой, боже мой,— говорит, подъезжая к дому, Егор,— лица на вас нет... и что только будет, что только будет!

— Ничего не будет, Егор,— отвечает Дим,— я скажу, что мне сделалось дурно — вот и все, и мы взяли извозчика.

Но напрасно волновался Егор: мать Дима не приезжала еще, так и спать лег Дим, не дождавшись ее. В первый раз он был рад этому. Он так устал, что, как лег, так и заснул. Он крепко и хорошо спал всю ночь и утром, проснувшись, лежал в своей кроватке свежий и бодрый, ни о чем не думая.

Но, когда к нему вошла мама, он вдруг сразу все вспомнил, что было вчера, и ему стало так неприятно и неловко, что он закрыл глаза.

— Ты спишь, Дим?

Сердце Дима стучало, в ушах шумело, и он никак не мог ответить: ему не хотелось отвечать. Ему было на кого-то за что-то обидно, хотелось жаловаться, упрекать в чем-то. Хотелось рассказать все вчерашнее, но он так страшно поклялся Егору.

Он сделал усилие и открыл глаза.

— Какие у тебя сегодня мутные глаза,— сказала мама, наклоняясь и целуя его.

И он поцеловал маму, но ему показалось, что он целует не маму, а кого-то другого. Он быстро отвел глаза и тихо спросил:

— Где Егор?

— Егор в саду.

Значит, Егора не прогнали. Дим облегченно вздохнул. Он вспомнил, что вчера целый день не видал маму, и хотел было спросить ее, где она была, но подумал, что мама теперь не скажет уже ему правду. И он не может маме правду сказать. И так скучно и пусто стало на душе у Дима, и он опять вздохнул и подумал: «Ах, скорее бы уже все умирали». А мама все смотрит на него, наклонившись к нему, и грустно говорит:

— Бедный мой мальчик, может, ты сердишься на свою маму за то, что она тебя вчера на целый день бросила?

В ответ Дим порывисто обнял ее за шею и, прижимаясь, сразу смочил ей все лицо своими слезами.

— Милый мой, милый мой, дорогой...

И мама горячо, испуганно целовала лицо Дима, ручки его и грудь.

Слезы облегчили Дима, он опять смотрел на маму и улыбался ей сквозь слезы. И все, что было вчера, показалось вдруг Диму таким далеким. «Только ничего не надо говорить маме»,— подумал он.

Он озабоченно оделся, напился молока и вышел на балкон.

Вон Егор копает грядку. Егор, угрюмый, озабоченный, копает и ни на кого не смотрит. Позвать его? Нет.

Мама села играть. Ах, скорее бы приходила Наташа. Только он и ее заставит поклясться, что она не скажет ничего ни его маме, ни дяде.

А вот и Наташа. Она подошла близко, близко к Диму и, кивая у него под самым носом головой, сказала:

— Ну, здравствуй, здравствуй!

Потом она села и заговорила:

— Дядя Коля приехал... Я плакала, а он мне сказочку рассказал. Я тебе расскажу ее. Есть такой дворец — знаешь? И сад и ангелы — и там дети. А когда дети плачут — знаешь — ангелы собирают их слезы в такие маленькие чашечки,— вот такие, и потом поливают цветочки в саду: хорошенькие цветочки, нигде таких нету... А те слезы, которые не попадают к ангелу в чашечку, те падают — на пол падают,— вот так,— и делаются жемчугами... Понимаешь? Ангелы собирают этот жемчуг и строят из него детям дворец.— Наташа наклонилась к самому уху Дима и, кивая головой, грубо сказала: — А у мамы моей много, много жемчуга... Хорошая сказочка?

— Очень хорошая! — сказал Дим.

— А где этот дворец? — спросила Наташа.

Дим вдруг вспомнил то светлое, что видел он там, где садится солнце, и сказал:

— А я знаю, где он,— я его вчера даже видел: там, где солнце, небо и земля сходятся вместе, и там все прозрачное — я вчера его видел. Его можно ви-

деть каждый день, когда садится солнце... Но слушай, Наташа, это после, а теперь я тебе что-то скажу, но только побожись, что ты не скажешь моей маме и моему дяде.

И Дим так строго уставился в Наташу, что даже скосил глаза.

— Только я не хочу, если страшное,— сказала Наташа,— я не люблю страшного,— я потом ночью всегда кричу.

— Нет, нет, не страшное...— И Дим, понижая голос, сказал: — Ты знаешь: у меня есть братики и сестрички.

— Родные или двоюродные?

— Родные! И родные и двоюродные.

Наташа подумала и строго сказала:

— Ты, значит, меня обманывал?

— Нет, я и сам не знал,— мне Егор вчера сказал; и знаешь, мой дядя не дядя, а папа мой... И знаешь? Я даже видел вчера всех братиков и сестричек... Мы потихоньку с Егором подошли и все видели через ограду...

Дим хотел было рассказать Наташе, как он и папу увидел в окне, но ему стало так неприятно, что он ничего не сказал.

Наташа пригрозила Диму пальчиком и сказала:

— Ну, смотри... А ты кого больше любишь: меня или братиков и сестричек?

Дим смутился.

— Наташа,— сказал он,— я тебе правду скажу — одинаково.

— А я так не хочу,— сказала Наташа.— Ты меня люби больше, а если не будешь любить, я не буду к тебе ходить... Не буду, не буду; никогда не буду...

Наташа говорила и уже уходила, пятясь задом к лестнице.

— Ну, Наташа... Ну, хорошо, слушай: они мои братики и сестрички, а ты будешь... моей женой...

Наташа быстро подошла к Диму и сказала:

— Знаешь, мы их всех возьмем и пойдем в тот дворец...

— Только, Наташа, в тот дворец можно попасть после смерти...

Наташа подумала сперва, а потом несколько раз ласково хлопнула его по голове, приговаривая:

— Неправда... Вот тебе, вот тебе, вот тебе...

И она убежала, а Дим кричал ей:

— Скорей приходи!

IV

Наташа ничего не сказала Диминым маме и дяде, но она сказала своей маме.

— И больше ты к Диму не ходи,— сказала ей ее мама.

Но Наташа продолжала ходить к Диму.

— Если ты не будешь меня слушаться и будешь продолжать ходить к Диму, я тебя высеку,— сказала опять Наташина мама.

Наташа пошла к Диму, принесла куклу и сказала:

— Ты будешь папа, а я мама, и это наша дочка: она непослушная, и теперь надо ее высечь.

Наташа села на стул, положила себе на колени куклу, подняла ей платьице и стала бить ее, приговаривая:

— Вот тебе, вот тебе, вот тебе... А теперь мы ее поставим на колени и лицом в угол.

Наташа торопливо слезла со стула и понесла куклу в угол балкона.

— Нет,— сказала она,— здесь она будет видеть сад: надо, чтобы она ничего не видела.

Наташа отнесла куклу в угол, где балкон примыкал к дому, и, поставив ее лицом к стене, сказала:

— У, противная!..

Потом Наташа возвратилась к Диму и, сев на стул, проговорила:

— Мне ни капельки ее не жалко, и мы не будем даже на нее смотреть, и пусть наша дочка целый день так стоит на коленях, потому что мне ни капельки не жалко ее: она гадкая... гадкая... и ты гадкий, гадкий, гадкий, и я никого не люблю...

И Наташа вдруг заплакала.

Она плакала, а Дим испуганно говорил ей:

— Наташа, милая, не плачь... Я никогда не буду

тебя обижать, и куколка больше не будет... И я и она, мы очень тебя любим... Не плачь же, Наташа. — И Дим, нагнувшись к Наташе, спросил: — Можно тебя поцеловать?

— Нет,— сказала Наташа, продолжая плакать,— меня нельзя целовать,— никто не может меня целовать, только папа и мама могут меня целовать, потому что все другие — больные, и я тоже сделаюсь тогда больная... Поцелуй меня в лобик.

Дим поцеловал ее, но Наташа все продолжала плакать.

— Отчего же ты еще плачешь?

— Потому что мама меня высечет, потому что я гадкая... я очень гадкая...

И Наташа, плача, слезла со стула и ушла, а Дим с ужасом думал: неужели высекут Наташу?! О, как стыдно, нехорошо и больно, когда секут такую маленькую девочку.

Когда Наташа пришла домой, мама спросила ее:

— Ты опять была у Дима?

— Была,— сказала Наташа.

— Что я сказала, что я сделаю с тобой, если ты пойдешь к Диму?

— Ты высечешь меня,— сказала Наташа.

— За что я тебя высеку? — спросила ее мама.

— За то, что я нехорошая девочка: я не слушаюсь.

Мама встала, взяла за руку Наташу и сказала:

— А теперь, когда ты знаешь, пойдем, и я тебя высеку, и сегодня я высеку тебя линейкой.

— Мне будет очень больно? — спросила Наташа.

— О да, очень больно.

Когда они подошли к той комнате, где мама секла Наташу, Наташа вдруг вырвала свою руку и быстро пошла прочь, но мама догнала ее и повела назад.

Лицо Наташи надулось, сделалось испуганным, и она закричала:

— Я не хочу!

— Теперь поздно! — крикнула Наташина мама и изо всей силы дернула Наташу за собой.

Мама высекла Наташу.

Наташа пошла в детскую и написала на бумажке: «Меня высекла мама за то, что я хожу к тебе, потому что я гадкая, и я не буду больше к тебе ходить, а на елку я умру, и мы будем жить в нашем дворце, и я напишу тебе стихи».

Наташа взяла свое письмо и пошла к Диму.

У Дима захватило дыхание, когда он увидел Наташу,— Наташа была такая печальная, и, когда подошла к Диму, она протянула ему письмо и сказала:

— Вот тебе письмо,— я теперь пойду, и ты не читай: ты читай, когда я уйду. Я скоро умру...

Из глаз Наташи потекли слезы; она медленно пошла назад и, вытирая слезы, оглядывалась на Дима: читает ли он ее письмо? Но Дим не читал и все только смотрел на нее большими, удивленными глазами.

В последний раз Наташа остановилась и долго, грустно глядела на Дима. Потом она ушла, и только светлое ее платьице мелькало между деревьями. Потом уж и платья не было больше видно, а Дим все сидел с письмом Наташи в руках.

Он прочел это письмо и долго плакал.

И всю ночь ему снилась Наташа,— где-то он с ней в темных проходах, все хочет спрятать ее так, чтоб не нашли ее и не высекли.

А потом он куда-то так спрятал ее, что и сам уже не мог найти ее, и он все искал, и так темно и страшно было ему.

Утром он проснулся желтый, горячий и сейчас же вспомнил весь свой сон, и так мучительно билось в груди его сердце.

V

Все пошло опять своим чередом, только Наташа не приходила больше, и Дим совершенно уже один сидел на своем балконе и думал о своих братьях и сестрах, о Наташе, думал о том, отчего никому нельзя с ним играться.

Дядя еще реже стал ездить: Дим знает, где дядя проводит свое время.

Иногда ему так хочется все сказать дяде. Но Дим молчит и только, сдвинув брови, исподлобья смотрит и смотрит на дядю...

Опять дует ветер, опять бегут облака по небу и качаются деревья.

Сидит ворона на вершине дерева и качается с ним. Ветер нагнул ветку, на которой сидела ворона,— ворона замахала крыльями и слетела на балкон. Потом она, переваливаясь, смело пошла прямо к Диму, остановилась, посмотрела на него и клюнула его за сапог. Так осторожно клюнула и улетела.

Дим все чувствовал то место, куда его клюнула ворона, и так приятно было ему. Может быть, он понравился вороне, и она хотела его поласкать. Может быть, ворона опять прилетит? И Дим сидел и ждал ворону. Но ворона не прилетала.

Вот и лето прошло. Дим не сидел больше на балконе; укутанный, он ходил по запущенным дорожкам сада и смотрел на балкон, усыпанный желтыми листьями.

Много желтых листьев и на балконе, и на дорожках, и на деревьях — желто-золотисто-прозрачные там вверху, в яркой синеве осеннего неба.

Пустой балкон, пустой сад, и нет больше Наташи, а все кажется, вот-вот мелькнуло ее платьице, и выйдет вдруг она из-за деревьев, как прежде, бывало, выходила, и скажет:

«Ты искал меня, и я пришла... А может быть, ты уже не хочешь? Ты скажи, и я уйду».

И Наташа внимательно, строго посмотрит на Дима, а потом сядет и начнет рассказывать ему, как прежде.

Нет Наташи, нет вороны,— может быть, ворона еще прилетит, может быть, сейчас прилетит и сядет и начнет ходить перед Димом...

И вдруг нашлась ворона. Она лежала мертвая на земле под деревом.

Дим смотрел на мертвую ворону своими большими глазами, и так жаль ему было вороны. Наверно, ворона любила его, но ей тоже не позволяли играть с ним, и она скучала и умерла.

Пошли дожди, все листья упали на землю, и, когда-то такие красивые, нежно-золотистые, теперь грязные и мокрые, они уже гнили на земле.

Через потное стекло окна Дим смотрел на них из своей комнаты. Иногда под вечер прорывалось сквозь тучи солнце и красными лучами освещало сад, далекие дачи, и так ярко горели их окна, как будто в них еще жили, как летом.

Пришла зима, и снег упал.

Дим не мог больше ходить: он лежал в своей кроватке и думал.

О чем?

Его пальчики озабоченно перебирали край одеяла, большие черные глаза смотрели перед собой.

Он думал о своих братьях и сестрах, о Наташе. Все они теперь далеко в городе играют, веселые и счастливые. Когда-нибудь и он будет с ними, и все вместе они будут в том дворце, где небо, и солнце, и земля сходятся.

Как обрадуется он им, когда опять увидит их. Они возьмут его за руки, и они пойдут в тот сад, где ангелы поливают прекрасные цветы детскими слезами.

И Дим лежал в кроватке, оттопырив губки, и кивал своей больной головкой.

О, как он любил своих братьев и сестер. Как будет весело тогда, и он скажет тогда дяде:

«Нет, нет, не обманывай,— я уже узнал, что ты мой папа. Ты, верно, думал, что я не буду тебя любить».

И он бросится к отцу на шею и станет так радостно, как прежде, целовать его.

Как жаль, что окна комнатки его выходят на восток и он не может видеть, как садится солнце, не может видеть своего дворца.

А может быть, дворец виден и при восходе солнца?

И на заре иногда, потому что он плохо спал, он поднимал шторы и смотрел в окно, как в розовой дымке рассвета там далеко, далеко в нежно-алом небе загорался день.

Показывалось солнце, загорались первые лучи, счастливые, радостные прилетали воробьи к его окну и чирикали ему что-то веселое.

Кажется, немного виден дворец, но он не мог долго смотреть в окно, и, усталый, он опускал штору и опять ложился и думал. Только непременно надо, чтобы братики и сестрички хоть раз увидали его, чтоб могли потом узнать в том дворце Дима. Раз Егор пришел и обещал, что на сочельник привезет к нему братьев и сестриц. Когда бы скорее приходил сочельник!

VI

Ранние сумерки спускались на землю.

Егор был выпивши и, набирая дров для печки Диминой комнаты, говорил на кухне:

— Разве это люди? Я сегодня прихожу к этой толстой — выбежали детки. Я говорю им: «А братик ваш Дим умирает: попросите маму, чтоб ради праздничка отпустила вас к нему». А она как выскочит: «И как ты смеешь?.. и пошел вон. Нет и нет, кричит, детки, у вас никакого братика».— «Как нет? говорю, грех, говорю, и чужую вещь украсть да спрятать, а вы душу детскую крадете да прячете,— бог душу жить послал, славить его имя велел, а вы нет...»

— Так и сказал? — насмешливо сплюнул дворник с большой бородой.

— А мне что? На тебе. У тебя, может, нет. Не надо тебе,— назад возьмет свою душу господь, а не пропадет же у бога она... И не пошел к другим... Что они? В церковь придут, на всю церковь кресты кладут, поклоны бьют, а черному поклоняются они.

— Ладно, ладно, будет,— дрова неси,— простынут.

— Понесу,— ответил Егор.

И Егор понес дрова в комнату Дима.

— Егор, ты говорил,— спросил его Дим,— что на сочельник ко мне придут братики и сестрички? А когда будет сочельник?

Угрюмо говорит Егор:

— Сегодня сочельник.

Егор машет рукой: никто не приедет, и елки не будет.

— Сегодня? Отчего же нет елки, и никто не приехал?

— Потому что умрешь ты, мой голубчик, умрешь...— говорит и плачет Егор.

— Егор, страшно умирать? — глухим голосом спрашивает Дим.

— Нет,— говорит Егор,— я знаю такую молитву, что ни один черный не тронет, и светлые ангелы возьмут душу и унесут ее в рай...

«В наш дворец,— думает Дим.— Только бы не был Егор пьян и не забыл читать молитву, когда я буду умирать».

— Не умирать страшно,— говорит опять Егор,— мертвым хорошо, а вот жить как? Люди собак злее.

— Отчего злее, Егор?

— Да как не злее? Собака маленького щенка никогда не тронет,— а его, Дима, свои же кровные гонят и знать не хотят.

— Какие кровные, Егор?

— Какие? Тетки да дядьки...

Чьи-то шаги, и Егор испуганно говорит:

— Тише, идут!

Тише!

Сжал губки Дим, и напряженно-строго смотрят его большие глаза. Что-то движется словно или несется над ним и заволакивает его, или сам он уходит, и издалека теперь уже доносятся к нему голоса. Вот дяди голос.

Дядя говорит Егору:

— Ты пьян?

— Я пьян,— отвечает.

— Пошел вон,— говорит дядя, и лицо дяди наклоняется и смотрит на Дима: большое лицо, и каждый волос так ясно видно.

Зачем выгоняют Егора? Нет, нет, он не выдаст Егора. Он только скажет, и Дим уже говорит, и так страшно ему: разве это его голос? Это разбитый, чужой голос, который говорит:

— Папа, когда я умру, пусть придут посмотреть на меня мои братики и сестрички, а то не узнают меня они там во дворце...

Плотно опять сжались запекшиеся губки Дима, желтый лоб как будто больше стал, и смотрят неподвижно большие черные глаза.

И кажется Диму, идет он по темной улице и крепко держит за руку Егора. И много еще детей идут, и говорит ему Егор: «Все это твои братья и сестры идут. А вон там, где свет, там и есть твой дворец». Какой прекрасный, светлый дворец из жемчуга! Как горит он весь в огнях, как ярко сверкают светлые залы его! Их поддерживает множество колонн, и по ту сторону колонн, сколько видят глаза, прозрачная, светлая даль садов и полей. Нежная музыка играет где-то, множество детей в светлых платьях ждут и уже протягивают руки Диму. О, как хорошо ему, как он счастлив теперь...

А над его кроваткой стоят и плачут: думают, что Дим умер. Они ничего не знают о детском дворце, чудном детском дворце из жемчуга, куда уйдут все дети, над входом которого огнем любви горит:

«Отведите от себя ложь, и правда, светлая, чистая, источник вашей силы, приведет вас сюда».

И ниже:

«Но не войдут и не прикоснутся к чистым душам детей дыхания лживых и злобствующих, лицемеров и суетных, палачей, буквой учения калечащие и убивающие души живые».





ВОЛК

I

Стало солнце сильнее пригревать, дрогнул снег, и мутная холодная вода зашумела в оврагах. Громче всех шумел Блажной, и грохот и шум его, как выстрелы из пушек, неслись в пустом воздухе голой весны.

Два подростка, овечьи пастухи, встретились за деревней у Блажного и, постояв, молча присели.

— Вишь, как он,— говорил белобрысый подросток Иван своему товарищу,— с весны ревет, как путный, а с середины лета — курице испить нечего. И будем гонять овечишек опять на водопой в Малиновый.

Черный всклоченный сотоварищ его, Петр, ответил, глядя на дорогу:

— Будешь ты один гонять нынче...

— А ты? — встрепенулся Иван.

— У меня и другое дело найдется.

— Какое дело?

— Так я тебе и сказал!..

— А как же я-то один справляться стану?

— А так и станешь... Поклонись миру и скажи: «Так и так, старики, Петр уйти надумал, а мне одному не справиться, а вы вот что: запрудите-ка с весны, пока вода в Блажном, как вот на сахарном заводе, да накиньте мне половину Петрова жалованья. я тогда и один справлюсь за двоих».

— Так они меня и послушали!

— А ты и уйдешь.

— Куда я уйду?

— Куда глаза глядят!

— Чать, вороны только летают, куда глаза глядят.

— Ну, и сиди тут.

И Петр равнодушно сплюнул в овраг.

— А ты пойдешь, куда глаза глядят?

— И пойду.

— Чать, без паспорта не пустят.

— А ты не спрашивай, и пустят!

— Поймают, так отдуют!

— Ладно, пусть поймают сперва.

Петр встал, поднял мерзлый кусок земли и бросил его в мутные воды оврага.

Когда ком исчез в волнах, он сказал:

— Вот так и я,— ищи там на дне ком-от, что бросил...

— Обсохнет — найдется.

— Ну и жди, пока обсохнет, а я пошел!

И Петр, высокий, черный, с неуклюжими ухватками подростка, заковылял по последнему пути.

Белобрысый товарищ его тоже встал, некоторое время смотрел Петру вдогонку и, убедившись, что Петр действительно пошел, повернулся назад.

В деревне он, подойдя к избе старосты, постучался в окно и, когда староста, подняв окошко, высунул оттуда свою всклоченную голову, лениво сказал:

— Петька, слышь, пасти не станет.

— Еще что?

— Ушел.

— Ушел — придет.

— Ладно — придет, а не придет, я с кем стану пасти?

— Куда денется? — придет!

Староста еще подождал, оглянул улицу и исчез в избе, опустив оконницу. А белобрысый паренек, постояв, лениво, без цели побрел дальше.

Прошел день, два, три, но Петр так и не возвращался.

Наступило время гнать овец в поле, Петра нет. Отец Петра, Федор, погнал овец вместо сына, а в волость послал заявку о пропавшем Петре.

Недели через две Петра разыскали на сахарном заводе, водворили на место жительства и с согласия отца, сдавшего его в общество в овечьи пастухи, высекли.

Белобрысый товарищ Петра, Ванька, на другой день, когда они вместе погнали стадо, равнодушно заметил Петру:

— Вот и ушел!..

— И еще уйду,— ответил ему Петр.

— Выпорют и еще... и не так...

— Не каждый раз!

— А больно пороли?

— Попробуй!

— Небось орал?.. Не хуже Блажного...

Петр, сдвинув брови, молча шагал за овечьим стадом.

В черных полях еще не было почти корму, и голодные овцы, жалобно блея, рвались к озимям. Ванька выбивался из сил, а Петр, отбросив длинный кнут, лежал на земле, смотрел в небо и молчал, как убитый, на все оклики и зовы Ваньки.

— Да что же ты? — подбежал к нему, потеряв терпение, Ванька.— Так можно разве? Я один справлюсь?

Петр молчал.

— Ты что ж? Я ведь домой погоню стадо!

Ванька еще немного постоял и, не дождавшись ответа, действительно погнал стадо домой.

В деревню, пыля и вопя, ворвалось стадо, вызвав всеобщий переполох.

Еще не начинали пахать, и народ весь был дома. Тут же собрался сход, и приступили к отцу Петра.

— Я тут при чем! — защищался отец.— Вы его нанимали, его и спрашивайте. Теперь нашли его и невольте. Выпороли раз, порите еще: я воли с вас не снимаю.

— Нет уж, Федор, не взыщи!.. Мы тебя пороть станем,— отвечал ему староста,— если не погонишь вместо сына, а уж там с сыном — твое дело...

И, как ни бился со стариками Федор, а пришлось-таки уступить и гнать с Ванькой назад в поле овец.

Гнал Федор овец и на чем свет ругал сына:

— Ну, погоди ж, погоди ты, треклятый, черт черный! Треклятый! И уродился в кого? Во всем роду черных не было: черный да лохматый, черт треклятый, угольные твои глаза!

А «черт треклятый» продолжал себе лежать там же, где и лежал.

— Убью! — заревел благим матом Федор еще издали и подбежал к сыну.

Петр медленно приподнялся и, сидя на земле, ждал отца.

— Пасти не стану! — угрюмо бросил он отцу.

— Убью! — завопил отец и заметался перед сыном.— Говори, Иродово семя, отец я тебе или нет?

Петр угрюмо потупился и молчал.

Федор еще подождал и с размаху ударил сына в лицо.

— О-ох! — вздохнул как-то Петр и пригнулся к земле.

Из его носа показалась кровь, и он, осторожно прикладывая руку к лицу, смотрел на свои окровавленные пальцы.

Отец тоже смотрел, некоторое время стоя в выжидательной позе, и вдруг с каким-то визгом, схватив сына за волосы, стал таскать его взад и вперед по земле. Задыхаясь, он приговаривал, толкая ногой сына в грудь, в живот, в лицо:

— Вот же тебе, треклятый! Вот же тебе!..

И таскал и бил до тех пор, пока Петр не сомлел.

Тогда отец бросил его, и Петр, неловко, боком, как упал, так и лежал, уткнувшись в землю, без дыхания, без всяких признаков жизни.

До сих пор безучастный, Ванюшка заметил, ни к кому не обращаясь:

— Этак и убить человека недолго. Отвечать кто будет?

Федор растерянно уставился на сына. Но Петр в это время глубоко вздохнул, сделал движение, и сразу воспрянувший Федор закричал:

— Отдышится кошка треклятая! Отдышится дрянь негодная! Смерть от отца примет, чтоб не позорить утробу...

Петр совсем пришел в себя и, опять сев, так же молчаливо начал прикладывать руку к лицу. Кровь размазалась на лице, залила грудь и смешалась с грязью. Петр был страшный, худой и высокий, похожий на выходца из могилы.

Федор стоял над сыном и, когда Петр окончательно пришел в себя, сказал:

— Ну что ж, треклятый, начинать мне сызнова? Станешь пасти?

После некоторого молчания Петр угрюмо ответил:

— Стану...

А на другой день Петр опять отказался гнать овец. По просьбе отца, Петра опять на миру пороли. Били больно, как могли, били так, что извлекли из груди Петра какие-то совсем особые звуки, в которых ничего даже похожего на человеческий голос не было. Уже и бить перестали, а Петр все еще с какими-то переливами в горле выл, как воет, вытянув шею, волк в глухой степи, выл и корчился так, что страшно было и смотреть и слушать.

— Порченый,— шептали ребятишки на деревне.

Так и дальше пошло: день Петр пас, день лежал от новых побоев.

— Да что ты, окаянный, белены, что ли, объелся? — приставал к нему отец.

— Не хочу пасти!

— А есть чего будешь?

— На заработки на завод уйду! Проживу, как знаю.

— От отца, значит, от мира отбиться навовсе надумал? — приставал Федор.

Петр молчал.

— Врешь, треклятый, не отобьешься! Не таких обламывали!..

И Федор тоскливо твердил:

— Ах ты, волк, волк! Настоящий ведь волк дикий!..

Так, быть может, и до смерти забили бы Петра, а может быть, и обломали бы, но Петру помог случай.

Приехал миссионер, и понадобился ему прислужник. Явился к миссионеру Петр и сказал:

— Выкупи меня у мира, стану тебе служить.

Поговорил миссионер с Петром и согласился. Согласился и мир.

— Что ж, — рассуждали старики,— бей его, пожалуй, только и всего, что до ответа доведешь себя...

Миссионер отсчитал миру отданный отцу Петра задаток, дал что-то в виде отступного и Федору. Мир нанял нового пастуха, а миссионер увез Петра с собой.

II

Служба у миссионера пошла впрок Петру.

Он научился читать, писать, умел читать по-славянски священные книги и приносил даже существенную помощь миссионеру. Так, во время диспутов, он искусно как бы из публики наводил спор на такие пункты, в которых миссионер был силен и по поводу которых миссионер заранее уславливался с Петром.

На малых диспутах Петр и сам начал выступать на состязания со староверами и понемногу приобрел репутацию искусного и знающего спорщика.

Его уже звали Петром Федоровичем, уважали, хотя и говорили, что Петр Федорович горяч, крут и временами на язык не воздержан.

Миссионер, полюбивший своего помощника до слабости, оправдывал его, говоря:

— И Николай Святитель горяч был, да душой чист...

Петр Федорович вырос, имел в плечах косую сажень, был высок ростом, а черные, как смоль, жесткие волосы, которые он запускал, топырились каким-то черным сиянием вокруг его и без того громадной головы, громадных черных, пронизывающих, горящих глаз.

Носил он давно уже суконную поддевку, сапоги бутылками и только и думал, что о диспутах да о разных текстах Священного писания. Он щеголял ими в собраниях, отхватывая одним духом, на память, чуть не целые страницы, и, не довольствуясь, приводил ряд новых текстов.

— А еще от Матвея глава такая-то, а еще от Павла...

И сыплет и сыплет, и умолкнут все, и слушают, и дивятся, откуда только у него берется.

III

Так шло дело у Петра Федоровича, когда вдруг мир потребовал его назад в деревню для отбывания выборной общественной службы.

Выбрали его сотским.

Петр Федорович жаловался миссионеру:

— Вот сотским выбрали. Хорошо — грамотен, могли бы и старостой выбрать. Уж все равно, заодно служить. Злоба в них ко мне — как же, дескать, свиней, овец пас, и теперь в попы метит: вот же тебе, дескать,— послужи в сотских!.. Послужим и в сотских.

Петр Федорович возвратился в свою деревню и начал службу. Не только службу, но и принял от отца все хозяйство. Он принес с собой кой-какие деньжонки. Горячий ко всякому делу, Петр Федорович принялся и за хозяйство не на шутку.

Все ему хотелось по-новому, получше. Хотелось не для себя одного, и он настойчиво твердил,— и отдельным крестьянам, а нередко и на сходке,— как бы следовало все это устроить. Твердил настойчиво, упрямо.

— Да что за учитель нашелся такой? — говорили ему на миру.

— Не учитель я, старики, а дело говорю вам. Вот хоть, к примеру, землю взять. Делите вы ее чуть не каждый год,— ну какое же тут правильное хозяйство возможно? Разделите вы ее ну хоть на двенадцать лет,— ведь дело пойдет,— всякий для себя ведь станет заботиться тогда: и вспашет лучше иной, глядишь, и удобрит...

— Ну, а новых, которые вырастут, кои со службы возвратятся,— куда денешь?

— Для них будем оставлять частицу.

— Да как ты частицу эту вперед угадаешь, сколько именно надо?

— Да ведь как угадаешь,— как-нибудь...

— То-то как-нибудь!.. Как-нибудь от староверов отбрешешься, а в нашем деле как-нибудь начнешь — только и всего, как был дураком, так дураком и будешь!

Неудача постигла Петра Федоровича и в школьной затее. Бездетные восстали, и, как ни бился Петр Федорович, ничего поделать не смог, и школа провалилась. Задумал было Петр Федорович частную школу в доме отца своего устроить для желающих. Но и тут ничего не вышло. Поссорился с писарем, обо-

звал его вором, тот «обнес» его перед земским,— и Петр Федорович сразу попал в разряд беспокойных и даже опасных вольнодумцев, и ему было запрещено всякое обучение детей.

— Ну, вот что, старики,— явился он однажды с новым предложением перед миром,— не хотите, как хотите, но мне хоть не мешайте. Вот в чем дело: на отцовскую и мою душу сколько приходится десятин? Нарежьте мне эту землю в одном месте, а что захотите с меня за это, то и берите.

Дело запахло водкой и пошло лучше. Захотели, кроме душевой платы, сорок пять рублей деньгами да пять ведер водки. На том и порешили: приговор написали и место выбрали. Петр Федорович выпросил себе землю у Блажного оврага, с условием — запрудить пруд для общего пользования и землю чтобы ему отвести пониже пруда. Это было сделано Петром Федоровичем с тем расчетом, чтобы пользоваться прудом для орошения.

Петр Федорович горячо принялся за работу. Он забыл думать обо всяких общественных вопросах и весь отдался своему новому делу.

Уговорил отца сломать избу в деревне и перевезти ее на свой новый хутор, возил навоз на паровое поле, приготовлял материал для плотины, сторговал пять пеньков пчел, достал у соседнего священника несколько кустов желтой акации и даже куст роз.

Сам хозяин и работник, он работал за троих и в несколько лет сделал очень много. На полях у него хлеба стояли стеной, огород орошался самотеком, на пчельнике, где был разведен целый сад, было двадцать пеньков, и из них четыре Дадана. Были телка и бычок от племенного быка соседнего землевладельца, два жеребенка от ардена того же землевладельца.

И вот, когда так хорошо стало налаживаться — сразу все пошло прахом.

Случилось это осенью, в холерный год.

Из Астрахани пришли рабочие и рассказывали на деревне небылицы.

Говорили, что нарочно морят народ доктора и даже живых в гроб кладут, поливая их известкой. Относительно последнего все клялись и божились, что

видели сами своими глазами, как живые выскакивали из гробов и убегали [1].

На вопрос: какая цель морить народ,— отвечали, что, ввиду голода, отпущены деньги на кормежку, и что, чем больше народу перемрет, тем больше порций останется тем, кто кормить будет. Народ слушал и волновался.

Волновался и Петр Федорович. Он доказывал нелепость ходивших слухов, грозил полицией распускавшим эти слухи.

— И не выслужился еще, а старается,— говорили крестьяне.

Жил на деревне крестьянин Авдей с сыном Семеном. Оба они с весны уехали на заработки. Оба были забитые, тихие и жили неслышно.

Среди разгара всевозможных слухов вдруг возвратился Авдей в деревню, а на вопрос о сыне только молча, уныло смотрел на всех, а потом вдруг взвыл и рассказал, что умер Семен от корчей.

Все вещи Семена он захватил с собой и к вечеру сам заболел, а за ним и хозяйка его. И холера пошла свирепствовать по деревне.

Болезнь крестьяне тщательно скрывали от начальства.

Петр Федорович уговаривал позвать доктора, грозил, что сам позовет, и, так как ничто не помогало, действительно поехал и привез доктора.

Доктор, молодой, маленький, тихий, подъехал с Петром Федоровичем прямо к старосте. Когда тот, лохматый и точно заспанный, вышел, почесываясь, доктор ласково, тихо спросил:

— Вот, говорят, у вас больные есть.

Староста угрюмо покосился на Петра Федоровича и нехотя ответил:

— Мало ли что говорят там пустые люди...

Петр Федорович вспыхнул.

— Да что его слушать,— обратился он к доктору,— я сам вам покажу, где больные, где их прячут.

---

[1] Дело было в том, что из стоявших в карантине судов некоторые рабочие, боясь карантина, запрятались в гробы и вместе с другими, настоящими покойниками были свезены на берег. Там, выскочив из гробов, они, обсыпанные известью, разбежались по городу, наводя панику и порождая нелепые слухи. *(Прим. авт.)*

И Петр Федорович дернул вожжи.

Но в первой же избе, куда подъехали доктор с Петром Федоровичем, их встретила толпа крестьян.

— Уезжайте от греха,— угрюмо заговорили они.

— Ах, глупые, глупые,— начал было урезонивать их Петр Федорович,— для вашей же пользы...

— Ладно, ты, умный,— оборвали его крестьяне,— как бы только от большого ума на малый не сошел... Убирайся, пока жить не надоело...

— Для пользы вашей согласен и смерть принять,— ответил Петр Федорович и хотел было слезть.

Доктор удержал его.

— Если они не хотят, что же, не насильно же?

— А что на них смотреть? Идти и конец...

— А вот пойди, пойди только...

— Нет,— решительно сказал доктор,— при таких условиях мы бессильны! Вы окончательно отказываетесь меня впустить?

— Окончательно, потому что не было и нет у нас больных.

— И к другим больным не пустите?

— Нет у нас никаких больных в деревне.

Доктор уехал, а на другой день возвратился с полицией.

Произошло столкновение, вызвали войска, которые и положили конец «бунту», наказав розгами человек пятнадцать.

Злобу и бешенство крестьяне сорвали на Петре Федоровиче...

Он был объявлен чем-то вроде врага отечества, народа и мира, словом, человеком, стоящим отныне вне законов.

Через несколько дней после этого хутор Петра Федоровича был сожжен, пчельник разрушен; состоялось постановление схода отобрать от него землю, а сам Петр Федорович в одну из ночей был избит до полусмерти, причем сломали ему несколько ребер и только потому не добили его, что обморок приняли за смерть. Утром подняли Петра Федоровича и снесли в избу.

Хотя, благодаря колоссальному запасу здоровья, он и выжил, но совсем не оправился: желтый, страшный, кашляющий, остался таким навсегда.

Раздражился Петр Федорович. Решил потягаться с миром.

— Ох, не тянись, мир — велик человек! Нет силы против мира!

— Он, мир,— все зло,— отвечал Петр Федорович,— вся погибель деревенская. С миром еще тысячу лет пройдет, а все такие же сиволапые оболтусы на дно Блажного друг дружку за волосы тащить будете!

Начал свою борьбу Петр Федорович с того, что заявил по начальству о поджоге, побоях, неправильном захвате его земли.

Относительно земли ему наотрез отказали: и документ был незаконный, и прав крестьяне не имели продавать ему землю.

— Земля ничья! — кричали мужики.

— Ничья! Да ведь выкуп за нее мы платим! — возразил было Петр Федорович.

— Спорить я с тобой, что ли, стану? Говорю тебе — закон, а ты рассуждаешь! — заявил староста.

Относительно поджога и побоев было назначено следствие, но оно ни к чему не привело.

Петр Федорович упал духом, поехал советоваться с миссионером.

— Брось ты все это,— посоветовал ему миссионер,— людей не переучишь, а себя погубишь.

— Неужели так и оставить их перемирать?

— А неужто тебе самому за них умирать? Оставь и уйди от греха.

— Уйду я, другой ведь не уйдет, так и затолкут его,— толкут друг дружку, как бараны, мнут, так одна каша была, есть и будет, и никто в ней не спасется.

— Да ты-то ведь спасся,— о себе и думай. Держи экзамен на миссионера, а там и в попы. Человек ты умный, начитанный, перед тобой дорога открытая, а ты уткнулся, прости господи,— в свиной хлев, и нет тебе милее его. Дело, можно сказать, божеское меняешь на самое последнее — человеческое. А все от гордости, да злости, да высокомерия.

Подумал-подумал Петр Федорович и решил держать экзамен.

В своей деревне у отца, в маленькой лачужке, купленной на страховые деньги, засел он за книги и почти не выходил на улицу. А когда появлялась иногда его высокая, уже сгорбленная и мрачная фигура, ребятишки в страхе прятались, потому что сложилась уже между ними какая-то легенда о Петре Федоровиче, как о каком-то замученном, порченом.

Весть о том, что Петр Федорович желает держать экзамен, еще больше раздражила крестьян.

— Все неймется,— говорили они,— все выше людей охота быть. Вы, мол, что? Мужичье серое, а я вот в попы...

Разговоры эти доходили до Петра Федоровича; передавал их ему какой-нибудь бедняк, и Петр Федорович волновался и старался растолковать этому бедняку смысл всего происходившего.

— Ведь это кто говорит так? — втолковывал он бедняку,— говорит писарь, кабатчик, да кто из вашего же брата побогаче, мироеды,— те говорят, кому на руку, чтобы все как есть так и осталось бы: беднеет мужик — меньше сеять станет, дешевле работать будет, больше богатый засеет, совсем петля затянется — еще легче будет вести вас куда угодно: за пуд десятину станете жать, до последнего дойдете, дохнуть будете у пустого пойла, а деться некуда, иначе, как на них работая. Выкупные сами полностью вносить будете, а землю за полцены им же продадите...

— Этак, этак,— слушал и кивал головой бедняк и уходил, чтобы пересказать обо всем тем самым, кого громил Петр Федорович.

А те, в свою очередь, пересказывали следующим, пока не доходило все это дело до земского.

— Знаю, знаю! Слышу все, слышу, что в каждой избе говорят,— отвечал земский,— слышу, знаю и в свое время, что надо, сделаю.

И аристократия деревни, собравшись где-нибудь под вечер погуторить, говорила друг другу, когда разговор переходил на излюбленную тему о Петре Федоровиче:

— Ну и дрянь же завелась на деревне!

IV

Сдал и экзамен Петр Федорович, и даже место попа или дьякона где-то открылось ему по протекции миссионера.

— Ну, с богом,— говорил ему миссионер,— поезжай теперь к себе, откупись в последний раз от миру... Много, чай, возьмут?

— Да уж сотенный билет сорвут, как пить дать!

— Ну, что делать? И дай... да и выходи с божьей помощью на широкую дорогу: был ты овечьим пастухом, будешь теперь человечьим стадом заведовать.

— Да,— вздохнул Петр Федорович,— большой путь, как оглянешься, пройден, а только чего он стоит мне, так-таки и скажу: начинать сначала и врагу не посоветовал бы. Не ваша помощь, погиб бы и я ведь.

Петр Федорович повалился в ноги миссионеру, а тот, поднимая его, твердил:

— Божья, не моя, божья помощь...

Пришел Петр Федорович к себе в деревню и, не откладывая дела в долгий ящик, просил старосту в первый воскресный день собрать сход, чтоб перетолковать об уходе его, Петра Федоровича, навсегда из миру.

— Ладно, соберем,— тряхнул головой староста.

В первое воскресенье сход действительно собрался и в ожидании Петра Федоровича томился у избы старосты. От поры до времени перебрасывались словами.

— Не идет что-то,— проговорил один.

— Так он тебе и пришел: это вот ты, лапотный, так с петухом, может, прибежал сюда, а кто в попы смотрит, тот, може, и до вечера не доплетется.

— Смотрит? — подхватывал третий.— Смотрю и я вот, как галки летят, да ведь смотри, пожалуй...

— Как говорится,— добродушно заметил тихий крестьянин Василий с улыбкой,— «Так-то так, да вон-то как...»

— Что-то не пойму я,— рассмеялся кривошеий крестьянин Дмитрий, любивший меняться лошадьми. Рассмеялся, потому что знал, что дядя Василий спроста ничего не говорил.

За Дмитрием и все насторожились, и дядя Василий, прокашлявшись, не спеша стал объяснять скрытый смысл своих слов.

— Это вот мужик задумал зимой в избе сани делать, холодно, вишь, на дворе ему показалось, а в избе тепло...

— Надо лучше,— поддакнул кто-то.

— Делает да все бабу свою пытает: «Баба,— так?» А баба ему в ответ: «Так-то так, да вон-то как». Поработает, поработает да опять спросит: «Баба,— так?» — «Так-то так, да вон-то как». Так и дальше, пока все сани не кончил. Кончил, спрашивает в последний раз бабу: «Баба,— так?» А баба ему: «Так-то так, да вон-то как». А сама пальцем на дверь тычет.

Василий помолчал, посмотрел на недоумевающее, готовое совсем расплыться лицо Дмитрия, посмотрел на всех и прибавил:

— Дескать,— сани-то ты сделал и ладно, да в дверь-то не протащишь ты их.

— А-а...— обрадовался, поняв, Дмитрий и захохотал. Хохотали все, не смеялся только Василий.

— Либо сани, либо избу уж разбирать,— добавил он ласково и тихо.

И еще громче смеялись, трясли головами и говорили:

— Ну, уж и дядя Василий! Слова не скажет без подковырки.

— Ну, идет!..

Толпа сразу стихла и смотрела, как подходил к ней Петр Федорович.

С широким красным лицом крестьянин, весь обросший светлыми волосами, прищурил свои заплывшие глазки на Петра Федоровича и тихо заметил:

— Высоко летит, где-то сядет?

Петр Федорович сановито подошел и, кланяясь, сказал хриплым от волнения голосом:

— Мир вам, старики!

— Здравствуй и ты,— ответили ему редкие голоса.

— Экзамен я, старики, сдал!..

— Слыхали!

— И приходится мне, старики, просить вас отпустить меня навовсе.

Старики молчали.

— Сколько с меня следует?

— Это так,— перебил его богатый крестьянин Фаддей, нервный, высокий, худой,— сколько следует, да сколько следовало, да сколько причтется вперед, да старикам сколько за уважение...

— Вперед-то за что?

— А ты думаешь, выкуп за тебя кто платить станет?

— Кто землей будет пользоваться, тот и будет платить.

— Ну, там будет или не будет, а все уйдут и платить некому будет... Ты свое знай, и всякий пусть знает свое!..

— Ну, да, словом, вы сколько же насчитываете на меня? — начал терять терпение Петр Федорович.

— Да ведь вот... писарь сочтет!..

Писарь прокашлялся и мягким тенорком скороговоркой ответил:

— Тысяча сто семьдесят два рубля тридцать четыре копейки.

Петр Федорович даже попятился и растерянно оглянулся на толпу.

Крестьяне не смотрели на Петра Федоровича, потупились, и стало так тихо, что каждый слышал, как билось его сердце.

— Что вы, что вы, старики, побойтесь бога! — заговорил Петр Федорович.

— А ты думал что ж? — злобно выступил из толпы взвинченный, с тонкой шеей, крестьянин Егор.— Ты как бы хотел? Там в попах себе чаи распивать и сладко есть, сладко спать, да и тут еще какой был хомут нам на шею бросить? Нет, уж ладно, и свой-то всю шею протер...

— Да ведь какой же хомут, старики? Тридцать пять лет отец и я платили за землю, две тысячи рублей с лишком выплатили уж. Мне получить с вас эти деньги следовало бы или земли на эти деньги,— я бы землю эту продал да с деньгами бы ушел.

— Деньги к деньгам и были бы,— иронически поддакнули ему.

— Ну, уж бог с ними, и с деньгами и с землей, но за что же еще приплачивать-то мне? Не моя же земля будет!

— Там чья — видно будет!..

— Да что тут за спор опять начинается! — раздраженно вмешался староста.— Сказано тебе ясно, сколько с тебя приходится, хочешь уходить — давай деньги, нет — стариков не мори!.. Довольно на своем веку поморил!..

— Поморил довольно!..

— Будет чем помянуть!..

— Иуду Искариотского!

— А вы не лайтесь там! — оборвал староста.— Пустых разговоров нечего заводить здесь, говори каждый дело.

— А дело все сказано от нас...

— Вот и ждем от тебя твоего слова: что ты теперь скажешь?..

— А слово короткое,— взвизгнул кто-то,— согласен — так согласен, а нет — нечего и морить нас!.. Как говорится: семеро одного не ждут!..

Староста опять вмешался:

— Ну, постойте вы там!.. Пусть он говорит!..

Все уставились на Петра Федоровича.

Петр Федорович стоял напряженный, растерянный.

Он глубоко вздохнул и тихо, покорно заговорил:

— Вижу, старики, сам, что неприятен я вам!..

— Так уж неприятен,— перебил, корча рожи, пришедший недавно из солдатчины шут Егорка,— что вот этот господин неприятен,— Егорка ткнул ногой в пса, покорно стоявшего возле него с поджатым хвостом,— а ты неприятнее и его даже...

Толпа завыла от восторга.

— А вы будет!..— прикрикнул на толпу староста.

Петр Федорович напряженно проглотил слюну и снова заговорил:

— Старики, может быть, я и виноват перед вами?..

— Он, видишь, еще и сам не знает?..

— Ну, пусть буду я виноват, старики! Я принимаю от вас все наказание: был я богат — беден стал, было дело — отняли, был силен, здоров — смотрите на меня — в гроб ведь лучше кладут... Старики, зачтите все это за все мои вины и простите меня, Христа ради, простите, разойдемся и забудем друг друга... Христа ради прошу: простите.

— Да ты-то хоть шапку сними, коли уж просишь прощения.

— И шапку сниму!

И Петр Федорович снял шапку.

— Можно бы и на колени стать,— подсказал кто-то.

— И на колени стану, и в землю поклонюсь.

Петр Федорович опрокинул назад голову и, взмахнув как-то вверх руками, упал с размаху на колени, потом на землю.

Он лежал так, когда вдруг послышались его рыдания, глухие, отдававшиеся в землю; его громадное тело тряслось, как в лихорадке.

Толпа, не ожидавшая ничего подобного, затаив дыхание, смолкла на мгновение, но Петр Федорович слишком долго лежал,— бессилье лежавшего вызвало новое раздражение.

— Плакали и мы, когда по твоей милости пороли нас в холеру...

Искра была брошена в порох.

— Плакали, плакали! — раздраженно подхватила толпа.— Кровью пла́кали!

— Поплачь и ты теперь!

Петр Федорович вздрогнул и поднялся на колени, растерянно уставившись в толпу. Страх вдруг овладел им, страх предчувствия, что не выпустят его, страх перед этой толпой, страх человека, попавшего в трясину и поздно понявшего, что не выбраться ему из нее.

Он хотел было встать, но судорога начавшегося истерического припадка свела ему ступни, и, с воем вытянув к толпе руки, он пополз на коленях. Толпа с ужасом отшатнулась и уходила от него, а он полз, пока, корчась, не упал на землю.

V

После припадка на улице несколько раз уже в избе, в постели находили на Петра Федоровича припадки такого же ужаса, какой охватил его тогда на сходе. И он снова начинал тогда выть, так же дико, как выл в молодости, когда миром пороли его. Выл

и бился, и надо было несколько человек, чтобы удерживать его на месте.

Понемногу и сила припадков ослабела, да и повторялись они реже и реже.

Петр Федорович пришел в себя и начал обдумывать, что ему предпринять.

Требуемых миром денег у него и не было, и нечего было и думать где-нибудь достать их.

Вторично обращаться к миру тоже было бесполезно. И заходившие к нему из бедняков крестьяне говорили и он сам знал, что мир — волк: что в пасть ему попало, то пропало — проси, пожалуй! Собирался было к земскому, но так и не собрался. Ослабел ли, упал ли духом, но не пошел.

— Что ходить попусту, только унижаться,— там я давно оплетен выше головы.

У Петра Федоровича зародилась другая мысль. Он решил путем печати, путем гласности бороться с миром и открыть всем глаза на то, что делается в деревне.

Он радостно ухватился за эту мысль и твердил всем и каждому, кто хотел его слушать,— твердил опять сильный, полный веры в себя:

— Узнают, все узнают, все узнают... До царя дойдет, что творится здесь... Что крепостная неволя? Там один был, к одному надо было подделываться, а теперь их тысячи господ, да господа какие? Темнее зверей лесных умом, тверже камней сердцами и не сыщешь их никого: все друг за дружку, а мир за всех! Мир?! Несчастная вдова придет после смерти мужа кланяться миру, после мужа, который всю жизнь выкупал этому миру землю, а мир за недоимку в пятнадцать — двадцать рублей пускает вдову с детьми по миру... Да еще издевается: «Мир, известно, волк,— что в пасть попало, то пропало». Этот-то покойник, что ж, на мир или на своих детей работал?! Все раскрою, все поймут и узнают, что творится здесь!..

Петр Федорович говорил и писал статью о мире.

Писал долго, исписал большую тетрадь и ушел с нею в город.

— Сам сдам в редакцию и сам на словах еще объясню.

Петр Федорович, придя в город, разыскал редакцию местной газеты и, входя, с замиранием спросил у встретившегося в коридоре наборщика, где можно видеть редактора.

— Редактора сейчас нет, он будет часов в двенадцать.

В двенадцать часов Петр Федорович опять зашел и по грязной узкой лестнице поднялся во второй этаж.

В большой комнате за длинным столом сидело несколько молодых людей.

При входе Петра Федоровича некоторые стали смотреть на него, другие, не обращая на него никакого внимания, продолжали свою работу: кто писал, кто читал газеты и от времени до времени вырезал из них ножницами кусочки.

Петр Федорович ждал, когда кто-нибудь обратится к нему.

— Вам чего? — спросил, глядя на него из-под очков, один из молодых людей.

— Редактора мне надо бы повидать.

— Иван Петрович! — крикнул, поворачиваясь к запертой двери, молодой человек.— К вам!

Дверь отворилась, и вошел полный, бритый, пожилой господин в очках. Он подошел к Петру Федоровичу вплоть, посмотрел на него сквозь очки, потом поверх очков и спросил:

— Вам чего?

— Я хотел бы... статью вот, насчет деревни...

Петр Федорович протянул свою статью.

— Это о чем?

— Насчет мира,— общины, как у вас называется.

Все встрепенулись.

— Ого! Интересно!.. Что же собственно?

— Я вот хотел было поговорить!..

— Ну?

— Где-нибудь особенно.

— Да почему же не здесь? Вы не стесняйтесь, это все сотрудники... Позвольте вас познакомить,— вот... Садитесь... Так в чем дело?

— Да вот в том дело, что уж силы не стало жить в деревне: мир заедает.

— Так ли? — спросил редактор и лукаво покосился на товарищей.— Вы сами — деревенский житель?

Петр Федорович объяснил свое положение.

— Ну, вот видите,— сказал, выслушав, редактор,— вы сами признаете исключительность вашего положения. Вам и простительно с исключительной точки зрения смотреть на вопрос. А вопрос большой, и с одной стороны на него никак не взглянешь... «Община, мир,— как говорится у вас,— велик человек», и об этом великом человеке мечтают народы, до которых куда нам. Что и есть у нас хорошего, так это община, а вам она как раз и не нравится, вам...

— А что ж хорошего в миру?

— Как что хорошего? Что есть хорошего — все там...

— Не знаю... Взятки там, неволя, петлями опутанное стадо. Ленивый за кончик не потянет, куда ему только надо,— связанное стадо, на котором лежи и спи... невежество, из которого и не вылезешь...

— Вы вылезли?..

— Я-то вылез, да вот только, простите, кровью кашляю...

— Кашляют и у нас кровью: вчера только одного похоронили... Вот видите, черной полоской обведена статья — некролог...

— Так, так... Родился я вот в деревне, а что-то не приметил вот, как вы говорите, хорошего ничего в миру. По-моему, от его власти даже хуже, как от барской было... Уж об житье и говорить не станем — ни хлеба, ни скотины, ни денег не стало...

— Этому другие причины.

— Земля мирскими порядками испоганилась так, что голод чуть не каждый год...

— И этому свои причины есть...

— И тянется мужичок из последнего, чтобы хлебца добыть, чтобы прикованному у пустого пойла не погибнуть вконец, и тянется, снимает землю у купцов... Те дело свое тонко знают: деться некуда мужику — плати в год, чего и навечно не стоит эта земля. Потребуй он, купец, деньги все вперед — кто бы дал, а и дал бы — нет их, денег. Тут вот и закидывается удочка: давай всего рубль задатку, остальное до урожая. А пока не уплатишь, хлеб сыпь в амбар купца.

Вы, может, ездили когда: посевом сами не занимаются, а в каждой усадьбе амбары, да какие... А в срок не выкупил,— срок к распутью подгоняется, когда цен нет,— по базарной цене хлеб остался у купца, а чего не хватило за землю — под вексель до будущего года. В крепостное время мужичок половину работы делал барину, другую себе, а уж тут вся работа на людей,— крепость двойная... Вот, мои хорошие, как тут одно из другого выходит...

И Петр Федорович горячо заговорил:

— Нет, вы, пожалуйста, послушайте меня, я ведь не из города, из деревни пришел к вам. У вас вот, говорите, кровью кашляют — от городской жизни, а я от деревенской кашляю. Сложение мне господь, видите сами, богатырское отпустил, а вот добили до крови... Ни богатства, ни правды нет в мире... Вы подумайте только, вы люди умные, образованные, вы можете понять... В миру ведь вот как: бедный все ниже да ниже, а богатый все выше да выше; бедных все больше да больше, а богатых все меньше да меньше. Богатей всему и хозяин: мужика прижал, кому нужно, взаймы дал,— взяток ведь нынче не берут,— и царствует... Оброк, подать, выкуп за него несут, земельку получше забрал да работу зимой сдал... Хорошо, скажем, теперь дошел бедняк до последнего, у пустого стойла стой не стой — ушел свет за очи! Нечего взять с него — может, и отпустят, уходи, пожалуйста!.. Спрашивается,— на кого работал всю жизнь этот бедняк? За кого работал? Ушел без копейки с семьей, все нищие,— прежде чем на других, на семью, чать, прежде всего поработать. Был бы он городской мещанин,— кузнец там, столяр, на заводе, на фабрике, какого другого звания или сословия человек — все, что он за всю свою жизнь заработал, то и его, и закон за него,— только крестьянин должен жить по другому закону, выходит...

— Не так немного! — перебил редактор.— Крестьянин, говорите вы, работает для других, и это и по божескому закону так должно быть, а другие сословия работают для себя, и это не божеский закон. Так вот и надо, чтобы и другие сословия жили по-божески,— надо у них переменить закон, а не у крестьян. У крестьян — он хорош...

Петр Федорович забрал воздух всей грудью и бессильно оглянул комнату.

— Образованные вы люди, и, вижу, высокое ваше образование не дозволяет вам понять меня... Вот ведь что: вы вот вольны в своих деньгах,— кому хотите, тому и дали,— дали другому, и слава вам, а не дали — никто вас заставлять не может. А крестьянина может! Почему же одному воля, а другому неволя? Почему я, крестьянин, своему от голода умирающему сыну не могу донести до рта кусок, а вы своему, хоть там другие мрут, все-таки вольны донести и доносите?..

— Ну, положим, есть у меня сын, нет — вы не знаете, да и не в том дело. Дело в том, что везде есть и хорошее и дурное, вопрос в том, где вот хорошего больше... Вот в общине-то его, оказывается, больше... Вам вот она не нравится, а сто миллионов ею живы. Лучшие, самые образованные люди из таких, которые и жизнь не задумываются отдать за правду — за нее, за мир... От чего-нибудь это да происходит!

— Может, оттого и происходит, что не знают они, на своем горбе не изведали крестьянской жизни, а по пословице — чужую беду руками разведу. Мир, мир... «Мир — велик человек», говорите вы...

— Не мы, а народ!

— Ну, народ-то говорит, да не договаривает, в чем велик он. В другой пословице народ договаривает: «мир — волк, что в пасть попало, то пропало!» А пасть-то человеческими жертвами питается: вдовами, да сиротами, да обезземелившимися, да такими, как я, и жрет и жрет он, а утроба пустая, как прорва. Мир велик, да на зло велик; велик на самодурство, на неправду, и не было еще такого лютее барина из крепостных, как мир этот. Мир!.. Мир — волк! С волками жить — по-волчьи выть. Так и воем, так и живем и пропадаем. Лучший человек у вас захотел стать лучшим и стал,— вам только радоваться на него, а в деревне лучший как раз худшим и выйдет... Вы хотите писать — вы и пишете — кто вас приневолит землю пахать, свиней пасти? А станут приневоливать — вы, может, тоже худшим и станете, пьяницей станете, негодным никуда, последним человеком станете!..

— Вы же вот не стали! Вон и пишете.

— Я-то так... так...— Петр Федорович оборвался. Он понял, что не убедил никого, что все слова его пропали даром.

— Так, так,— растерянно повторял он.

Силы как-то сразу оставили его. Точно оборвалось вдруг что-то там внутри и потянуло его в пропасть. Мурашки забегали по телу, и снова стало страшно ему. Он весь дрожал, глаза его налились кровью, и он уже выл, полный ужаса, тоскливо, дико, как воет человек только в кошмаре. Затем начался его обычный истерический припадок. Редактор нервно схватился за голову и крикнул:

— Скорей за доктором... Вот принесло еще...

— Да прямо в больницу его...

В больницу, впрочем, Петра Федоровича не отправили. Он успел раньше прийти в себя и, ничего не помня, мутными глазами с кровавой пеной на губах осматривался на приглашавших его в больницу.

— Вы больной человек,— сказал ему редактор,— вам лечиться надо... Поезжайте в больницу, вылечитесь и тогда приезжайте,— потолкуем тогда еще с вами об общине...

Петр Федорович выслушал, мигая глазами, долго думал и сказал наконец хриплым, разбитым голосом:

— Домой поеду... Статью прочтите...

Он поднял рукопись с полу и протянул ее редактору.

— Поправитесь, тогда и статью прочтем,— потрепал его редактор по плечу,— а вот и ваша шапка...

Петр Федорович встал.

— Ну, вижу, сконфузил я только себя перед вами: петля и тут вышла... Вот что, книжку я такую читал: Антон Горемыка... Думают, нет его больше на свете.— Голос его дрогнул.— А что есть и хуже его — не знают. Ох, не знают ли? Не знают, узнать можно... Знать не хотят!.. Вот чем хуже нынешнему-то горемыке. И что ему делать? Умереть? К вам прийти?! — Петр Федорович мучительно вытянул шею.— Так ведь в больницу отправите...

Голос его оборвался, судорога свела ему лицо. Плотно сжав губы, как сжимают дети от подступив-

ших слез, он замотал головой и, махнув рукой, разбито и тяжело пошел к выходу.

Добравшись домой, Петр Федорович слег и больше не вставал.

Перед смертью его, по его просьбе, навестил его миссионер.

— Не жилец я больше,— говорил ему Петр Федорович,— сила вся ушла. Ну, да что об этом!.. Люди по острогам, да на каторге, да на больших дорогах жизнь кончают, а я все-таки вот... в кровати... Отошло сердце, и нет во мне больше зла... Скучно вот только так — лежать да смерти дожидаться... Читаю божественное, а другой раз и на светское чтение потянет. Давали вы прежде мне: нет ли еще каких из истории?

Миссионер прислал ему несколько книг.

Больше других понравился ему Дон Кихот.

— Да, вот у каждого свое,— рассуждал он,— а все-таки до чего люди могут в фантазии ударяться: и видит, что мельница, а сам себя уговорит, выходит не мельница. А то в руку сыграет, можно сказать, самым последним ворам, грабителям... А грех сказать,— человек хороший был и добра людям желал...

В одной книжке Петр Федорович прочел:

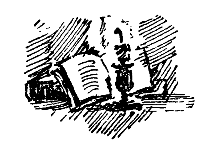
«Право личности — священнейшая хоругвь, отстаивать которую человек обязан ценой жизни».

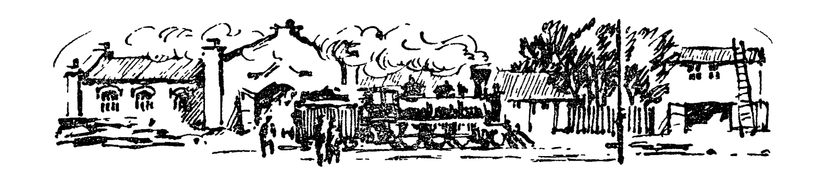
Он долго думал и, вздохнув, сказал:

— Хорошо пишут...

В одно пасмурное, скучное утро, когда дождь мочил землю и вода струйками буравила потные стекла, нашли Петра Федоровича мертвым.

В полумраке нищенской лачуги лежало громадное желтое тело на грубо сколоченной кровати. Мохнатая черная голова склонилась набок, костлявая, уродливая в сгибах пальцев рука откинулась и застыла на книгах, беспорядочной грудой сложенных тут же на табурете.





НА ПРАКТИКЕ

I

Южное лето. Жара невыносимая. Точно из раскаленной печи охватывает пламенем. Сгорел воздух, степь, горят все эти здания громадного вокзала.

Полдень.

На запасном пути, на площадке раскаленного черного паровоза в одном углу на перилах сидит унылая фигура с большим красным носом машиниста.

Пропитанный салом картуз съехал на затылок и точно приклеен к голове. Куртка, штаны когда-то иного, а теперь такого же, как окружающий уголь, черного цвета, тоже пропитаны и лоснятся салом. Запах этого сала тяжелый, одуряющий. Масло и сало везде: в масленках, на площадках, на стойках, на руках. Пучки пакли, род утиральника — тоже в сале, и вытиранье рук — только самообман. Этой паклей я — другая фигура на площадке паровоза, в другом углу,— виновато и бесполезно, чтобы только что-нибудь делать, тру свои руки.

Я студент-практикант.

Первый день моей практики. Только что кончили маневры и полчаса, час мы будем стоять так: на припеке, с полупотухшим паровозом, который, как какое-то громадное, грязное, замученное животное, теперь отдыхая, тяжело сопит.

Машинист Григорьев мрачно смотрит вниз. Вся его фигура судьи красноречиво говорит: «Ну, что ж теперь будем делать?»

Я понимаю и сам, что дело из рук вон плохо.

Нас на паровозе всего двое: он — машинист и я — кочегар.

Но, собственно, это «я — кочегар» один звук. Я даже лопаты в руках держать не умею. Этой лопатой надо перебросить из тендера в топку до трехсот пудов угля в сутки. Кроме лопаты, много других инструментов, которыми тоже надо уметь владеть и систематично поспевать делать накопляющуюся работу.

Резак, например. Добрых полторы сажени, чуть ли не пудовый металлический стержень с загнутым острием на конце.

Лежа на животе под паровозом, держа один конец этого резака в руках, надо другим, пропуская его между колосниками топки, подрезать накопляющийся там шлак.

Подрезать для того, чтобы проходил воздух, иначе гореть не будет, а тогда не будет и пара, как не будет его, если не уметь бросать в печку уголь так, как его надо бросать: к краям потолще, к середине тоньше.

А я бросаю как раз наоборот. И кажется, вот-вот хорошо — и опять на середину, и опять мрачно говорит Григорьев:

— Могила!

И он раздраженно опять вырывает из моих рук лопату.

Ловко летит с лопаты уголь, и белое пламя топки почти не краснеет, а у меня от одной лопаты и дым, и красное пламя,— все признаки неполного сгорания. И сейчас же манометр падает и работать нечем, а тут как раз надо воду качать, надо сало спускать в масленках, надо новое наливать, надо чинить расхлябавшиеся подшипники, тормозить паровоз, кричать составителям и зорко следить, чтобы не стукнуть друг с другом те задние, где-то в бесконечном отдалении вагоны. Все это надо делать мне, и все это делает, кроме всех своих других обязанностей, Григорьев, и после каждой сделанной за меня работы он все тем же безнадежным, долбящим голосом говорит:

— Так, так... А кто ж работать будет?

И как раз в это время где-то там сзади: бух-тах-тарарах, с какой-то всеразрушающей силой стукаются вагоны и, кажется, в щепки летят. Григорьев хватается за регулятор, штайер, кричит дико: «Тормоз».

Я бросаюсь к тормозу, отчаянно верчу, но не в ту сторону — я растормаживаю, вместо того чтобы затормозить.

— А-а-а!

В этом «а-а-а», в этой поднятой ноге, в руках, схватившихся за голову,— все бессилие, вся злоба, все бешенство несчастного. Каторга, из которой каким-то порывом он хотел бы унестись и сразу забыть этот проклятый паровоз, роковые выстрелы стукающихся вагонов, дурацкую фигуру оторопевшего, никуда не годного своего помощника.

И опять кричит он в отчаянии:

— Да что ж это наконец?.. Шутки шутить, что ли, мы будем?

Тошно. Провалиться. Убежать сейчас и не возвращаться. Да, вот... Ехал на практику, выбрал самую тяжелую, был горд сознанием предстоящего черного труда.

Унылая фигура Григорьева скрючилась и застыла. Я все так же тру руки паклей. Лучше бы уже ругался.

— Нагортайте угля.

И, не дожидаясь, пока я соображу новое непонятное для меня распоряжение, Григорьев уже хватает лопату, взбирается на задний край тендера и начинает оттуда подбрасывать уголь к топке.

И я взбираюсь за ним и, поняв, чего от меня хотят, говорю смиренно:

— Позвольте мне.

Боже мой, с каким колебанием передается мне эта лопата. Какое презрение ко мне. Точно это фельдмаршальский жезл, а я презреннейший из трусов.

Когда около топки образовывается порядочная горка, Григорьев через силу говорит:

— Ну... Ступайте обедать.

Я спускаюсь с паровоза на землю и робко спрашиваю:

— Вы не можете сказать мне, где здесь можно пообедать?

Григорьев говорит, отвернувшись:

— Направо из ворот: написано на вывеске. Да не сидите там три часа.

Я шагаю. Новенькая парусиновая блуза уже вся в пятнах, слой угольной пыли на ней, на лице, волосах. Пот струйками пробивает в ней дорожку по щекам. Я стираю этот пот и чувствую, что размазываю на лице грязь. На зубах хрустит уголь, но есть хочется, так хочется, что от мысли, что сейчас буду есть, все невзгоды первого дня отступают на задний план. Какое-то смутное утешительное сознание: перемелется — мука будет. В воротах молодой кочегар Иванов, с которым я познакомился сегодня утром в конторе глухого и грозного начальника депо.

Кочегар, засунув руки в карманы, ждет меня, насвистывая какую-то песенку.

— Ну? — весело спрашивает он, когда я подхожу.— Григорьев не побил?

— Только что не побил,—отвечаю я, и сразу мы оба чувствуем себя старыми товарищами.

Мы идем направо по площади, туда, где над маленькой дверью харчевни нарисована какая-то большая птица, проткнутая вилкой и ножом.

— Да вот,— говорит мой товарищ,— ругатель Григорьев, конечно, а вот насчет этого, только он да мой — своих кочегаров вперед себя обедать пускают.

В темной, обширной, с невысокими потолками харчевне много народа: машинисты, слесаря, кузнецы. Лица черные, закоптелые, у машинистов важные и тем важнее, чем больше нашивок из галуна на шапке. С каким сосредоточенным важным видом ест один с тремя нашивками, еще молодой, с русой бородкой, с умными, твердыми голубыми глазами.

Там, дальше, группа уже поевших. В центре большой, толстый, отвалившись, улыбается, слушая соседа, и, прищурившись, смотрит начальственно на нас. Рядом с ним высокий, худой, с жидкой бородкой, с тремя нашивками веселый немец что-то говорит, и все кругом хохочут.

— Это Альбранд из Вены — все врет, но так, что животики надорвешь,— говорит мой спутник.

Какой-то машинист за другим столом, мрачный, желчный, стучит кулаком и грозно говорит:

— Я своего паровоза не дам... Расплююсь, уйду, а не дам.

Небрежно откинувшись, куря сигару, слесарь читает газету.

Нам дали борщ с большим куском говядины, на столе хрен с уксусом, гора ломтей темного пшеничного хлеба, один запах которого уже вызывает усиленный аппетит. На второе дали тушеную говядину с густым черным соком, с поджаренным картофелем.

Я, всегда смотревший на еду, как на какую-то скучную формальность, здесь ел, ел и чем больше ел, тем больше хотелось. Ел и с наслаждением представлял себе родных, знакомых барышень. Если бы они увидали теперь меня здесь? Моя мать, которая в отчаянии от моего обычного ничегонееденья, всегда говорила:

— Твой желудок — дамочка, и самая капризная из всех.

А осенью у меня будет в кармане аттестат машиниста.

Я заплатил за свой обед двадцать копеек, и мой товарищ говорит мне:

— Григорьев! Я его, зуду, хорошо знаю, я тоже начал с ним ездить,— ему всех новичков дают, потому что другие, вот эти все, такого кочегара, как вы, в шею бы погнали с паровоза, а он берет,— он теперь несколько дней, пока вы не приучитесь, и обедать не будет ходить. А вы ему бутылочку водки купите и отнесите: он это любит, помягче станет с вами.

— Так, может быть, и обед ему снести?

— Ну, так худо ли было б!

Нашлись и судки: щи, жаркое, огурец, хлеба ворох, бутылка водки.

— Ну, уж валяйте ему и пива,— пусть старичина повеселится. Вместе понесем.

— Дядя, Григорий Иванович! — кричал еще издали мой товарищ.— Мы к вам с поклоном и повинной.

— Ну, какие там еще... Ничего не надо!

И Григорьев, как те игрушечные медведи, что заводят и они возятся и ворчат, завозился в своем углу, вытаскивая грязный платок с провизией.

Мой товарищ, очевидно, успевший изучить бывшее начальство, сломил, однако, упрямство Григорьева,

и немного погодя, энергично хрустя зубами, он уже уничтожал все принесенное нами.

Он сидел на корточках, открывая, как пасть, свой широкий рот, и говорил в промежутках, обращаясь исключительно к своему бывшему помощнику:

— Все это лишнее.— Он тыкал на борщ, жаркое.— Ну, вот это,— он указал на водку,— пожалуй, что и полезное — когда за двух приходится работать,— где же силы взять,— она вот и помогает...

И он брал бутылку и опять осторожно наливал в свою с отбитым донышком рюмку.

— Вот это,— он показал на пиво,— тоже по-настоящему дрянь: это немцам, а наш брат...

— Водка, конечно, тверже,— соглашался мой товарищ.

— Ну, так как же! — пренебрежительно говорил, кивая головой и прожевывая новый кусок, Григорьев.

Так говорил он, пока все полезное и бесполезное было уничтожено. Завидев уже бегущего составителя, Григорьев, поднимаясь, бросил, ни к кому не обращаясь:

— Ну, теперь и терпеть можно!

И мы опять принялись за работу и работали до заката.

Тогда нам снова дали передышку на полчаса.

Григорьев полез в свой сундучок, вынул оттуда грязный платок с провизией, развернув его, достал колбасу и хлеб. Молча, отрезав кусок колбасы и хлеба, он передал их мне, и я, уже опять голодный, принялся за них с большим удовольствием.

— Водки хотите?

Я отказался. В бутылке ее уже оставалось немного, и Григорьев был доволен, очевидно, моим отказом, хотя и ответил:

— В нашем деле без водки не проживешь.

После этого мы молча ели, каждый в своем углу: Григорьев около рычага, я около тормоза — отделение кочегара.

От этого тормоза ломило руки, и на ладонях были уже большие водяные, красные по краям мозоли.

Но в общем я чувствовал себя прекрасно. Худо ли, хорошо ли я выполнял свои обязанности, но старался

я на совесть и устал так, как, кажется, еще никогда не уставал. И в то же время я чувствовал себя таким свежим. И все кругом гармонировало с моим настроением.

День стихал неподвижный и ясный. Откуда-то из города доносился замиравший, словно утомленный шум.

Солнце опускалось за горизонт, плавя его в золото, сквозь которое светилось там где-то далеко зеленовато-бирюзовое нежное небо, несся со степи запах свежего сена, слышалась песня возвращающихся с работы косцов.

Хохлацкая песня — задумчивая, нежная, так много говорящая, так трогающая самые сокровенные уголки сердца.

Казалось, паровоз и тот проникся настроением, стих и только тихо, жалобно посвистывал.

Бедняга! Он был уже старый, очень старый ветеран, сданный после всех долгих походов на станционные маневры. Живого места, как говорится, не было на нем: хлябали подшипники, стучали цилиндры, золотниковая коробка сработалась вконец, а сальники, масленки парили, как не парят взятые вместе сорок паровозов линейных. И мы всегда вследствие этого носились в облаках пара, и в такт главному дыханию паровоза вторили несколько второстепенных из сальников, цилиндров, коробок.

А что делалось, когда приходилось тащить тяжелый состав — вагонов сорок — пятьдесят! Тогда со всех концов нашего паровоза вылетало столько пара, что казалось, что он унесет туда, вверх, и нас и наш паровоз Д-34.

Мы поели и ждем составителя.

Григорьев, сидя, манит пальцем меня и говорит ласково, насколько это возможно для него, конечно:

— Подите сюда, молодой человек!

Я подхожу.

— Вы что ж, из ло́киев, что ли? У господ служите? — поясняет он, замечая мое недоумение.

Еще вчера я был уверен, что произведу страшный эффект, когда сообщу своему машинисту, что я ни более ни менее как студент института инженеров путей сообщения.

Теперь я об этом больше не думаю и возможно скромнее стараюсь объяснить Григорьеву, кто я. Григорьев — машинист из слесарей, ни в каких школах не бывавший, и поэтому все ранги ученические для него китайская грамота: ученик приходской школы, студент — все тот же ученик, и берет он вопрос по существу.

— Чему же в четыре-пять месяцев научитесь? Если вы хотите научиться, вам надо идти в мастерские сперва. Года через четыре вы будете слесарем и даже механиком — тогда поступайте в кочегары, года три поездите, получите испытанного кочегара. Будете тогда человеком. А теперь что ж?! Ну, дадут вам паровоз,— сломается что-нибудь в дороге: так и будете стоять?

Я опять объясняю, что это только практика для меня, что я не буду ездить машинистом, что мне нужен только аттестат машиниста. Еще меньше Григорьев понимает.

— На что же такой аттестат?

Но уже бежит составитель, Григорьев берется за регулятор и продолжает, рассуждая сам с собой, пожимать плечами.

II

Уже месяц прошел с начала моей практики.

Я уже выгляжу настоящим кочегаром: такой же черный, как весь окружающий нас уголь. По-прежнему, как ни брошу в топку,— все могила, то есть бугор посредине, но, когда подходят к нам другие машинисты и весело спрашивают, кивая на меня:

— Ну, как он?

Григорьев снисходительно отвечает:

— Ничего — пойдет дело!

Со всеми этими машинистами, кочегарами, слесарями, кузнецами я — приятель, и мы трясем руки друг другу так, что надо еще удивляться, как еще не оторвана моя рука и не раздавлены пальцы.

Все на станции знают меня, студента-практиканта.

— Что, барин,— говорит добродушно стрелочник, около которого мы стоим в ожидании составителя,— видно, не на белой земле хлеб растет?

— Да, тяжелый труд!

Чтоб поспеть к восьми часам утра на смену и иметь хотя тридцать футов пара, надо начать растапливать паровоз с четырех часов утра. Можно, конечно, и скорей растопить, если не жалеть дров на растопку, но за экономию дров самая большая премия, и, следовательно, прямой убыток и Григорьеву и мне.

Когда разгорятся дрова, я бросаю кардиф в брикетах — род кирпичей,— пока не набросаю его в уровень с топкой. Кардиф дает жар, а пламя дает ньюкестль, черный, блестящий, мелкий уголь, который разбрасывается тонким слоем по кардифу.

Ровно в восемь часов утра на другой день мы кончаем дежурство. Но это еще далеко не конец. Мы отправляемся на угольную станцию взять запас угля на будущие сутки, затем едем за дровами и часам к двенадцати, наконец, въезжаем в паровозное здание.

И тут еще до конца далеко. Надо потушить паровоз, переменить набивки в сальниках и вычистить машину, пока она еще горяча. Часам к двум все кончается. Надо еще обмыться, и мы идем в ванную, моемся, чистимся и, все-таки черные и грязные, идем обедать.

Часа в три я попадаю на квартиру: напиться чаю и спать, потому что в три часа ночи уже опять вставать на работу. И вот из сорока восьми — двенадцать часов отдыха. По шести часов в сутки. Все остальное время в работе, и в какой работе!

— Тормоз! Тормоз!

— Угля!

— Поддувало!

О, это поддувало! С этим проклятым резцом я лежу под паровозом, держа его за один конец, и другим на весу пробиваю шлак там, в слившейся под одно с колосниками огненной массе.

Жар, пепел захватывают дыхание, от напряжения стучит в висках, немеют руки. Ох, как часто, бросив в изнеможении резец, я лежал трупом там, под паровозом, и думал: пусть он меня раздавит, разрежет, но я не двинусь больше с места.

Но уже кричит Григорьев откуда-то сверху:

— Ну, что ж вы там уснули, что ли?

И опять убежавшие куда-то силы возвращаются, и снова слышатся глухие удары из моего склепа.

— Ну, скорей назад! — кричит Григорьев.

Вылетает сперва из-под паровоза резец, а затем между двумя колесами пролезаю и я в то мгновение, когда колеса уже трогаются. Меньше даже мгновения, но этого все-таки достаточно, чтобы я успел выпрыгнуть. А не успею, что-нибудь вдруг случится — судорога, зацепится нога?

Григорьев не увидит. Он на той стороне и точно забыл о моем существовании. Я подбираю резец и уже на ходу вскакиваю на подножку паровоза. Вскочить, выскочить при скорости в тридцать верст — все это я уже проделываю с искусством обезьяны.

Я сказал: Григорьев не увидит.

Но он всегда и все видит.

Раз еще вначале как-то я соскочил неловко с двигавшегося уже паровоза и упал на откос бугра земли, приготовленного для полотна дороги. Откос был слишком крутой, чтобы удержаться на нем, и я стал медленно сползать вниз к полотну, прямо под проходивший ряд вагонов, которые тащил наш паровоз № 34.

Это были ужасные мгновения. Сверхъестественной волей стараясь удержаться и в то же время все сползая, я все смотрел туда, вниз, на бегущие мимо меня колеса вагонов, угадывая, которое из них разрежет меня.

Так бы и случилось, потому что я в конце концов упал прямо под колеса... остановившегося вдруг поезда. То Григорьев остановил.

По моему ли прыжку, по мелькнувшей между стойками фигуре, уже лежавшей на земле, по верхнему ли просто чутью,— от Григорьева я так и не добился,— но Григорьев мгновенно закрыл регулятор, дал контрпар и целый ряд тревожных свистков. Ни свистков, ни стука щелкавшихся друг о друга вагонов, стука, похожего на залпы из пушек,— я не слыхал. Все, кроме зрения и сознания неизбежного конца, было парализовано во мне.

Еще большую находчивость и быстроту соображения обнаружил с виду неповоротливый Григорьев в другой раз.

Как известно, паровоз соединен с тендером как бы на шарнирах для того, чтобы дать возможность самостоятельно двигаться в известном пределе как паровозу, так и тендеру.

Это нужно на таких крутых кривых, как стрелки, где соединенные неподвижно паровоз и тендер не смогли бы проходить.

Соединение это прикрывает выпуклая чугунная крышка, неподвижно прикрепленная к тендеру и свободно двигающаяся по площадке паровоза. Когда паровоз идет по прямой, тогда между стойкой паровоза и этой крышкой расстояние так велико, что свободно помещается нога. При проходе же по стрелкам расстояние это уменьшается и доходит почти до нуля.

Я зазевался и заметил, что нога моя попала между крышкой и стойкой тогда, когда выдернуть ее оттуда уже больше не мог.

Все это произошло очень быстро, а дальнейшее происходило с еще большей, непередаваемой быстротой. Я тихо сказал:

— Мне захватило ногу.

Если бы Григорьев повернулся, чтобы сперва посмотреть, как именно, чем захватило, то время уже было бы упущено и я остался бы без ступни. Но Григорьев в одно мгновение, не закрывая регулятора, дал контрпар.

Сила для этого нужна неимоверная. Малосильного рычаг так бросил бы вперед, что или убил, или изувечил бы, и был бы достигнут как раз обратный результат — паровоз в том же направлении, но только с гораздо большей силой помчался бы вперед.

Я отделался разрезанным сапогом, ссадиной и болью, а главное, испугом.

— Будете в другой раз ворон ловить? — ворчал Григорьев, устремляя опять паровоз вперед.— Только время с вами теряешь да паровоз портишь. Вот хорошо, что старый все равно паровоз, никуда не годится. А если б новый был, да стал бы я так рычаг перебрасывать: да пропадайте вы и с вашей ногой.

И так как мы в это время подходили к вагонам, он резко крикнул:

— Тормоз!

Я крутил изо всех сил тормоз и смотрел на Григорьева. В этой маленькой сгорбленной фигуре с красным большим носом обнаружилась вдруг такая сила, такая красота, о которой подумать нельзя было. А потом, кончив составлять поезд, в ожидании другого, он опять сидел на своей перекладине маленький, сгорбленный, угрюмый, сосредоточенно снимая ногтем со своего красного носа лупившуюся кожу и угрюмо говоря:

— Лупится, проклятый, хоть ты что...

III

Так шло наше время. Весь мир, все интересы его исчезли, скрылись где-то за горизонтом, и, казалось, на свете только и были: Григорьев, я да паровоз наш. От поры до времени я бегал за водкой Григорьеву, чтобы он поменьше ругался. И всегда он ругался, и в то же время я всегда чувствовал какую-то ласку его, постоянную, особенную по существу деликатность, которой он точно сам стыдился.

Ночью, например, когда я, устав до последней степени, держась за тормоз, спал стоя, он вдруг раздраженно крикнет:

— Ну, что носом тычете: все равно никакой пользы нет от вас — ступайте спать.

Вот блаженство! Я взбирался на тендер и, выискав там подальше от топки местечко, чтобы Григорьев как-нибудь и меня вместе с углем не проводил в топку, укладываюсь в мягкий нью-кестль, кладу под голову кирпич кардифа, одно мгновение ощущаю свежий аромат ночи, еще вижу над собой синее темное небо, далекие, яркие, как капли росы, звезды и уже сплю мертвым сном.

Никогда потом, на самых мягких сомье[1], я уже не спал так сладко, так крепко.

IV

— Сегодня мое рождение,— сказал как-то в июне Григорьев, когда наступила обеденная пора,—в харчев-

[1] волосяной тюфяк (от *фр.* le sommier).

ню мы не пойдем, а будем свой пирог есть и другое что.

А в это время, испуганно оглядываясь на нас, уже подходила с судком худенькая, лет пятнадцати, девочка.

Она была в светлом платочке, отчего маленькое загорелое лицо ее казалось еще темнее, рельефнее выделялись только ее большие, горящие, как уголь, глаза.

Наблюдая, как она подходила, Григорьев, сегодня благодушный, причесанный, ворчал:

— Вишь, воструха, а оробела здесь,— и, усмехнувшись, добавил: — Моя дочка... Мать только вот померла. Надо бы жениться, да вот не хочет... Да и я не хочу... Ну их...

Он повернулся к дочери и крикнул:

— Вот если бы дома Маруся да такая тихоня — ох, хорошо бы было!..

Маруся уже подавала отцу судки, а затем и сама быстро взобралась на паровоз, одним взглядом осмотрев сразу все и меня в том числе.

— Ну, знакомьтесь, да будем обедать все трое чем бог послал.

Я поклонился, назвал свою фамилию, пожал ее руку.

— Ишь каким кобельком,— усмехнулся Григорьев.

Когда за едой я, обращаясь к ней, называл ее по отчеству, Григорьев угрюмо заметил:

— Какая там еще «Марья Григорьевна», да еще «вы»,— вбиваете ей в голову, и так огонь девка, сладу нет,— «Маруська», «ты», да за вихры, чтоб понимала...

Маруська только носом потянула да бросила на меня вызывающий веселый взгляд.

Впечатление чего-то еще находящегося в работе, и закончены пока только эти чудные, живые, все говорящие глаза.

Эти глаза остались в памяти. Мы уехали на пристань делать там маневры. Пред нами было море, выпуклое, полное напряжения, все в блестках, и чувствовались в нем глаза Маруси.

Ночь пришла, шум моря волновал, и опять глаза Маруси, овладевшие вдруг моей душой.

В этот день я сделал подарок Григорьеву.

Как-то раньше, во время отдыха, сидя, по обыкновению, на перилах, Григорьев, поманив меня пальцем, спросил:

— Вы читали Лермонтова? Помните?

И он начал декламировать: «Отец, отец, оставь угрозы...» Декламировал он так быстро, так не звучно, что, если не знать, что именно он говорит,— понять ничего нельзя было бы.

Оборвавшись на какой-то строчке, он с горечью проговорил:

— Девчонка, баловница негодная, выдрала с полкнижки, и вот не знаю, где бы достать, чтобы переписать выдранное.

Я купил тогда же сочинения Лермонтова, отдал их переплести в красивый переплет с вытисненным именем, отчеством и фамилией Григорьева и все не решался передать книгу Григорьеву.

День его рожденья был очень удобный случай.

После обеда я отпросился на минуту домой и принес Лермонтова.

Григорьев сидел, что-то напевая. Когда я подал ему книгу, он прочел название и, радостно встрепенувшись, сказал:

— Ну, вот так спасибо, такое спасибо,— ночи спать не буду, пока все, что вырвано, не перепишу.

— Списывать не надо, вот, прочтите, чья это книжка.

Григорьев, поняв, в чем дело, растрогался до слез Вытирая их жестким рукавом, он говорил:

— Никто мне за всю мою жизнь такого баловства не делал... И как раз в такой день, точно знали вы...

И, успокоившись, бережно завернув книгу, он, усевшись опять на перила, заговорил:

— Эх, милый, милый, не сладка вся жизнь моя вышла. Я ведь так и вырос без отца и матери — кто они? Кто скажет? Вот так, сколько помню, и жил на улице и дни и ночи... Сколько раз замерзал совсем... А сколько били и как били... Был и сапожником, и лавочником, и шапочником, и кузнецом... Тут вы-

шло вроде замирения у меня,— женился я... Был уже кочегаром... Вот так же все не дома, да не дома. Женщина молодая, да и во мне-то какая сласть: снюхалась с одним тут... так, прощелыга. Приехал раз с поезда, никого, и дверь не заперта,— иди, кто хочешь, бери, что хочешь... И остался я сразу один опять: тут я и стал вот этой самой бутылочкой ушибаться... А года через два вдруг объявилась: еле живая приволоклась вот с этой самой девочкой. Через месяц и богу душу отдала... Так убивалась перед смертью... да уж и я выл медведем: хоть и опаскуженная, хоть и не за мной убивается, а из сердца не вырвешь, да и чем дитю-то несчастное виновато, что должно оно без матери и отца остаться... Что мне врать? Была бы воля,— лег бы за нее в гроб и сейчас даже...

А через несколько дней Григорьев, счастливый, как ребенок, принес мне грязную с подшитой тетрадью книгу и сказал:

— Переписал-таки! Эта книга будет мне на будни, а вашу по праздникам стану читать.

V

Однажды, когда, окончив дежурство, мы подъехали, по обыкновению, к депо, глухой начальник сказал Григорьеву:

— Вы с вашим кочегаром назначаетесь в поезда: конец маневрам. Сегодня отдыхайте, а завтра сдавайте свой и получайте новый паровоз.

На другие сутки, в половине двенадцатого ночи, мы уже выходили со станции с нашим первым поездом.

Я волновался, Григорьев был торжественен.

Моросил дождик, и Григорьев спросил:

— Сухого песку не забыли насыпать в песочницу?

Я обмер, вспомнив только теперь о злополучном песке, но ответил:

— Насыпал!

Сейчас же за станцией начинался подъем, колеса паровоза забуксовали на мокрых рельсах, и Григорьев озабоченно крикнул мне из своего угла:

— Песок!

Я задергал ручку песочницы, и пустая песочница звонко затрещала.

— Игрушки, что ли,— крикнул Григорьев, как давно не кричал,— знаете сами, что нет песку! Сейчас съедем назад и перебьем весь поезд,— ступайте перед паровозом и посыпайте рельсы балластным песком.

И вот я иду перед паровозом, беру с пути песок, сыплю его на рельсы, и чудовище-паровоз со всем своим длинным хвостом, злясь и пыхтя, готовое каждую секунду, споткнись только я, раздавить меня — и все-таки покорное, укрощенное, тихо тянется за моей рукой. Точно я сам, гигант Самсон, тащу весь этот поезд.

— Ну, будет, садитесь!

Паровоз прибавляет ходу, я вскакиваю, и мы едем.

Темная ночь охватывает нас со всех сторон, брызги дождя летят в лицо, ветер рвет шапку, раздувает блузу, мы оба, высунувшись, во все глаза смотрим вперед в непроглядную темь.

Смотрим, чтобы вовремя увидеть неисправность пути, лежащий на рельсах какой-нибудь предмет, переходящую через путь лошадь, человека.

И вдруг из-за крутого закругления перед мостом фонари паровоза освещают дикую, полную ужаса картину: табун спутанных лошадей, бешено скачущих по полотну.

И в одно мгновение все остальное: Григорьев открывает полный регулятор, и мы на полном ходу врезываемся в эту живую массу,— впечатление, точно поплыли вдруг мы, с моста летят лошади, треск, и уже опять мы несемся, охваченные снова только безмолвием и мраком ночи.

Григорьев крестится, я все еще держусь двумя руками за стойку, точно это помогло бы чему-нибудь, если бы и мы слетели туда вниз вместе с лошадьми.

— Счастье, что еще с разбега, да регулятор успел открыть... А вот, если бы шпалы лежали на пути,— тут что тише проскочишь, то меньше беды. А лошади там, коровы, люди — уж если нельзя остановить, что резче, то лучше... Беда что было бы: десять сажен мост, а поезд воинский.

Приехав на станцию, мы заявили, и нас осмотрели. Колеса паровоза были в крови, в волосах от грив и хвостов, оторванная голова лошади так и осталась и страшно торчала из-за колес паровоза.

— Вот так крещенье,— повторял, осматривая, Григорьев.

Я ходил, смотрел и думал: мыть-то, мыть сколько придется,— все три часа отдыха в оборотном депо уйдут на это.

И обычным путем пошла наша линейная работа.

Приедешь на оборотное депо, и через сутки дежурство. То есть время отдыха стоять под парами, всегда готовые делать маневры.

Движение усиленное, и маневров много. Приедешь домой,— двенадцать часов отдыху — и назад. Когда движение усилилось, мы отдыхали шесть часов и не в очередь стояли на парах.

Однажды, когда мы пришли с поездом на оборотное депо, оказалось, что очередной паровоз испортился, и нас без передышки погнали дальше...

Мы прошли еще сто пятьдесят верст. Там нас заставили делать маневры и погнали назад в наше оборотное депо. А оттуда, без всякого отдыха, опять мы поехали с новым поездом домой.

Шли третьи сутки работы без остановки, и у меня было впечатление, что я давно уже вылез из своего тела,— я его совершенно не чувствовал, кроме глаз, глаза оставались телесными, но ничего больше не видели,— что-то их выпячивало изнутри, что-то тяжелое налезало сверху, такое тяжелое, что сил уже не было удерживать его.

Кончилось тем, что и Григорьев и я стоя заснули.

Так, в сонном виде, мы проскочили две станции. Нам кричали, бросали камнями, перебили все стекла в будке, но мы ничего не слыхали.

На третьей станции наконец смельчак-составитель вскочил на полном ходу на паровоз и привел к жизни две застывшие, как статуи, фигуры.

Мы возвратились на станцию, где, признав нас невменяемыми, ссадили нас, отправив поезд с экстренно вызванными машинистом и кочегаром.

Чтобы проехать две станции, надо было и воду качать, и подбрасывать от поры до времени уголь.

Очевидно, значит, Григорьев иногда просыпался, подбрасывал уголь, качал воду.

Что до меня, то, держась двумя руками за стойку, я стоял и спал как убитый.

Все дело кончилось тем, что Григорьева, снисходя к усталости его, оштрафовали на двадцать пять рублей, а меня на десять.

VI

Конец практики.

Я в вагоне, еду обратно в свой институт, опять одетый в форму, умытый, причесанный, но еще с черным цветом лица. Микроскопические крупинки угля забились в кожу, проникли в поры, и, как говорят опытные люди, мой обычный цвет лица возвратится ко мне не раньше полугода.

Аттестат, о котором я мечтал вначале, я не взял, но я вез с собой более ценное: я узнал, что такое труд, и я вез масштаб этого труда. Мерило на всю дальнейшую жизнь.

И когда в жизни находили иногда, что я могу напряженно работать, я думал: чего стоит всякая другая работа в сравнении с каторжной работой тех неведомых тружеников?

Чего стоит война с ее героями, усилиями в течение полугода, года в сравнении с этой постоянной войной, постоянной опасностью, напряженнейшей работой в мире?

Пятнадцать лет такой работы, и машина человеческого организма вся разбита: от постоянного стоянья и тряски ноги отказываются служить; слепнут глаза от постоянного контраста белого огня топки и темной ночи; ревматизм развивается от резкого перехода от жара котла к стуже снаружи. И никуда не годный работник выбрасывается без пенсии, без всяких средств, с отобранным в штраф последним жалованьем, выбрасывается на улицу, на церковную паперть.

И, завидуя, вспоминает такой выброшенный товарищей: убитых, изувеченных, с отрезанными руками, ногами. Их семьям или им самим после торга и вся-

ких угроз дают тысячу, другую. Вспоминает и горько плачется на свою бесталанную долю.

Может быть, когда-нибудь терпеливый статистик подсчитает, какой процент убитых и раненых на железных дорогах приходится на всех этих машинистов, кочегаров, составителей, сцепщиков, кондукторов.

О, наверно, ни одна война не даст такого процента!

Сколько при мне во время летней практики было этих случаев. Составителя, который вскочил к нам тогда на полном ходу,— впоследствии перерезало паровозом. При сцепке вагонов он упал между рельсами, а состав шел задним ходом. Пока катились вагоны с высокими осями, он свободно мог лежать, но когда надвинулся паровоз, с своей низко сидящей топкой, когда выяснилась ему перспектива быть раздавленным поддувалом, он сделал отчаянное усилие проскочить между последними перед топкой двумя колесами. Его разрезало пополам, и я видел этот труп с застывшими, широко раскрытыми от ужаса глазами.

Другому составителю, когда он проскакивал между буферами, захватило голову. Выскочив и кружась, он несколько раз быстро проговорил:

— Ничего, ничего, ничего...

И упал мертвый.

Кочегар как-то упал, и ему отрезало ногу.

Машинист и кочегар погибли, налетев на разобранный мост. Кочегара убило на месте, а машинисту, тому, что так весело врал в харчевне, обварило паром лицо и руки.

Когда он слезал с паровоза, держась за стойку, кожа с руки, как перчатка, осталась на стойке.

Пока везли его в больницу, пока помощь подали... После трех дней сплошного мученья он умер, оставив большую семью.

Другой машинист... Но что перечислять? Чуть не каждый день читаем мы об этом в газетах.

Наше прощание с Григорьевым было очень трогательное. Провожать меня собрались все свободные кочегары и машинисты. Я угостил их, мы выпили, расцеловались, и я уехал.

— Когда будете большим человеком, не забывайте нас, маленьких людей.

— И бог вас не забудет!

— Не забывайте же, что хлеб не на белой земле растет!

— И будьте всегда и прежде всего человеком!

Так провожали меня и кричали мне, когда отходил поезд, и изо всех окон смотрели пассажиры с недоумевающими лицами: о чем кричит вся эта пьяная компания черных людей, место которых где угодно, но не на глазах чистой публики?

VII

Прошло несколько лет. Я был назначен строителем части строившейся линии. Было утро. По обыкновению, толпа народа находилась в конторе, и я, весь поглощенный работой, спешил удовлетворить нужды всех этих людей.

— Ну, здравствуйте,— раздался вдруг грубый голос надо мной, и черная мозолистая рука бесцеремонно протянулась ко мне.

Я уже успел со дней моей практики отвыкнуть и не жал больше таких рук.

Этот грубый перерыв моей работы, эта нахально протянутая рука покоробили меня, и я поднял раздраженные глаза.

Передо мной стоял сутуловатый, угрюмый, грязный господин с большим красным носом.

Спокойным, слегка пренебрежительным голосом он спросил:

— Не узнали?

Узнал, конечно, Григорьев.

Такой же, хотя постарел и горечь в лице.

— Как поживаете?

— Да вот нос... все лупится.

— Как вы попали сюда? Как меня разыскали?

— Услыхал и приехал. Разыщешь, когда есть нечего: выгнали меня из кочегаров,— больше не надо,— ученые пошли...

— Найдем работу.

И я устроил Григорьева машинистом при водокачке.

Он поселился в чистом маленьком домике. С ним поселилась его дочь, красавица Маруся, с черными, как бриллианты, глазами. Ее муж поселился, молодой красивый кузнец.

Проезжая, я иногда видел ее на пороге с ребенком на руках и вспоминал празднованье рожденья. Тогда я мечтал: может быть, в жизни я встречусь и женюсь на ней. Потом я смеялся, вспоминая свои юношеские мечты.

А теперь я жалел и завидовал счастливцу кузнецу.

VIII

Григорьев вот какую услугу оказал мне.

В один прекрасный день все кочегары и машинисты не вышли на работу, заявив, что против всех законов их заставляют работать вдвое.

Я телеграфировал своему начальству и получил распоряжение немедленно рассчитать всех.

Не берусь судить, чем бы это кончилось, если б не Григорьев.

Во главе всех Григорьев говорил мне:

— Мы не спорить пришли с вами, и нового вам говорить нам нечего: помните тогда на паровозе, когда спали мы оба? И здесь люди до одурения дошли,— лошадь и та отдыхает. Вам говорить мне не надо: мы ведь люди, и вы знаете это.

И Маруся стояла тут же с другими, с ребенком на руках; ее глаза смотрели в мои,— спокойные, полные доверия, полные сознания своей правоты, не допускающие и мысли, чтобы не сознавал этого и я.

А вызванные войска уже шли, и кто знает? Может быть, завтра...

— Господа, я не хозяин, что я могу сделать?

И опять говорит Григорьев:

— А вы поезжайте к своему начальству и расскажите им все, что вы знаете.

— Хорошо, я поеду.

И, обращаясь к толпе, Григорьев заговорил:

— Ну, я же говорил вам. Дело теперь в шляпе... Человек на своей шкуре испытал. А покамест ездит, станем на работу и будем ждать его приезда.

На том и порешили, и я уехал.

Я мало надеялся на успех, и большого труда стоило снять вопрос с почвы потачки и перенести его на почву денежной выгоды: от переутомления происходит столько несчастий, столько материальных потерь, что выгоднее, увеличив штат, уменьшить работу дня.

Мне помог начальник тракции, подтвердив цифрами мою мысль.

И убедили начальство.

— Но как там в Петербурге, в Управлении, на это посмотрят?

Начальник тракции угрюмо заметил:

— И там люди, и их же карманы оберегаем.

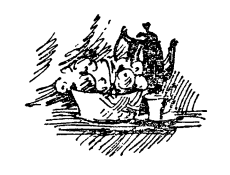
— Ну, что будет.

Я дал телеграмму своему помощнику и, счастливый, возвратился назад. О, какая толпа меня встретила! Какую речь сказали!

И мы жали руки друг другу, так жали, как со времени моего отъезда тогда с практики ни разу мне не жали.

А довольный Григорьев твердил, обращаясь то к тому, то к другому в толпе:

— Ну, так как же? Я ж говорил! Ведь это не то что... В два слова дело понять может: не большая мудрость...



СОДЕРЖАНИЕ

Николай Георгиевич
ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

Редактор
Н. А. Галахова

Оформление художника
Г. А. Раковского

Художественный редактор
Т. Н. Костерина

Технический редактор
К. И. Заботина

ИБ 821

Сдано в набор 02.09.83
Подписано к печати 01.02.84.
Формат 84X108 1/32. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 22,68 Усл кр.-отт. 22,89.
Уч.-изд. л. 22,24. Тираж 500 000 экз.
Цена 1 р. 90 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии газеты «Правда» имени В. И Ленина.

125865. ГСП. Москва, А-137, улица «Правды», 24.
Отпечатано в типографии издательства «Советская Сибирь», 630048, г. Новосибирск, 48, ул. Немировича-Данченко, 104.
Заказ № 197.
Тираж 500 000 экз. (1-й завод: 1—250 000 экз.).

1 р. 90 к.

